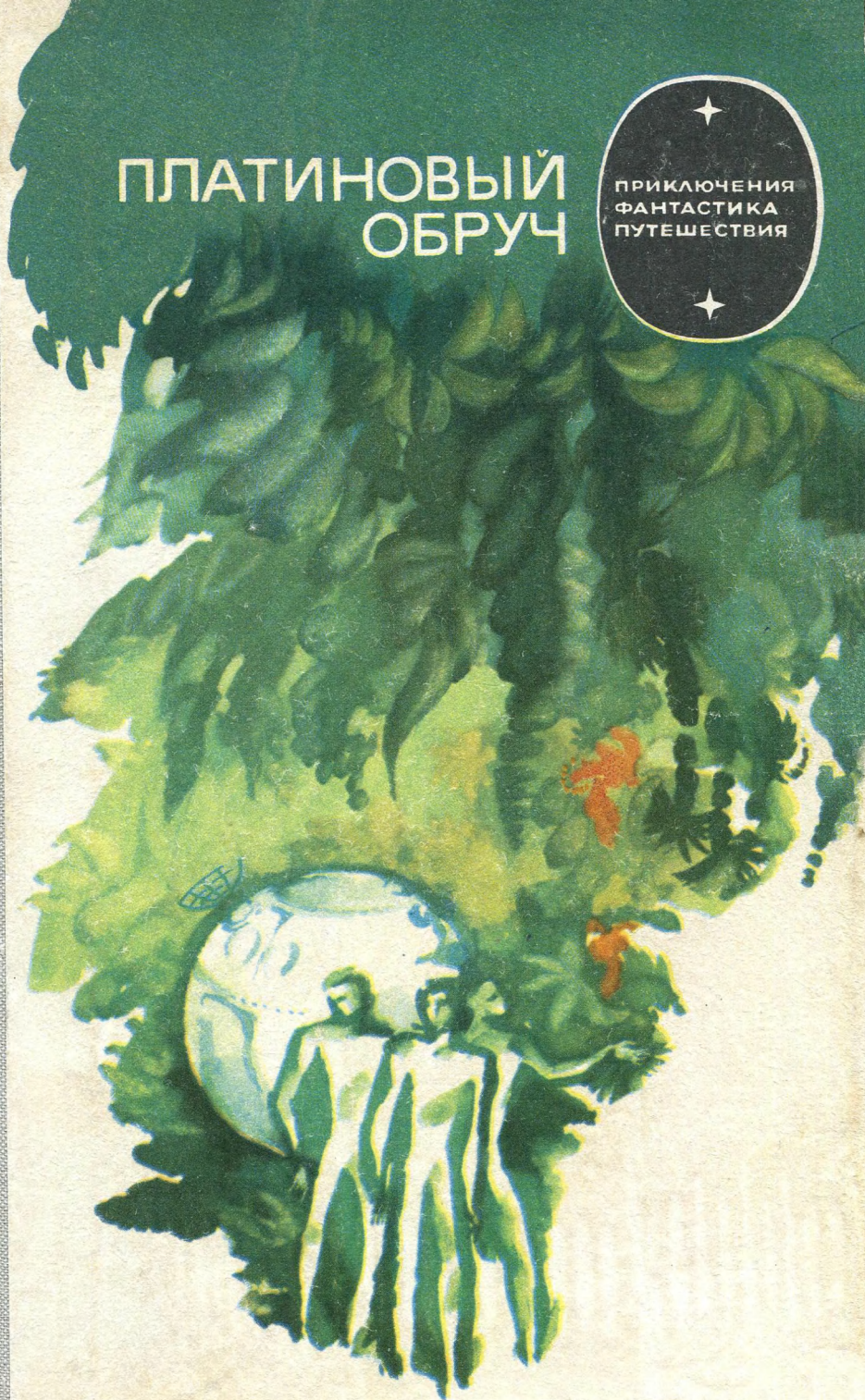


ПЛАТИНОВЫЙ ОБРУЧ

ПЛАТИНОВЫЙ
ОБРУЧ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФАНТАСТИКА
ПУТЕШЕСТВИЯ







ПЛАТИНОВЫЙ
ОБРУЧ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

РИГА «ЛИЕСМА» 1982

K2
84.3К7
П 374

Составитель *В. Семенова*

Художник *Янис Рейнберг*

П 70302—25—221.62.4702010200
М801(11)—82

**© Составление, предисловие,
оформление, «Лиезма», 1982.**

ВЕЧНЫЙ ЗОВ ДОБРА

Я, сын Земли, единый из бесчисленных,
Я в бесконечное бросаю стих, —
К тем существам, телесным или бесплотным,
Что мыслят, что живут в мирах иных.

В. Брюсов. «Сын земли». 1913

Сейчас много, часто и охотно говорят о кризисе, переживаемом фантастикой. Одни говорят об этом с удовольствием, другие — с грустью, третьи отрицают кризис как таковой, четвертые просто переводят разговор на иное. На наш взгляд, если можно говорить о кризисе фантастики, то только в таком понимании этого слова, какое предлагает в своем «Толковом словаре современного русского языка» Д. Ушаков: «Кризис — резкое изменение, крутой перелом».

Фантастика не только не растеряла своих читателей, не только не утратила своей притягательности. Она вступила в пору уверенной зрелости. Спрос на нее все увеличивается, а успех растет.

Да и вряд ли в наше время может быть иначе. Наш век по сути своей — век фантастический. Чего только он не повидал, что только не стало для него привычным! Даже космические полеты. Но вот вопрос — действительно ли привычным стало все: телевидение и расщепление ядра, открытия в области генетики и синтез органических веществ, фотографирование планет, производимое космическими станциями, и получение плазмы — и прочее, и прочее... На первый взгляд — вроде бы да. Привыкли. Пользуемся. Даже не удивляемся. Но сумела ли по-настоящему адаптироваться психика человека — человека как индивидуума и человека как биологического вида? Вряд ли. Скорее всего где-то в подсознании у каждого из нас обитает некое ощущение сверхъестественности, «чуждости» происходящего. А к «старым» — восьмидесяти-пятидесяти-двадцатилетней давности открытиям прибавляются новые, и следующие уже зреют и висят над нами, как налитые яблоки, готовые вот-вот сорваться, обрушиться на нас, хотя и вкусным, но увесистым телом. А на подходе — опять новые, потому что научная мысль не дремлет, она кипит, и в кипении этом возникают и выносятся на поверхность свежие, ошеломляющие своей смелостью гипотезы (вспомним хотя бы о том, что советский радиоастроном и астрофизик Н. Кардашев связывает проблемы черных дыр и расширяющейся Вселенной с проблемами сверхцивилизаций). Однако человек, пусть и не адаптировался, но успел уже войти во вкус и ждет: что же еще? что же еще откроется? что такое невероятное еще свершится? И ищет ответа, ищет воплощения мыслей своих и мечты, ищет удовлетворения своей тяги к невероятному. Ему необходима эта «осуществленная невероятность», он желает видеть ее в своем реальном, обремененном кон-

фликтами и противоречиями, таком несовершенном, но единственном, а потому — любимом мире.

Необходимо освоиться вполне со всем новым, что приносит время, «оприходовать» его и — двигаться дальше.

Тому, кто не связан с наукой непосредственно, кто лишь пользуется ее плодами или же просто видит их и о них слышит, разобраться во всем этом помогала, помогает и поможет фантастика. Особенно юношеству и молодежи, чья пылкая тяга к неизведанному так сильна и возвышенна.

Т.-Г. Хаксли утверждал, что искусство само по себе является средством исследования мира и открытия истины и что художник, приобщившийся к современному знанию, имеет преимущества перед тем, который к этому знанию безразличен. Трудно не согласиться! Но если так — то фантаст действительно обладает самыми широкими возможностями: ведь, кроме искусства слова, он владеет еще и определенными научными знаниями и располагает всей той совокупностью разнообразнейших творческих приемов, которые предоставляет ему фантастика как жанр.

Поэтому, очевидно, не удивительно то, что в последнее время многие пишущие на русском языке литераторы Латвии обратились к фантастике.

До сих пор мы гордились тем, что у нас есть свой фантаст Владимир Михайлов, чье имя широко и хорошо известно не только за пределами республики, но и в зарубежных странах. Очень интересные рассказы дали нам наши непрофессиональные писатели инженеры Вячеслав Морочко и Владлен Юфряков, чьи произведения неоднократно публиковались в республиканской периодике и в сборниках, издававшихся в Москве и Ленинграде. И вдруг — наплыв. Пишут фантастические повести и рассказы опытный прозаик Вольдемар Бааль, молодой прозаик Любовь Алферова, молодые поэты Николай Гуданец и Сергей Кольцов и еще целый ряд литераторов разной степени опытности.

Вот таков наш кризис, наш крутой перелом! Вот оно — резкое изменение...

Интересно отметить, что если наши «мэтры» (В. Михайлов, В. Морочко, В. Юфряков) придерживаются, в основном, форм, ставших в советской фантастике традиционными, то «неофиты» этим не ограничиваются и широко используют другие поджанры. Но, прежде чем перейти к сравнительной характеристике их опытов, следует, пожалуй, несколько отвлечься и вспомнить о жарких спорах, которые так часто вспыхивали в последние годы, — спорах о том, какой должна быть фантастика, какой из ее поджанров имеет право на существование и развитие: «чистая» научная фантастика, философская, социальная, утопическая, притчевая или еще какая-то. К сожалению, очень часто апологеты какого-либо одного из них, приводя аргументы в пользу избранного и любимого ими, пытаются выбить почву из-под ног у всех остальных, лишить их видов на жизнь.

Такой подход вряд ли можно считать разумным. Поджанры дополняют и обогащают друг друга, выполняя каждый особую функцию, а в целом способствуют как созданию наиболее полной фантастико-философской картины грядущего, так и максимальному раскрытию нравственных, психических и физических возможностей человека. И хотя читатели (в первую очередь — юношество и мо-

лодежь) чаще отдают предпочтение «чистой» научной фантастике, не следует списывать со счетов все остальное: ведь будущее, каким бы технизированным оно ни было, это все-таки прежде всего — новый человек. Нас не могут не волновать его проблемы, нравственный облик, овладение психическими и физическими возможностями, которые (как же нам не надеяться на это?)! получают, наконец, должное и достойное развитие. И кроме того: пытаюсь представить человека будущего, мы начинаем лучше понимать себя, свои недостатки, сокровенные нужды и стремления. А не это ли основная задача литературы — помочь человеку как можно полнее осознать себя и в себе разобраться?

Кажется, должны бы уже кануть в вечность времена, когда фантастика считалась чем-то неполноценным, жалкой, бездомной падчерицей литературы. Мы не вправе относиться к ней с таким высокомерным пренебрежением хотя бы потому, что советская фантастика уходит корнями в русскую классику и корни эти крепки и глубоки. Преемственность ощущается и в гуманистической направленности произведений, и в избираемой авторами форме.

Не составляют исключения в этом смысле и рижские фантасты. Так, например, Алексей Дукальский использует форму сна, широко распространенную в русской классической литературе; щедрою дань ей отдали И. Гончаров, Н. Чернышевский, Ф. Достоевский и другие наши писатели. Некоторые рассказы Н. Гуданца близки по форме к притче, классические образцы которой мы находим у Н. Лескова, Ф. Достоевского, Л. Толстого. Своеобразна по форме и жанру повесть В. Бааля, представляющая собой некий синтез традиционной научной фантастики со сказкой-антиутопией; истоки этого жанра также следует искать в русской классике (вспомним утопии А. Радищева, В. Левшина, антиутопию В. Кюхельбекера, произведения В. Одоевского).

Отличает также наших начинающих фантастов и углубленно психологический, философский подход к теме. Это, очевидно, объясняется их стремлением с максимальной полнотой использовать все возможности, предоставляемые фантастикой.

В отношении же тематики обнаружить различие между «мэтрами» и «неофитами» значительно труднее, да это, пожалуй, и не самое главное.

Итак, к каким темам обращаются авторы нашего сборника?

Одна из наиболее популярных тем современной фантастики (и советской, и зарубежной) — тема контакта. Впрочем, не только современной. Вот что писал по этому поводу В. Левшин в «Новейшем путешествии, сочиненном в городе Белеве», которое впервые было напечатано в «Собеседнике любителей русского слова» в 1784 году: «...есть несчетно земель, населенных тварями, противу которых вы можете почестся крохами и мошками. Не безумно ли чаять, чтоб всесовершенный разум наполнял небо точками, служащими только забаве очей ваших? Какое унижение!.. Ах! Сколько бы счастлив был тот смертный, который доставил бы нам средство к открытию сея важной истины! <...> С каким бы вождением увидели мы отходящий от нас воздушный флот! Сей флот не был бы видимый златолюбием: только отличные умы взлетели бы на нем для просвещения. Брега новья сей Индии не обогрились бы кровию от исходя-

щих на оные громоносных бурей: се было бы воинство, вооруженное единными оптическими орудиями, перьями и бумагою».

Какое разностороннее изложение всевозможных проблем контакта! Решать их пытались фантасты разных народов и времен, но вряд ли они будут исчерпаны, вряд ли будут найдены ответы на все вопросы даже тогда, когда этот контакт состоится.

Не удивительно поэтому, что теме контакта (с представителями внеземных цивилизаций, иных времен и измерений) уделяют большое внимание и рижские фантасты: В. Михайлов, В. Морочко, В. Бааль, Л. Алферова, С. Кольцов, В. Сычеников, А. Дукальский. Представляя встречи с существами иного порядка, они никогда не отвлекаются от волнующих человечество вопросов (кстати, один из них — соотношение уровней технизации — очень остро поставили в своих произведениях Л. Алферова и А. Дукальский) — ведь от их успешного разрешения зависит и наше будущее, и осуществление наших потенций. Потому-то в своих прогнозах наши авторы опираются на нравственное совершенство человека, силу его разума, воли и духа.

Наиболее яркое воплощение тема контакта находит в рассказе В. Михайлова «Адмирал» над поляной». Писатель подает ее в своем, особом преломлении. Когда-то в одном из давних своих рассказов «Люди и корабли» В. Михайлов писал: «Если разум развивается в нормальной обстановке, он не может быть сам по себе настроен на уничтожение». Эта мысль пронизывает все творчество писателя и в рассказе «Адмирал» над поляной», являющемся тематическим и философским продолжением широко известной повести «Исток», приобретает апофеозное звучание. Этот рассказ — своеобразный гимн торжествующему разуму, гимн человеку, раскрывающему жизненно важные тайны природы и благодаря этому достигающему совершенства.

В оригинальном аспекте дает эту тему В. Морочко, построив сюжет рассказа «В память обо мне улыбнись» на, так сказать, «ложном контакте». Автор опирается на мысль о том, что апелляция к существам высшего порядка, например, к нашим далеким потомкам, живущим в коммунистическом обществе, предстает порой как обращение малых детей к высокомудрым родителям, которые все знают и все могут. Но не вредит ли такое положение развитию «детей»? В. Морочко отвечает на этот вопрос уверенно и однозначно: каким бы ни был уровень развития цивилизации на данном этапе, человечество не имеет права уповать на кого-то, пусть даже более мудрого, более совершенного, оно должно само стремиться справиться со своими задачами, какими бы трудными они ни казались, каких бы жертв и усилий ни требовали. Иначе прогресс невозможен.

Вторая популярная у рижских фантастов тема неразрывно связана с представлением о человеке будущего как о гармонично развитой личности. Особый акцент они делают на использовании всех, иногда даже самых потаенных способностей человека.

Научно-популярная литература, статьи в газетах и журналах давно уже объяснили нам, каким огромным количеством неиспользуемых и незадействованных клеток располагает человеческий мозг. Пока что нам остается только поражаться этому и строить догадки. Ведь природа удивительно рациональна. Даже красота тех или иных видов животных и растений являет собой результат полезности. Трудно было бы заподозрить природу, столь экономную и целена-

правленную, в расточительной и бессмысленной щедрости. Очевидно, клетки эти должны выполнять какие-то функции. Одни ученые и фантасты склоняются к мысли, что незанятые клетки вовсе не таковы, что они являются хранилищем памяти предков, памяти поколений. Другие предполагают, что они призваны управлять скрытыми, пока не развитыми, лишь иногда проявляющимися и относящимися к числу «неразгаданных явлений» способностями человека. Какое широкое поле открывается здесь перед теми, кто умеет мыслить, чье пылкое воображение стремится угадать контуры грядущего!

Окраины этого поля русские писатели начали осваивать уже давно, опираясь на знания и представления своего времени. В. Одоевский в утопии «4338-й год», опубликованной впервые в альманахе «Утренняя заря» в 1840 году, писал о своем герое: «Занимаясь в продолжение нескольких лет месмерическими опытами, он достиг такой степени в сем искусстве, что может сам собою приходить в сомнамбулическое состояние; любопытнее всего то, что он заранее может выбрать предмет, на который должно устремиться его магнетическое зрение. Таким образом он переносится в какую угодно страну, эпоху или в положение какого-либо лица почти без всяких усилий...»

Пусть описание это в равной степени смело и наивно — не в том суть. Нам важно сейчас подчеркнуть тематическую преемственность.

Современная наука, современный уровень знаний дают нашим писателям возможность углубиться в проблему совершенствования человека, и, хотя в ней до сих пор много чисто «фантазийного», хотя, обращаясь к ней, авторы чаще исходят из собственных желаний, чем из фактов, любая попытка в этом направлении представляется важной и отнюдь не бесплодной, так как тем самым утверждается в сознании мысль о потенциальных возможностях человека.

Известный советский фантаст В. Савченко, рассматривая некоторые аспекты этой проблемы, говорит в своем романе «Открытие себя» о том, что прежде всего следует максимально познать себя — только тогда возможным станет и совершенствование, вплоть до управления обменом веществ в собственном организме.

Авторы нашего сборника тоже не оставили без внимания такую неизменно, неистребимо актуальную тему. В рассказе В. Михайлова «Адмирал» над поляной» мы встречаемся с инопланетянами, полностью регулирующими свои жизненные процессы и способными к различным трансформациям; в повести С. Кольцова «За Магнитной Стеной» и в рассказе Н. Гуданца «Чудо для других» герои постигают некоторые психические процессы и учатся властвовать над ними, А. Дукальский же в рассказе-сне «Ваня» позволяет своему герою подняться в воздух без помощи летательного аппарата, осуществив таким образом давнюю мечту людей, подкрепленную, быть может, то ли памятью предков, то ли какими-то скрытыми биологическими особенностями (кстати, В. Одоевский писал, что «...летать по воздуху есть врожденное чувство человеку»).

Занимают авторов сборника и другие темы, интерес к которым постоянен в среде фантастов и любителей фантастики. Но надо отдать должное рижским фантастам — они ищут свои, оригинальные решения, и от их рассказов веет свежестью.

Об облагораживающей и очищающей силе искусства, обобщенно отражающего эмоциональный и духовный строй человека, пишут А. Дукальский («День памяти»), С. Кольцов («За Магнитной Стеной»), Н. Гуданец («Тайная флейта»). Забота о сохранении экологического баланса на родной планете, слияние с природой — не на примитивном, но на высшем уровне — занимают В. Морочко («Журавлик»), Н. Гуданца («Море»), оба автора ставят важные морально-этические проблемы, пишут о долге и ответственности каждого перед человечеством, перед природой, перед будущим.

Но о чем бы ни писали авторы этой книги, они остаются верны одной из главных, определяющих тенденций русской классической литературы.

С. Калмыков в предисловии к сборнику русской социальной утопии и научной фантастики второй половины XIX—начала XX века «Вечное солнце» говорит: «Глаголом Добра была вся наша классическая литература. Вечный зов этой литературы мы должны слышать сквозь сутолоку современности».

Знаменательные в этом смысле слова произносит герой рассказа Ф. Достоевского «Сон смешного человека». Вот они: «...я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. <...> Главное — люби других, как себя, вот что главное, и это все, больше ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться».

Как и у большинства русских писателей, стремление рижских фантастов к добру не пассивное, не созерцательное, но активное, четко направленное, мужественное.

В рассказе «Адмирал» над поляной» В. Михайлов высказывает интересную и не совсем обычную мысль. Суть ее, коротко, в следующем: если даже в высокоразвитого человека природа наряду с добром закладывает хотя бы крупицу зла и агрессивности, пусть она, эта крупица, выплеснется в детстве, во время безобидной игры, не причиняя вреда и боли никому живому. И тогда ничто уже в душе человеческой не будет препятствовать цельности, основанной на стремлении к добру в самом высоком его понимании.

Н. Гуданец подходит к этой теме с другой стороны. Герой его рассказа «Чудо для других» обнаруживает в себе способность творить материальные предметы из солнечного света и воздуха. Но что бы он ни создал, воспользоваться сам он ничем не может — одного его прикосновения достаточно, чтобы предмет исчез. Юный герой оказывается на распутье, его неокрепшую душу потрясает несправедливость. Однако вскоре выясняется, что способность эта не уникальна — творить «чудо» может каждый, в ком живет горячее желание приносить добро другим. А в рассказе А. Дукальского «Ваня» герой, приблизившийся к разгадке тайны материи, вступает в конфликт с самоорганизующейся системой, которая намерена погубить дерзкого открывателя и не выдать своей тайны. Но человеческий разум побеждает, побеждает воля к жизни, к познанию Вселенной, и добро предстает перед нами как сохранение общечеловеческой сущности.

Если бы мы захотели еще привести примеры, пришлось бы, наверно, перечислить все рассказы сборника. Поэтому ограничимся

лишь одним — «Платиновым обручем» В. Баалы, где тенденция добра и исторического оптимизма нашла максимальное выражение.

В собственно научно-фантастической части повести выступают два главных антагониста — Истолкователь и Посвященный. Истолкователь олицетворяет ту часть человеческого общества, которая принимает науку лишь утилитарно, чуждается всего нового, боится его и готова сохранить свой покой любой ценой. Такие люди, тревожась за свое мизерное личное счастье, могли бы, не вдаваясь в детали, не пытаясь понять, одним махом уничтожить пришельцев. Посвященный же — человек широких взглядов, гуманист, обладающий большим чувством ответственности. Противники не сталкиваются лицом к лицу. Их борьба — это борьба идей, и побеждает в ней Посвященный — истинный носитель добра, поддержанный пришельцами, ощутившими притягательную силу мятущегося человеческого духа.

Мысль о победе добра проводится и в развивающейся параллельно сказке-антиутопии. Там главный персонаж стремится к власти над миром ради удовлетворения своих ненасытных желаний, но поправление добра кончается гибелью попирающего, его возвращением в исходное состояние ничтожности.

В интервью корреспонденту АПН Г. Павловой известный советский фантаст А. Казанцев сказал: «Научная фантастика в прогрессивном ее направлении «раскрывает тайны грядущего». Но отнюдь не пророчески, а лишь предположительно, угадывая тенденции развития науки, техники, общественного устройства, воплощая их в художественных образах и ярких сюжетах. <...>В фантастике советский читатель ценит не тупики, характерные для западной литературы с ее мрачными картинами одичавших после ядерных войн потомков, а жизнеутверждающее начало, веру в будущее, ради которого хочется работать, даже отдать жизнь во имя победы над угнетением и несправедливостью».

Эти слова А. Казанцева можно в полной мере отнести и к произведениям рижских фантастов, пишущих на русском языке. Авторы нашего сборника стремятся философски осмыслить факты реальной действительности, показать их в различных фантастических преломлениях, отразить общий настрой эпохи, угадать возможные пути развития человечества и всего комплекса связанных с этим проблем.

Хотелось бы надеяться, что интерес рижских писателей к фантастике не иссякнет, что их и впредь будут привлекать широкие возможности жанра и настоящий сборник не останется единственным в своем роде.

В. Семенова

СПАСТИ
СЕЛЬФОВ



«...вдали в глубине этой ночи кругом ближайшей звезды уже светилось зарево нового вечного дня, а за ним мерцали все новые сияющие точки: миллионы вечных дней с их блеском и теплотой, миллионы далеких островков вселенского океана, из которых с каждого слышимо доносилось до меня бие родной нам жизни, и миллионы мыслящих существ ласково смотрели на нас и нашу Землю. И мне казалось, что они желали нам и всем нашим братьям по человечеству скоро и счастливо пройти сквозь окружающий нас мрак к новой, высшей жизни на Земле, к чудному чувству свободы, любви, братства и к сознанию единства между собой и с бесконечностью живых существ вселенной...»

Н. Морозов, «Путешествие в космическом пространстве», 1882 г.

«Где-то есть космодромы,
Где-то есть космодромы.
И над миром проходят всесветные громы.
И внезапно издав ураганные гаммы,
Улетают с земли эти странные храмы,
Эти грозные стрелы из дыма и звука,
Что спускаются кем-то с какого-то лука,
И вонзаются прямо в колпак мироздания,
И рождаются в сердце иные сказанья...

Н. Тряпкин, 1966.

«АДМИРАЛ» НАД ПОЛЯНОЙ

Дальняя разведка не профессия, а образ жизни, и люди определенного сорта приходят к ней, как иные к живописи или литературе, раньше или позже, но обязательно. Хлебнув этой жизни, люди потом порой клянут ее, но уйти уже не могут: это крепкое питье. Куда уж крепче.

Мы вышли не то что в поле тяготения, но чуть ли не в самой атмосфере планеты, оказавшейся тут так же кстати, как песок в затворе. Нас ломало, и крутило, и швыряло из стороны в сторону, в нижних палубах что-то лопалось с противным, ноющим звуком, а моя скакалка, висевшая на крючке, сама собой завязалась узлом, который у моряков носит название «восьмерки». Сестры мы, однако, сели. Не успел я как следует потянуться и пошевелить костями, как зажужжал интерком, и Старый Пират снял трубку.

Он поднес ее к уху и подтянул вечно спадавшие штаны. На покое Пират выглядел настоящим недотепой, и тот, кто не видал его в деле, не мог и представить себе, насколько способен преобразиться человек, когда он берется за дело, для которого создан. Старый Пират доложил, что внимательно слушает. Я тем временем вылез из амортизатора и подошел к шкафчику, где у нас стояли избранные произведения конструкторов-оружейников. Проверил трассер, магазин и конденсаторы, полюбовался оптикой и на всякий случай раза два прошелся по контактам: в этой модели если что и может подвести, то только контакты, и за ними надо приглядывать. Пират в это время нашел глазами Марка Туллия и поднял два пальца — одеваться, значит,

следовало по второй программе, без искусственного дыхания: атмосфера годится.

— Ладно, — сказал Пират в трубку. — Это беда небольшая, капитан, мы выйдем и поспрошаем первого встречного. — Такая была у него присказка перед выходом на чужую планету; на этом он закончил разговор и стал, покрхтывая, влезать в костюм.

Мы окунулись в ночь, как в холодную воду. Слегка перехватило дыхание. Люк прошипел, закрывшись за нами, и мы остались наедине с чужими широтами, шептавшими что-то голосом ветерка на языке, которого мы не понимали. Мы постояли в темноте, голубой от множества звезд. Нам было странно; только с предчувствием любви можно сравнить ощущение первого выхода. Это миг для стихов, но я, откровенно говоря, не люблю их: плохие — они ни к чему, а хорошие приводят в расслабленное состояние, когда хочется думать о высоком назначении человечества и гладить собак. Нет, я не люблю стихов, и сейчас просто подумал: мир вам, серебряные туманности, — и почувствовал, как перехватило горло. Марк Туллий сопел рядом, а стажер Петя что-то шептал. Но тут Старый Пират с присущей ему деликатностью просигналил: «Ну, утрите слезы и займитесь делом, сынки!» — и все стало на свои места.

Опыт — великая вещь, отец интуиции. Интуиция же — стержень Дальней разведки, ее спинной хребет. Земля небольшая планета, множество людей исследует ее уже очень долгое время, и все же нельзя сказать, что планета изучена досконально. Что же могут три-четыре человека, оказавшиеся в одной точке совершенно незнакомого небесного тела? А ведь им предстоит сделать первые, основные, а часто и единственные выводы, высказать решающие суждения. Разведчик без интуиции, фактограф уместен среди нас так же, как слепец в команде снайперов. Интуиция — за нее нам прощают многое.

Так что мы не прошли еще и двухсот метров, как трое уже знали, что на этой планете есть жизнь, хотя никто из нас не взялся бы объяснить, почему он так считает. Человек может больше, чем знает, порой срабатывает какое-то его качество, им самим не контролируемое. Мы просто

знали, что на мертвой планете чувствуем себя иначе, чем на живой. И вот сейчас мы явственно ощущали, что планета жива. Но живая не значит — дружелюбная, и мы покрепче ухватились за свои игрушки, а Старый Пират сказал — беззвучно, конечно, на линтеле:

— Топать больше нечего. Полетели.

— Вот здорово! — сказал стажер Петя, любивший летать. Но ему пока еще по рангу не полагалось обсуждать команды. К тому же линтель был им усвоен в училище в основном пассивно — слышать он нас слышал, но говорить ему приходилось вслух. В училище их заряжают в основном энтузиазмом, остальное приходит потом. Так что Пират тут же поставил его на место, сказав безмолвно:

— Еще одно сотрясение воздуха, этюдн, и вместо разведки пойдешь на кухню.

Стажер понял намек и умолк. Мы откинули крышки двигателей. Каждый встал на курс — это нетрудно, что-то вроде компаса живет у нас в больших полушариях мозга, и время, направление и расстояние мы фиксируем бессознательно; это приходит где-то на втором, а у иных и на третьем году работы, а коли нет, то человек ищет для себя другое занятие. Со стажера спрос пока что был невелик, и я сказал ему:

— Мой каблук — твоя звезда. Не теряй из виду.

— Все? — спросил Старый Пират, включил стартер и поднялся в воздух первым. Я лег за ним, стажер взлетел почти без заминки, а Марк Туллий, как всегда, замкнул колонну.

Мы летели на высоте ста метров и поглядывали вниз и по сторонам. Внизу был сплошной камень, и Старый Пират высказал мнение:

— Если он гробанулся здесь, то я за него не дам ни затяжки.

Я пришел в Дальнюю куда позже Пирата и не знаю, что возникло раньше: эта ли его кличка, или такие вот обороты речи, вполне пригодные для опереточных разбойников. Слышал только, что до Дальней он занимался античной философией, а Марк Туллий — зерновыми культурами. Пока я припоминал, чем же я сам заполнял свою жизнь прежде, чем сбегать в Разведку, впереди что-то возникло. Я подумал было, что это скалы, но оказалось — лес.

Даже не лес, а много деревьев вместе. Понимаете, много деревьев не всегда лес, так же как много людей не обязательно отряд. Я просигналил эту мысль, стажер не выдержал и фыркнул: у него за плечами было не более пяти выходов, а в эту пору смеешься иногда и тому, что не смешно. Здесь был не лес, а много деревьев, стоявших на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не мешать соседям расти так, как им хочется, и каждое дерево было само по себе, словно нарисованное отдельно, а вообще все это напоминало кадрик из мультфильма.

Пират скомандовал спуск. Дальняя разведка — не то место, где приходится часто видеть одни и те же картины, но такого невзаправдашнего пейзажа мы еще не встречали и даже усомнились на какое-то время, настоящие ли это деревья. Но они росли, и листья на них чуть слышно шумели, когда налетал ветерок. Мы остановились и стали смотреть. Время шло, а мы стояли и смотрели. Просто так. И, наверное, думали. Не может же быть, чтобы мы, три с половиной взрослых мужика, стояли без единой мысли. Нет, наверное, думали. Но мыслей в памяти не осталось. Зато сохранилось испытанное тогда ощущение, ощущение человека, который очень долго шел, плыл, летел, обошел, наконец, планету по большому кругу — и вернулся на то место, откуда начинал когда-то и где ему и полагается быть, — вернулся с моря или там с холмов, и больше ему не надо уходить никуда.

Так мы стояли, пока сами чуть не пустили корни в мягкую землю, а если быть точным — три минуты тридцать; потом вдруг опомнились и озадаченно поглядели друг на друга. Никто не сказал ни слова, но мы тут же построились походным порядком и тронулись, внимательно глядя по сторонам. Прошли еще четыреста с небольшим метров и увидели наконец наш собственный катер, из-за которого и предприняли весь этот поход. Эта космическая тачка служит в основном для сообщения между кораблями в пространстве, а в остальное время крепится в специальном гнезде, углублении в теле корабля. Крепится; вернее — должна крепиться, и следить за этим — обязанность боцмана, однако на сей раз наш Лев рыкающий сплеховал и, пока нас лихорадило перед посадкой, катер оторвался. Надо полагать, боцмана лихорадило еще сильнее, когда он стоял на коврике перед капитаном и давал объяснения.

Катер лежал на поляне, ближе к одному ее краю. Мы, как и положено, разделились и подошли к нему сразу с четырех сторон. Ничем не пахло, только озон чувствовался в воздухе. Снаружи катер выглядел нормально и стоял на всех четырех лапах, но лапы ушли в грунт глубже, чем полагалось бы; значит, автомат не погасил скорость. Мы поняли это и приготовились к неприятностям.

— Железяка нехорошая! — проникновенно сказал Пират. — Ну, заглянем, полюбопытствуем, чем нас тут встретят.

В каюте все было перевернуто, как после выпускного бала курсантов Училища Дальней разведки. Мы пробрались через этот содом и проникли в двигательный отсек.

Дальние разведчики должны разбираться во всем, и не понемножку, а профессионально, потому что там, где мы бываем, зачастую не найти ни экспертов, ни специалистов в радиусе десятка-другого световых лет. И мы разбираемся. Поэтому нам сразу стало ясно, что рассчитывать на катер не приходится. Механическая часть, правда, уцелела, но радужный диск мембраны не только выскочил из рамы, но разлетелся в кристаллики. А без мембраны катер можно поставить на постамент в парке, но летать на нем нельзя, а нам нужно было, чтобы он летал.

Мы расселись на обломках своих надежд и молча посовещались. Катер — вещь, нужная в хозяйстве, и бросать его не хотелось, а унести эту посудину на руках мы не могли. Оставалось одно: доставить и смонтировать новую мембрану, и уж тогда запустить двигатель.

— Очень красиво, — сказал Старый Пират. — Только крепить мембрану все-таки лучше на корабле, в мастерской, а не на лоне природы.

Мы немного скисли, прикинув, как далеко придется тащить массивную раму, восемь метров в диаметре. Наши моторчики были слишком слабосильны, чтобы поднять ее, и, значит, нести придется на горбу, всем четверым. Но спорить не приходилось.

Марк Туллий пробрался в крохотную рубку связи. Он включил аппаратуру — и без толку. Великий оратор покачал головой, снял со спины нашу походную рацию и включил. Станция молчала — не было не только сигналов, но и фона. С таким же успехом можно было

подключить к антенне кирпич. Марк Туллий достал из кармана тестер, открыл рацию и стал тыкать в нее приборчиком.

— Батарея, — сказал он. И, поднатужившись, выдал второе слово: — Пуста.

Старый Пират выхватил у него тестер и полез сам. В батарее не было ни следа заряда, хотя перед выходом она была полна, а хватает ее обычно не менее, чем на год. А в остальном станция была в образцовом порядке, как и все у Марка Туллия. Пират мрачно сказал:

— Публика в диком восторге. Ладно, займемся делом.

Мы провозились с рамой часа два. Потом Пират решил полчаса отдохнуть: путь предстоял серьезный. Светило успело взойти; оно было горячим, как первый поцелуй. Мы отошли в тень ближайшего дерева и вытащили, чем позавтракать. Еда — занятие, которым можно увлечься. Мы увлеклись и проглядели момент, когда первые двое появились на поляне.

Двое; они бежали что есть духу — один убегал, другой преследовал. Гуманоиды, карлики — ростом, по сравнению с нами, чуть выше пояса. Головастики. Полуголые. Все это мы привычно ухватили сразу же. А потом увидели, как задний, поняв, что не догонит, остановился и опустил на колено. В руках у него оказалось что-то — можно поклясться, что сук от дерева, в полметра длиной. И вот карлик, стоя на колене, вскинул сук, словно бы это было оружие. Мы не успели удивиться. Блеснули короткие вспышки пламени, раздались отрывистые, хорошо знакомые нам звуки. В тот миг планета сразу перестала мне нравиться. Убегавший уже достиг опушки; сейчас он упал плашмя. Стрелок вскочил и издал победный вопль, голос был высок и походил на женский. Потом туземец отшвырнул свое оружие и, высоко подпрыгивая, помчался туда, откуда пришел.

Мы уже лежали под деревом, заняв оборону, недоеденный завтрак валялся в стороне. Мы не сводили глаз с убегающего, привычно держа его в перекрестии. Он скрылся за деревьями, и я спросил на линтеле:

— Что это у него было?

— Погоди, — излучил Старый Пират. — Запомнил место?

— Само собой, — ответил я. — Он упал за деревом с кривым сукон.

— Давай туда. Мы прикроем.

Я пополз. Трава на поляне достигала карликам до пояса, так что могла укрыть. Я взял курс на дерево и прикинул: пресмыкаться придется минут пятнадцать. Так и оказалось. Я дополз до дерева и, не вставая, обогнул его, осторожно переваливая через выступающие корни. За деревом никого не было.

Никого, понимаете? Трава была еще примята там, где лежал убитый. Убитый — потому что упал он именно так, как падает человек, сраженный насмерть, не как раненый; но ни тела, ни капли крови — ничего. Я огляделся, осторожно поднялся на колено, затем во весь рост. Тела не оказалось. Было далековато для разговора, но я, напрягшись, окликнул — безмолвно, конечно, — Пирата и объяснил ситуацию. Старик ответил:

— Прелестно. Мы ничего не заметили. Поползешь назад, прихвати оружие.

Я и сам хотел так сделать. Когда я отполз метров на тридцать от дерева, то услышал треск, оглянулся и увидел парня.

Он сидел на дереве, оседлав толстый сук; от наших туземец был прикрыт листвой, но отсюда, со стороны, я его видел ясно. В руках у лилипута было что-то вроде обрезка доски и палка, которую он, по-моему, только что отломал от дерева. «Неплохо», — подумал я, глядя, как он прикручивает палку к доске крест-накрест; противник промазал, этот упал, стрелок не захотел убедиться в его смерти, и теперь спасшийся мастерит что-то: бумеранг не бумеранг, но тяпнуть по голове и этим можно основательно.

Я ошибся. Он сделал свой крест и тут же уселся на доску — так, что ветка проходила между ног и торчала короче спереди и подлиннее сзади. Я моргал, ожидая, что будет дальше. Парень приподнялся и замер, только вытянул губы трубочкой. И в следующий миг крест с оседлавшим его карликом сорвался с места и полетел.

Он летел, точно маленький самолетик, с крыльями метр в размахе, доска и хворостина, а карлик сидел на нем как ни в чем не бывало и управлял непонятным образом. Он пронесся невдалеке от меня, делая километров семьдесят в час, и я ясно разглядел босые ноги авиатора с грязными пятками. Слабое жужжание донеслось до меня и стихло, и крестовина с пилотом исчезла, мелькая между

деревьями. Я перевел дыхание и пощупал лоб. Влажно-ват, но температура, кажется, в норме. Я окликнул Пирата:

— Со мной вроде не все ладно.

Он ответил не сразу.

— Подбери оружие и ползи сюда.

Я двинулся дальше. Солнце припекало, трава пахла не сильно, но проникновенно, хотелось уснуть и во сне увидеть свой дом, где ветреными ночами память о предках шуршит на чердаке. У меня никогда не было такого дома, и потому я оказался тут, и полз, полузакрыв глаза, пока не прибыл туда, где, как я твердо помнил, стрелок бросил оружие. Место было то самое, да и Пират помог пленгом. Так что вышел я точно.

Конечно, найти в траве полуметровый предмет, особенно передвигаясь ползком, не так просто. Я пошарил вокруг, потом пополз по спирали, уминая траву. Через две минуты я нашел сук, еще через две секунды — второй и тут же третий. Никакого оружия не было. Я осмотрел сучья один за другим. Пожалуй, с расстояния в триста метров любой из них можно было при желании принять за оружие, но если чего-нибудь с их помощью нельзя было делать, то именно стрелять — в этом я как-нибудь разбираюсь. Я вертел и нюхал их, потом плюнул и пополз, оставив сучья на умятом пятачке.

Я был примерно на полдороге к своим, когда трава зашуршала сильнее. Разведчик не станет пренебрегать таким предупреждением. Я приник к земле, потом осторожно поднял голову, увенчанную пучком травы. Это был заяц. Он мчался, пересекая поляну, и кто-то — собака или волк — настигал его. Было ясно, что косому не уйти, хотя он чесал по прямой, без прыжков, не петляя. У меня зудел указательный палец, но я удержался: мне пока ничто не угрожало. Я вздохнул и рассчитал, что зверь настигнет зайца за пятачком, откуда я полз. Заяц с лета выскочил на утоптанное место. А потом мне захотелось плакать.

Ну, не от жалости, конечно. Волкам положено жрать зайцев, и перевоспитать их до сих пор никому не удалось. Но тут вышло не так, и плакать мне захотелось от недоумения. Потому что все последующее не лезло ни в какие ворота — даже в ворота самого большого дока на Космостарте, около Земли.

Заяц выскочил на пяточок (я приподнялся, наблюдая за ним: мы избегаем демаскироваться перед человекоподобными, четвероногих опасаться у нас нет причин) и приник к земле. И исчез.

Вместо него с земли вскочил карлик — такой же, как те, первые. Я не знаю, откуда он взялся и куда делся ушастый. В сказки я не верю: мы навидались столько настоящих чудес, что сказочные нас не тревожат. Но заяц исчез, а карлик вскочил, и в руках у него был сук — один из тех, что я недавно подобрал там и бросил. Карлик вскинул его к плечу — волк был уже в прыжке, — и блеснул огонь, и прозвучали выстрелы. Волк перекувырнулся через голову и замер.

Только тут я опомнился и перекинул камеру на грудь, чтобы запечатлеть сценку в назидание поучающимся. Упавший волк лежал, невидимый в траве, а карлик сидел и внимательно разглядывал сучья. Потом поднял голову. и — я услышал — что-то сказал своим высоким голосом. С места, где упал волк, поднялся второй карлик. Они уселись рядом и стали разбираться в сучьях, что-то тараторя. Кажется, в чем-то они не соглашались. Потом один из них стал суком рыть яму; земля летела так, словно он орудовал лопатой. Другой побежал к опушке и скрылся в тени.

Я решил, что с меня хватит. Захотелось, чтобы Марк Туллий выдал мне лекарство, потрогал мой лоб своей увесистой рукой и, констатируя тепловой удар, предложил полежать на ветерке минут триста или немного больше. Иначе — чувствовалось — я совсем выйду из строя.

Я дополз и по странно блестящим глазам всех троих понял, что они наблюдали то же самое, что и я, и неизвестно еще, кто кому должен помогать.

Тем временем ушедший вернулся. С ним пришло еще несколько туземцев, среди которых были, по-видимому, и женщины — судя по иной одежде; фигурой они практически не отличались, и в них не было той привлекательности, того безмолвного и оглушительного зова, какой особенно четко слышим и ощущаем мы, годами не бывающие дома. Пришедшие тащили разные палки и обрезки досок, что ли. Потом нечто показалось из-за деревьев. Представьте себе, что едет платформа, доверху нагруженная всяческим ломом, в кабине сидит водитель и руки

его лежат на баранке. Потом уберите этот транспортер или сделайте его невидимым — и получите удовольствие наблюдать, как в воздухе, в метре от земли, плывет человек, сидящий ни на чем, полусогнув ноги и вытянув руки, а позади, ничем с ним не связанная, летит куча груза, меняя скорость и направление вслед за человеком, не приближаясь к нему и не отставая. Вот такую картину мы и увидели. Невидимый транспортер подкатил к моему пятачку, водитель сделал движение рукой, и лежащая на воздухе груда обломков стала перекашиваться, словно гидравлика поднимала край платформы, и наконец весь мусор посыпался на землю. Водитель опять пошевелил руками, словно переключая рычаги, и плавно двинулся по воздуху — на той же высоте — в обратном направлении. Я в тоске закрыл глаза.

Уткнувшись носом в траву, я пытался сообразить, в какой миг и в каком месте сознание мое, обычно ясное, сошло с курса и тронулось по дороге к безумию. В том, что я свихнулся, у меня не оставалось сомнений, да и остальные трое, видно, не избегли этой участи. Я слышал, как они обменивались мыслями, лежа тут же, рядом со мной. «Этого им без крана не поднять», — уверенно сообщил Старый Пират. «Ну», — глубокомысленно ответил Марк Туллий. «А вдруг...» — начал было стажер и умолк. «Ну!» — сказал Марк Туллий, но уже другим тоном. «Ах ты, дьявол!» — излучил Пират и подавился. Я не стал глядеть, мне было хорошо, в меру прохладно, хотелось задремать и увидеть во сне что-нибудь обычное: джунгли на Анторе или суп из концентратов. «Это не будет держаться, — снова предсказал Пират, — и вообще вся конструкция блеф». Марк Туллий вновь ответил нечленораздельно, лишь интонация позволяла понять, что он сомневается. Стажер вдруг засмеялся вслух, а Пират чертыхнулся и сказал опять на линтеле: «Миша, давай аптечку, это все не к добру». Через минуту я почувствовал, что мне засучивают рукав. Я позволил вогнать в меня все, что Марк Туллий нашел нужным, выждал еще минуты две и открыл глаза.

На поляне уже возвышалась башня — что-то вроде конуса, стоящего на своей вершине, а странный народец собрался на задранном к небу основании и продолжал строить. Строительство у них было, как я понял, пустяковым делом: стоило приложить одну часть конструкции

к другой, как она прирастала, словно приваренная. По всем законам механики эта башня должна была опрокинуться еще в самом начале, но ничего подобного с нею не приключилось, и она продолжала расти. Нашему зелью, стабилизирующему сознание, пора было бы подействовать, но картина не исчезала, и оставалось предположить, что все это происходило в действительности, хотя и не имело права. Сейчас народец находился уже метрах в семи над поляной. Старый Пират, подслушав, наверное, мою мысль, проговорил: «Да, странные эффекты дает порой облучение. Да и вообще... — Тут его мысль обнаружила новое русло и кинулась по нему. — А вообще-то все это вполне реально — существуют законы вероятности, и весьма возможно, что мы попали в такой уголок мироздания, где они проявляются не так, как у нас. Симметрия, симметрия явлений...» — Старый Пират, как и большинство философов, в особенности отставных, порой преклонялся перед многозначительными формулировками законов куда больше, чем они того заслуживали. Вот и сейчас он стал неслышно разглагольствовать на эту тему. «Что есть абсолютно невозможное? — спросил он и сам тут же ответил: — Событие, при котором нарушается какой-либо из фундаментальных законов. Прочие же явления могут быть маловероятными, но не невозможными. Не говоря уже о том, что на законе не написано, каков он на самом деле — фундаментальный или только притворяющийся таковым, все зависит от нашего уровня познания... Так что стоит еще подумать, существует ли закон, запрещающий ветке стать огнестрельным оружием. Ставлю свои башмаки против двух недель отпуска, что можно найти такую цепь событий, при реализации которых этот сук может и даже неизбежно должен стать оружием и выпускать пули. Например...»

Мне было любопытно услышать, какой он приведет пример и как построит свою цепь событий, но этого удовольствия я так и не получил, потому что один из карликов, возившихся на площадке башни, в этот миг стал внимательно смотреть в нашу сторону. Он даже поднес к глазам ладони, сложенные, как бинокль, словно бы ему так было лучше видно. Я насторожился. Снизу туземцам было трудно заметить катер — он стоял в тени, солнце было с нашей стороны, — но с высоты парень

увидел и закричал что-то, указывая пальцем. Строители мгновенно посыпались со своей площадки; они не падали, а опускались плавно, и никто из них не свернул шею, хотя вероятность была велика. Оказавшись на земле, они помчались к нам, галдя и размахивая палками — у кого были сучья, у кого щепки, у других и вовсе ничего. Я изготовился и стал ожидать дальнейших событий, держа молодцов на прицеле, но еще не переводя переключатель на позицию «массовая цель». Старый же Пират встал, поправил свой фламмер на груди и, помахивая правой рукой, неторопливо пошел навстречу местному населению, спокойный, как всегда в таких случаях, и улыбающийся, как землянин на картинке, изобращающей дружественный контакт.

Обе стороны остановились метрах в сорока от нашей позиции, когда между ними осталось два шага. Никто не стрелял и вообще не проявлял признаков недружелюбия, и мы немного успокоились. Мы знали, что сейчас Пират пытается нащупать их способ мышления, чтобы найти в нем щелку, куда можно будет вклиниться со своим линтелом. Карлики смотрели на него без страха, но — как я понял — и без особого интереса. На лицах их, схожих с человеческими, хотя и не до конца, возникали и исчезали гримасы; мимика у них была богатой, но, видимо, не совпадала с нашей, а в таких случаях трудно сказать, улыбается ли собеседник или показывает зубы. Они что-то говорили — во всяком случае, тот, кто стоял ближе всех к Пирату. Губы его, яркие и немного припухлые, шевелились, а маленькие зрачки не отрывались от лица нашего старика. Я почувствовал, что начинает стучать в висках: чтобы различить на таком расстоянии выражение глаз, приходится перестраивать зрение, а это утомительно; и тут предводитель туземцев решительно протянул руку.

Это было нам знакомо: попадая на обитаемую территорию, мы не раз уже уплачивали пошлину, чтобы избежать осложнений. Законы надо соблюдать, как бы примитивны они ни были. Старый Пират стоял к нам спиной, но я подумал, что сейчас он улыбается, довольный тем, что события развиваются привычным образом и не придется изобретать на ходу новую схему. Он залез рукой в сумку и вытащил горсть всякой ерунды, которую вечно таскал с собой — мужик он был запасливый: болтики,

фонарик с атмосферной подзарядкой, замок от старого комбинезона и прочий хлам. Но предводитель этим пренебрег. Он снова вытянул руку, и на этот раз не оставалось сомнений, что он указывает на фламмер, висевший на груди у нашего командира. Не знаю, какое выражение в тот миг возникло на лице Старого Пирата, но по медленному движению руки, которую он положил на оружие, я понял, что он находится в нерешительности.

Отдать оружие — значит оказаться в одиночестве, самом страшном, какое только можно придумать. Особенно когда перед тобой стоят полтора десятка человек — пусть даже каждый из них едва доходит тебе до пояса. Так что я отлично понимал, почему Пират медлит. А тот, маленький, все так же стоял перед ним, требовательно протянув руку, и уверенно смотрел командиру разведчиков в глаза.

Потом старик решился. Он снял фламмер с груди. По едва заметному движению плеча я понял, что он отключил конденсаторы и заблокировал разрядник. Теперь оружие больше не могло помочь ему, но и повредить тоже.

Маленький жадно схватил оружие. Остальные вмиг окружили его, головы склонились над незнакомым предметом. Старый Пират сделал шаг назад и остановился в ожидании.

Дальнейшее произошло мгновенно. Народец внезапно брызнул в разные стороны; как раз в тот миг в голове у меня мелькнула тень догадки и исчезла, вытесненная событиями. На секунду Пират и предводитель человечков оказались наедине, лицом к лицу. Карлик вскинул фламмер. Пират не шелохнулся: он знал, что бояться нечего, хотя вряд ли ему было приятно. Затем ударила очередь. Обезвреженный фламмер ожил в руках стрелка в не свойственном ему качестве пулевого оружия, и вряд ли хоть одна из неизвестно откуда взявшихся пуль прошла мимо цели. Старый Пират рухнул навзничь. Карлики завизжали, приплясывая, их главарь скакал выше всех, и тут-то, в прыжке, его нащупал тонкий луч трасера — устройства, которое помогает нам не расходовать заряды без толку.

В следующее мгновение импульс испепелил бы плясуна, но Марк Туллий в повороте ударил стажера в челюсть. Бывалый разведчик успел бы уклониться, но у

стажера не было еще нужной реакции; импульс ушел в небо, а Петя спланировал наземь и несколько секунд лежал, не приходя в себя. Мы провожали глазами уносившихся карликов, и тут снова началось: они менялись на бегу, теряли человеческий облик, и вот уже стайка птиц поднялась с поляны и исчезла за лесом, да еще несколько четвероногих, мчась галопом, скрылось за деревьями. Тогда Марк Туллий перевел взгляд на меня. Во взгляде был испуг.

— Да, — сказал я. — Я тоже видел.

Марк Туллий засопел. Стажер очнулся и сел, всхлипывая. Марк похлопал его по плечу, а я сказал — вслух, чтобы Петя понял точно:

— Не спешить — первая заповедь разведчика, паренек. Уж извини, но ты поторопился и мог сделать грязное дело. Пошли, Миша.

Я как-то сразу понял, что это было бы грязное дело. Марк Туллий кивнул, и мы быстрым шагом, не скрываясь, направились туда, где лежал Старый Пират.

Мы подошли; в глазах старика застыло удивление, маленькие дырочки наискось пересекали грудь. Я смотрел на них; пока Марк Туллий, присев, пытался найти пульс командира, одна дырочка исчезла. Марк отпустил руку командира, повернулся ко мне и спросил — тут уж он никак не мог обойтись одними междометиями:

— Ты засек тогда — с тем?

Это было не очень членораздельно, но я его понял.

— Да. Тот через пятнадцать минут был уже на дереве. Даже чуть раньше.

Марк Туллий взглянул на часы, мы уселись и принялись ждать. Прошло восемь минут, потом Старый Пират вздохнул. Мы смотрели на него. Он медленно повернул голову, теперь его взгляд был уже осмысленным. Он подобрал под себя руку, сел и покачал головой.

— Ну, как ты? — спросил я.

— Как с того света вернулся, — буркнул он. — Вот башибузуки, а?

— Да, — согласился я. — Но, понимаешь ли, они...

— Да понял я, — сказал старик. — Тут понял, когда разглядел их вблизи. — Он с усилием встал. — Однако ощущение не из самых приятных. Возраст, наверное. Да и давно уже меня не убивали.

— Они-то переносят запросто, — согласился я, — возраст, наверное. Вот и Марк тоже догадался.

Старый Пират слабо усмехнулся.

— У Марка, — проговорил он, — дома два таких разбойника, ему грех было бы не догадаться. Ну, топнули, что ли?

Мы повернулись, чтобы возвратиться туда, где ожидал нас угрюмый стажер. Он, кажется, успел даже поплакать немного от обиды — а может, мне просто показалось. Старый Пират сказал:

— Это что еще за траур? Хоронить меня собрался, что ли?

— Да не стрелял я! — вместо ответа крикнул стажер. — Напрасно они меня! Не стрелял! Я только подумал — врезать бы сейчас ему! — и...

Мы с Марком Туллием обменялись взглядами. Я подошел к стажеру и взглянул на индикатор фламмера. И не удержался, чтобы не присвистнуть; батарея фламмера была пуста, как бортовой журнал непостроенного корабля. Я поднял свое оружие; то же самое. Батареи разрядились подчистую. Ни о какой стрельбе не могло быть и речи — а ведь трассер сработал, и импульс был, только ушел он в молоко. Я сказал Марку Туллии:

— Явления того же порядка. Ладно, что будем делать? Поташим раму?

— Зачем? — спросил Марк Туллий. — Полетим на катере.

Я напрягся и понял, что именно он хотел сказать. Старый Пират и стажер взглянули удивленно. Великий оратор кивнул на Петю:

— Он.

— Понятно, — сказал я. — Смог выстрелить, значит, и катер сможет поднять. Если захочет.

— Пошли, — сказал Марк.

Мы взяли за раму и стали запикивать ее в катер. Тут и до Старого Пирата дошла наконец наша мысль.

— Ах, вон оно что! — протянул он. — Что ж, не лишено остроумия. Этьюдэн, иди-ка сюда! — Он указал на водительское кресло. — Размещайся.

— Степан Петрович! — сказал стажер и шмыгнул носом.

— Давай, давай, — поторопил Пират. — Разговорчики!

Стажер нерешительно протиснулся мимо нас и сел.

— Сидеть всем! — скомандовал Старый Пират. — Держаться крепче!

Мы включили страховку.

— Ну хорошо, — сказал Пират протяжно, — а теперь, этюднень, вези нас домой. На корабль.

Стажер не двинулся, на лице его снова возникло выражение обиды.

— Да мы не смеемся! — сказал я как только мог убедительно. — Ты ведь не стрелял в того?

— Нет! — сердито сказал Петя. — Не стрелял!

— Но очень хотел, правда? Очень, очень?

— Ну, хотел, — проворчал он.

— Мы так и подумали. А сейчас тебе надо захотеть, сильно захотеть, очень, очень захотеть, чтобы катер поднялся в воздух, как будто двигатель работает нормально. Понимаешь? Представить себе это так же ясно, как ты представил, что стреляешь в того человечка. Так, чтобы ты сам в это поверил, понимаешь? И мы поднимемся и полетим — так же, как эти летали на своих палочках, как превращались они в зверей и птиц — в кого угодно, потому что очень хотели и сами в это верили. Понял? Ну, давай, летим.

— Без мотора? — пробормотал стажер.

— Да ведь и они — без мотора.

Он нерешительно моргнул.

— Лучше пусть кто-нибудь из вас...

— Нет, — сказал Старый Пират. — Видишь ли, нам не суметь так. Мы не можем до конца, искренне в это поверить. Слишком много мы прожили и слишком хорошо понимаем, что к чему, что может быть и чего не может — слишком хорошо, в этом вся беда. Мы верим не в чудеса, а в абсолютные законы, мы набили себе немало синяков, стучаясь об эти законы, и страх нарушить их слишком глубоко сидит в каждом из нас. А ты еще можешь захотеть — и поверить, а поверив — суметь, потому что... Да ладно, давай-ка действуй, и не заставляй корабль и всех, кто на нем, ждать слишком долго. До Земли далеко, а всем нам не терпится увидеть кое-кого из тех, кто остался дома.

Он прямо поэтом стал, наш старик, от волнения.

— Хорошо, — тихо сказал Петя. — Я попробую.

Он закрыл глаза, сосредоточиваясь. Мы молчали,

чтобы не помешать ему, и даже думали негромко, чтобы мысли не пробивались за пределы нашего мозга. Мы надеялись на стажера, недаром он был такой лопоухий и мягкий, и романтический блеск часто появлялся в его глазах.

Мы не обманулись в нем. Он положил руки на рычаги и устремил взгляд в лобовое панорамное стекло, и задыхался чаще, и пригнулся — и минуты через две мы поняли, что он уже летит, только мы с катером еще оставались неподвижными. Значит, что-то мешало ему. какие-то остатки взрослого скепсиса и здравого смысла. Но помехи с каждой минутой становились все слабее. И вот катер — мы все это почувствовали — слабо дрогнул, словно лодка, стоящая на мели, когда прилив нагоняет воду и первая волна уже чуть приподняла дно. Затем катер дрогнул еще раз, сильнее — и плавно всплыл. Мы молча переглянулись. Катер набирал скорость. Еще несколько минут мы держались, кто за что придется, но потом поняли, что не упадем; стажер надежно держал катер в воздухе и вел к кораблю.

— Ты сказал «домой», — повернулся я к Пирату, — Однако, насколько я помню, экспедицию снаряжали не для того, чтобы она потеряла катер и снова нашла его; задача была — установить возможный уровень цивилизации в этой зоне. Но эта планета со всеми ее чудесами стоит вне цивилизации, она — парадокс, не более. Так что дом мы увидим не скоро: нам еще искать и искать.

Марк Туллий удивленно взглянул на меня, а Старый Пират ответил:

— Ты не понял, Стрелок: цивилизация, которая может отвести целую планету под детскую площадку и устроить так, чтобы дети жили в своем мире, где каждая их фантазия, каждое желание исполняется как бы само собой; чтобы дети росли, полные уверенности в себе и в силе своей мысли и воображения, — это, друг мой, цивилизация, заслуживающая уважения и зависти. Техническая сторона вопроса для меня темна, но они сделали это хорошо.

— Батарей, — сказал Марк Туллий со свойственным ему красноречием. — Сели. Все.

— Да, батареи. Какое-то поле, или не знаю что. Да разве это важно?

— Правильная ли это подготовка, — усомнился я, — к предстоящей юности и зрелому возрасту?

На этот раз Марк Туллий изменил себе.

— Да почему подготовка? — с досадой спросил он. — Опять эта глупость. Ты ведь не считаешь, что твой возраст — это подготовка к старости? А Пират не думает, что его пора — это подготовка к смерти. Нет, это просто разные жизни, и каждую из них следует прожить наилучшим образом. Люди горько заблуждаются, когда пытаются в другой жизни выполнить что-то, упущенное в предыдущей: это все равно, что потерять книжку на Земле, а потом искать ее около Гаммы Лебеда. Личинка бабочки ест листья, но зря бабочка старалась бы доесть то, чего не успела, пока была гусеницей: листья — не ее корм. Наши мысли — остатки веры в вечную жизнь, вот что это такое. Нет, они молодцы — те, кто придумал это.

Мы помолчали, потрясенные красноречием Марка Туллия: ведь прозвище его (подразумевался Цицерон), как и у всех нас, шло от противного — мы не скрываем своих недостатков от друзей. Меня, например, прозвали Стрелком; но я не люблю стрелять и делаю это лишь в случаях самой крайней необходимости — когда надо выручать ребят из серьезной беды. И сейчас, глядя на уже виднеющийся впереди корабль, я задумался: а может быть, все же слишком много стреляли ребяташки на своей детской площадке? Может быть, конечно, Марк Туллий и прав, и у гусеницы — свой корм, а уж когда бабочка раскинет крылья и вспорхнет над лугом — этакий махаон или адмирал, — она и глядеть на листья не станет, потому что пришла не пожирать мир, но делать его прекраснее. Память предков живет в нас, а предки наши стреляли и по поводу, и без повода; память ищет выхода. Ну что же, пусть детишки отстреляют свое, пока они еще бессмертны; а когда повзрослеют, пусть уже не возвращаются к этому, их ждут дела прекрасные и мирные. Вот так я думал. Я дальний разведчик, и теряю покой, когда кто-то где-то начинает слишком уж увлекаться игрой в оружие. Профессиональная черта, ничего не поделаешь. Детям это, пожалуй, простительно. Но только им.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

В световом куполе над городом произошло неуправляемое движение, и повалил снег, хлопьями величиною с лунный диск. Удивительно было видеть это на исходе августовской ночи...

Когда купол начал расплавляться в солнечном свете, поднялся вьюжный вой неслыханной силы и скрежет гигантского чего-то и ржавого; через час с четвертью все стало — рык и вой, то ли тигров и гиен, то ли их металлических каких-то прототипов; хищники осадили город, но он, полусонный, еще не понимал, кто и почему требует сдаться...

Люди, и одетые, и голые, толкались на улицах, кидаясь то в одну сторону, то в другую. Звуки странно взрывались и перекатывались над толпами, заглушая все; люди казались безмолвными. Около крыш и последних этажей носились в воздухе студенистые сфероиды, на каждом из которых было по два горящих пятна, размером с доннышко стакана. У этих тел были, вероятно, еще какие-то органы: иногда удавалось заметить движение не то щупальцев-хоботов, не то крючьев, отходивших от них...

Толпы, схлынув, оставляли после себя раздавленных людей.

— Сих берут жизнь города. Сопротивления бессмысленны. Конец. — Эти слова слышал каждый житель города на своем родном языке, будто произносились они внутри каждого уха, и странно-страшное скопище звуков снаружи меркло. — Сих — непостижимое для вас, это — мы: название употребляется только в именительном падеже; лучше бы в звательном, но он у вас отменен.

Эти короткие фразы и разбудили Викентия утром 21 августа, — именно в этот день пятнадцать лет тому назад не стало его деда, но каждый год в этот день, в шесть часов утра, в час упокоения, Викентий исполнял последнюю его волю...

Звуки с улицы странно предвещали ощущение Разрушения. Попытки спрятать голову под подушкой ничего не дали, — Викентий встал, глянул в окно, отпрянул: отвратительное лицо паники — там, снаружи. Теперь казалось, что ею и мебель дышит; не было вещи, которая бы при случае, словно присасываясь к кончикам пальцев, не вдувала бы по ним холод, и он кружил в груди, отнимая дыхание.

Викентий зарылся в теплую еще постель, будто она могла вдруг вздохнуть, погладить по голове и что-нибудь, хоть что-то сказать, спокойно и негромко, человеческим голосом, голосом последнего близкого человека.

— Мы начинаем разбирать. Все. Все представления ваши, — услышал, как и каждый житель города, Викентий и почувствовал движение в комнате.

Потолок оторвался от стен, поплыл в синеву неба вместе с пылью и крошками штукатурки, и ветер закружился по комнате, и странные звуки рухнули в уши.

... Дед был и — не стал. Исходящие от Викентия любые дела, любые молитвы, страдания — ничто; невозможное сжимает бесконечностью, неотвратно: как уплывание потолка, исчезновение верхней квартиры и крыши, как странные звуки. Видно: придется не стать и самому Викентию, который не может вернуть деда, который — никто.

Викентий вздрогнул. Так ощутил это. И слезы на своих глазах. Те разъяренные слезы детской беспомощности, которые вызвал когда-то холод рук деда.

Дрожь была крупно, глаза шарили по полу, боясь потолка из неба. Викентий покачивался в двух шагах от пианино, однако ноги не отрывались от пола...

Сфероиды метались над головой.

След слез исчезал во рту. Очередная капля остановилась у края губ, росла. Викентий поморщился, приподнял голову, как если бы пианино вдруг улыбнулось, облизнул угол рта; дрогнули губы, словно на улыбку не хватило сил, и поджались, когда Викентий сел на вер-

тящийся стул. Очевидно, ни одна мысль уже не могла пробиться сквозь волевой прилив, в изначалье которого теплилась робкая радость от того, что не стерто еще воспоминание; и желание усилить, возродить его из омута времени, превратилось в необходимость, которая росла непреклонно. Овеществить... хотя бы это, хотя бы как звук... клавиши, чуть осевшие в малой и первой октавах... вот и голос, только что еще живой: «...сыграешь Чайковского...».

Издали — пиано — доносится пение, — поют те, которых взаправду, может, и не было, но их видел композитор; слышали люди; меццо форте — и он слушал, как поют они свою надежду — мелодия громче, акцентируется отзвуком колокол-баса, который не вполне еще раскачался; ветер относит пение в сторону и возвращает, окрепшее, более близкое, певчие проходят мимо, делая ударение на каких-то словах, уходят дальше, и мощнее гудит колокол-бас...

— Прекратить. Немедленно. Разбираем стены, — вопили сфероиды вполне человеческим голосом, проскальзывая между рук Викентия, однако не задевая.

Медленно сдвинулась и отошла от своего места наружная стена комнаты; повисев, поплыла куда-то вверх и в сторону. Сфероиды метались по комнате, заглядывали Викентию в глаза... певчие уходили, и мелодия слышалась отяжелевшей, вот вздохнула вдалеке — пиано пианиссимо — растворяется будто...

— Молчать. — Происходит заминка, сфероиды сбиваются возле дальней стены комнаты, влетает сфероид, похожий на яйцо, в котором запросто уместилось бы пианино с Викентием, два пятна на нем сужаются и расширяются, как тарелки; зависает в центре комнаты.

— В чем дело.

— По данным экспресс-лаборатории и личного наблюдения: он нажимает на клавиши и педали, очевидно, в соответствии с директивами, которые записаны небуквенным письмом на листах специфической бумаги и находятся в поле его зрения; не исключено, что при этом в прилежащем пространстве возникают звуковые колебания; при попытках перевести эти колебания в речевые выражения перегорело три синхрофазопереводчика... — Сфероид выстреливается к дальней стенке, где роятся

остальные, однако на его месте тут же оказываются еще два.

— Сир. Он отдал себя во власть других представлений, где и находится в настоящее время.

— Сир. У нас нет средств против этих представлений. Черные пятнышки на бумаге не трехмерны и не могут быть его домом, который бы отражал его представления. — Оба сфероида отходят к стене.

Пение стихает на одной ноте, гудит густой колокол-бас, и отвечают ему встревоженные тенора, и хотят объяснить что-то, сказать и — замирают, едва отзвываясь на уходящий бас, и ветер плавно струится...

Руки Викентия еще на клавишах — пердендозы — вот и ушли люди, которых никогда больше не будет, — тишайшее пианиссимо — только знаки на нотной бумаге, знаки о них, их странное воплощение... как след высохших слез.

— Только черные пятнышки... — сказал голос в сфероиде яйцевидной формы. — Спасибо за донесения. Я слышал все... Возможно, во всем этом, во всем, что здесь происходит, и есть какая-то своя Музыка... Я призываю — Мир. Я дарю его...

И тишина восстала над городом.

— Я дарю этому миру Мир, — повторил голос, который слышал каждый житель города.

Викентий, потрясенный услышанным, поднимается, отирая рукавом пот, подходит к месту, против которого было в стене окно. Туда, где пол обрывается на улицу, подплывают части снятых отовсюду стен и потолков, выстраиваются лестницами, и ничего более не понимающий Викентий ступает на нее; осторожно, будто по тонкому льду, спускается по диковинной лестнице, висящей в воздухе, прямо на площадь перед своим домом, в гущу толпы, которая разрешилась вдруг сдавленным вздохом и отхлынула от конца лестницы, затаилась...

Как только Викентий ступил на землю, лестница, дрогнув, разобралась на куски стен и потолков; они медленно поднялись, исчезли за домами. Тысячи дичающих глаз следили за происходящим.

Тьма взглядов вперилась в Викентия. Он закрыл лицо ладонями, съежился, готовый упасть... Толпа дрогнула и

сомкнулась на шаг теснее. Викентий отнял руки от лица, оглянулся, ища выхода... Кольцо из людских тел сжалось плотнее.

— Что... — хрипнул Викентий, — что смотрите, так...

Толпа, очнувшись, стала сходитья; медленно, без остатков. Кто-то крикнул:

— Это ведь простой человек!

— Это — он! — крикнуло сразу несколько.

Кричали со всех сторон. И все явственнее, синхроннее:

— Бей его!

Толпа сомкнулась, и над местом, где стоял Викентий, шевелились людские головы, спины, руки... В тот же момент взорвались, но тут же стихли странные звуки, толпа судорожно дернулась от центра, опять освободив его.

То, что было несколько минут назад Викентием, поднимается с земли в окружении студенистых сфероидов, висит в воздухе; со всех сторон плывут стены, потолки, ровно ложатся на то место, где стоит Викентий, сдавливаются, получается гладкая, почти блестящая площадка; в ней образовывается выемка, в нее опускается то, что было Викентием; все закрывается такою же прессованной плитой, которая, соединившись с основанием, образует прямоугольный монолит.

Звучит мелодия, которую играл Викентий. Колокольный звон заглушается странными звуками, и они удаляются...

— Род, который продолжится от этих людей, ничего не будет знать об этом дне. Род останется таким, каким и был — родом убитых и убийц, — звучит голос, который слышит каждый житель города. — ...Свобода как дар — неприкосновенность воли этого рода, во веки веков.

...Над площадью — тишина, прерываемая шагами редких прохожих. Некоторые пристально вглядываются в дома, но не видят ничего странного; недоуменно смотрят на прямоугольный монолит посреди площади, протирают глаза и очки, прикладывают к лицам ладони...

Спустя несколько дней монолит целиком погрузился в землю, как говорят, от своей огромной тяжести.

Местные ученые успели определить удельный вес монолита. Один кубический сантиметр его, по их подсчетам, весил около семи тысяч тонн. Такого тяжелого вещества, говорят, на нашей планете никогда не было.

С тех пор больше никто и никогда не слышал странного слова «сих», которое употребляется только в именительном падеже.

1971—1981

СПАСТИ СЕЛЬФОВ

Мне каждый день тошно! Рычаг выскальзывает из рук. Пальцы трясутся. Все бесит: и этот смрад, и эти гнусные рожи. До чего ж я их всех ненавижу! Проклятая амброзия! Я не могу выносить ее запаха! Кто ее только выдумал — эту отраву?! Пришельцы говорят, что она извращает наследственность. Они объявили амброзию под запретом, даже учредили надзор. Но их я тоже ненавижу. Как болит голова! Ох, как болит — сил моих нет! Наверно, сейчас повалюсь на загаженный пол. Если упаду — потеряю один жетон. Все кругом вертится, прыгает, скалится... Что-то стукнуло. Это — моя голова о пол... Фу, кажется, теперь легче.

Ишь ты, крадется! Это наш «а-а» — антиамброзер. Должность у него такая — следить, чтобы мы не пили. Этот парень знает свое дело. С пьющего полагается штраф — один жетон. Но где же взять пьющего, если нету амброзии? Вот теперь я — человек! Голова — свеженькая! Дороговато, конечно, целый жетон антиамброзеру за баночку амброзии, но зато вовремя. Что бы мы делали без наших «а-а»?

В перерыве сидим в зале на лавках, жуем жвачку и слушаем учителей. Каждый день они рассказывают об одном и том же — о губительном действии амброзии на организм. Когда болит голова, я их просто не слышу. Когда здоров, — под их бормотанье сладко спится. За каждый урок им тоже платят жетонами. Не пропадать же людям от жажды.

И я мог бы рассказать о вредном действии амброзии на организм... Я способный. У меня самая тонкая работа: по вспышке лампочки поднимать рычаг вверх, а потом поворачивать его то влево, то вправо. Большинство

наших тупиц только и делают, что дергают рычаг на себя, от себя.

Скамейки и стены в зале и в коридорах усеяны листами бумаги. На них — картинки и тоже все про амброзию, о вызываемых ею необратимых наследственных изменениях. Об этом говорил нам учитель.

Окружающие меня скоты понятия не имеют о чистоплотности. Они только хлопают глазищами, когда видят, как я собираю бумажные прокламации и устилаю ими пол под своим рычагом. Им невдомек, что в похмельных конвульсиях можно биться не на голом полу, а на подстилке из добрых советов.

Наконец, кончается работа. Мы выползаем, вываливаемся, выкарабкиваемся всей гурьбой. Целый день ждали этой минуты. Впереди — веселое счастье, для которого рождаются сельфы. Сейчас мы охвачены единым порывом. Когда людей мучает жажда, их не остановить! Разве можно запретить счастье?

Какие приятные звуки, звенят жетоны, гремят банки амброзии. Их выкатывает нам подпольный спекулянт — автомат.

Пьем. Глоток за глотком вливается в нас счастье. Я вижу рядом милые рожи моих друзей. Жизнь без амброзии лишена смысла. Мы почти не едим, — только самые крохи: никогда не хватает жетонов. Спим где придется. Но разве это имеет значение? Зато мы — настоящие, гордые, бесшабашные, лихие сельфы. Когда-то давно, еще до пришельцев, кое-кто тоже пытался поднимать голос против амброзии. Трусливые хлюпики. Они устраивали козни, предавали народ, пытались отнять у него навсегда светлое диво. Твердили нудные фразы: «Деградация личности», «Национальное бедствие!». Только это никого не запугало. Родилась новая свободная раса яростных сельфов.

Но вот объявились пришельцы. Говорят, что это потомки сбежавших умников. Они вмешивались в наши внутренние дела, стали нас ограничивать и даже пробовали лишить нас жетонов. А амброзия как пилась, так и пьется. Пьют все. Те, кому думать не надо, пить начинают от скуки, те, кто привык задумываться, — от тоски. Потом пьют, чтобы жить, чтобы вырваться из одиночной камеры, в которую ненормальные трезвенники добровольно себя заточают.

Пришельцы собирают нас на работу. Это называется «трудовое воспитание». Им нравится, когда мы все — в куче. Оно и верно. Пить в знакомой компании, среди своих, куда приятнее.

Нам надоел старый язык, на котором все время долдонят о трезвости. Настало время его забывать. Мы научились разговаривать по-другому. Сейчас, например, я отрываю напарнику ухо, и он верещит, потому что без слов понимает мое намерение. Мне жаль напарника — он добрый малый. Но именно поэтому мне хочется оторвать ему ухо. Это было слишком длинное ухо; я оторвал его и на всякий случай положил на щеку.

Бабы не спускают с меня глаз. Они видят, как я силен, яростен и красив. Но мне двадцать пять лет, и бабье меня уже не волнует. Разве что найдется такая, которую захочется укусить. Вот я и двигаюсь среди них, бью их по рожам. Они отступают и любят меня мною. Я очень строен. В моей походке — величие и элегантность. Они любят меня. Я люблю всех. Все мы счастливы и прекрасны. Но я — прекраснее всех!

Теперь пойдем просвежимся. Я люблю свежий воздух, заходящее солнце и серебристую пыль: здесь я становлюсь неотразим. Я не иду — лечу! Должно быть, со стороны это выглядит бесподобно! Сельфы во все времена славилась своим изяществом. Какие мы все-таки милые и добрые люди.

Как хорошо! Чем бы еще скрасить вечер? Может быть, свернуть кому-нибудь шею?

А вот место, где разгружаются пришельцы. Уже вечер, но у них на площадке светло, как днем. Не пойму, чего им надо. Твердят, что хотят нам помочь. Зачем нам их помощь, если амброзию делают автоматы, придуманные далекими предками?

На этом месте всегда полно ротозеев. Сидят и ждут чего-нибудь интересенького. Ждут и поют песни. Я тоже люблю попеть, и, конечно, пою громче и лучше всех.

Но что я вижу?! Неужели бывают такие бабы?! Это пришелица! Прямая, хрупкая, тоненькая, как ветка с куста. Гладенькая, пушистая — прямо игрушечка! Никогда такой бабы не видел! Гляжу на нее, млею и думаю: «Пойти что ли выпить еще или остаться смотреть?»

— Напрасно ты не захотела подождать меня в холле, — сказал Стас, помогая сестре выбраться из транспортера. — Я должен осмотреть прибывшие с кораблем грузы.

— Извини меня, — ответила Вера. — Не хотелось снова оставаться одной. Ты даже не представляешь себе, как я рада, что вижу тебя! Ты всегда был для нас героем. Мы завидовали тебе и гордились тобой. Не могу поверить, что я на той самой романтической Сельфии, которой мы, студенты, бредили ночами. И рядом — ты! Это просто чудо!

— Я тоже счастлив, что вижу тебя. — Стас улыбался, но улыбка не могла скрыть печали. — Когда я улетел, ты была совсем девочкой... Ладно, подожди немного, Верок. Сейчас кончу осмотр и мы поедem в поселок.

Стас двигался вдоль штабеля, сверяя номер контейнеров с описью. По его команде молчаливый гигант-робот укладывал грузы в транспортер. Стоя поодаль, девушка с нежностью и тревогой смотрела на брата. На лице его она заметила усталость и что-то еще — непонятное, скорбное и пугающее.

Она не могла долго молчать.

— Стас, — сказала Вера, — на корабле я слышала, что, под предлогом реставрации генотипа, вы собираетесь подвергнуть сельфов принудительному облучению. Это правда?

— Правда, — кивнул Стас, не отрываясь от описи. — Другого выхода нет.

— Но ведь это чудовищно! — вспыхнула девушка. — Сельфы такие же люди, как мы! Генотип — это суть любой формы жизни. Касаться его — преступление!

— Вера, — спросил Стас, — знаешь ли ты, что такое амброзия?

— Слышала, — усмехнулась девушка. — Сейчас обычно сгущают краски, когда вспоминают про вино. Не это главное! Для нас сельфы — это, прежде всего, прославленная галерея сельфианских «Аполлонов». Людям такого совершенного сложения, таким искусным ваятелям есть чем гордиться. Это великий народ! Ах, как хочется поскорее встретиться с сельфами!

— Ладно, — отозвался Стас, — мы еще поговорим. А сейчас я должен закончить сверку.

Девушка отошла от машины. Ей захотелось услышать ароматы и звуки Сельфии. Она приблизилась к границе освещенной площадки. И тогда ей показалось, что в кустах, там, где кончается бетонное поле, кто-то жалобно плачет. Веру охватило смятение. Она медленно подходила к тому месту, откуда слышались звуки. Рыдания смолкли на самой высокой ноте, точно разорвалось чье-то сердце. Девушка вздрогнула. Мелькнула неясная тень. Что-то мягко ударило в спину, навалилось всей тяжестью, сдавило шею. Воздух наполнился смрадом. Вера вскрикнула. Чувствуя, что задыхается, она закинула руки за голову. Пальцы вошли в жесткую, как проволока, щетину. Девушка вцепилась в эти космы и, резко пригнувшись, рванула через себя.

Что-то живое с шумом плюхнулось на бетонные плиты. Стас был уже рядом. В руке его вспыхнул фонарь. Темнота отступила за границу площадки... У ног людей отчаянно подпрыгивал на спине огромный, величиной с собаку, пузатый паук. Наконец, ему удалось перевернуться и встать на кривые лапы. Исходя зловонием, лохматое существо трусливой рысцой припустило к кустам и скоро исчезло.

— Какой кошмар! — говорила, опомнившись, Вера. — Я так испугалась! Оно хотело меня укусить... Как называется это жуткое насекомое?

Стас! Что с тобой?

Почему ты молчишь?!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЯДИ ТОМА

Когда закончилась процедура конфирмации, Том вместе с учителем Коллом пропустил новоиспеченных биокиберов через тестовые камеры, а затем проводил стратобот, на котором весь выводок направлялся в учебный центр.

Вернувшись в отделение, Том присел к пульта, вынул журнал регистрации и не спеша стал приводить в порядок записи. Он не сразу поймал себя на том, что прислушивается к голосам, доносившимся из соседнего отделения. «Доктор Мэй представляет гостью инкубатор», — догадался Том. Он знал, что старому ученому не так уж часто выпадала радость принимать гостей: планета Кера всего несколько раз в году встречала и провожала корабли. А как раз накануне произвел посадку космолет с лирическим названием «Фиалка».

— Дорогой Рам, — обращался доктор к капитану «Фиалки». — Очень прошу вас, не путайте биокиберов с механическими роботами. Наши питомцы способны не только мыслить, но даже чувствовать. Здесь мы следуем путем, проторенным природой. Мозг бйка формируется по генетической программе человеческого мозга...

— А что, если ваши киберы взбунтуются? — поинтересовался капитан.

— Взбунтуются? — удивился Мэй. — Чего ради? Скорее взбунтуюсь я!

— Но извините, тогда непонятно, зачем бйку интеллект человека?

— Как зачем? Для освоения обитаемой зоны уже теперь не хватает людских ресурсов, а наши бики физически гораздо выносливее человека.

— Но если, доктор, у них возникнет желание господствовать? Утвердить свое право более выносливого?

— Позвольте, это уж слишком! — запротестовал ученый. — Господствовать может лишь разум, наделенный Высшей Логикой. Человечество пришло к ней через множество жертв.

— То, что вы, доктор, называете Высшей Логикой, прививается людям с детства. А ваши бики выходят из инкубаторов готовенькие. Кто может поручиться за их лояльность?

— Лояльность — это, пожалуй, не то слово, — задумчиво произнес Мэй. — Наша главная цель — сделать биокиберов достойными современниками, а кое в чем и преемниками человека. Этим как раз и занимается отделение конфирмации — святая святых инкубатора...

— Том, дружище! Поздравляю! — с порога приветствовал Мэй. — Лер мне уже доложил: конфирмация — высший класс!

Широкое лицо Мэя излучало доброту. Следом за доктором вошел невысокий человек, лицо которого почти скрывалось в облаке табачного дыма; более менее отчетливо проступали только курительная трубка и черные, взлет, усы.

— Видите, Рам, желтый конус над пультом? Это и есть конфирматор, — объяснил Мэй. — За несколько секунд его луч делает все, что надо.

— Как это понимать?

— Видите ли, наш мозг имеет особую область, так называемый бугор эгоцентризма...

— Понимаю, понимаю, луч конфирматора, словно раковую опухоль, разрушает этот самый бугор!

— Ничего подобного, — всего лишь понижает возбудимость его нейронов до уровня, достаточного человеку нашего времени. Как следствие, резко улучшается коммуникабельность личности: способность понимать окружающих, ощущать свою общность с ними.

— Вот теперь, — сказал Рам, не выпуская из рта трубки, — теперь понятно, как вы приручаете биков.

— Приручаем?! — возмутился Мэй. — Да знаете ли вы, что при малейшей неточности конфирмация может стоить бичу жизни?

— О, я верю, доктор! — успокоил его капитан. — Вы знаете, как все это устроить без лишних хлопот.

— Ошибаетесь, Рам, я уже давно не брался за ручку конфирматора. Процедура требует напряжения всех сил и большой выдержки. Этим занимается Том. Вот он, перед вами, знакомьтесь. Не одно поколение прошло через его руки. Недаром бики называют его «наш дядя Том».

Том молча пожал большую красивую руку гостя. Он впервые видел такие сильные и красивые руки с мягкими, добрыми ладонями.

Капитан поспешно прервал рукопожатие.

— Это как раз тот случай, — продолжал Мэй, не заметив брезгливого жеста Рама, — о котором я вам уже рассказывал. Том — один из наших первенцев, не имевших речевого аппарата. К сожалению, из-за несовершенства энергопитания, все они, кроме Тома, погибли. Но с ним этого не случится. Он окружен вниманием. Мы всегда регулярно меняем его энергокапсулы.

— Дядя Том — наша гордость, настоящий маг конфирмации! — говорил Мэй. — Его глаза видят луч конфирматора. Настолько совершенно его зрение! Он любит музыку, умеет читать и писать, изъясняется с помощью жестов...

Бик не первый раз слышал этот панегирик и не первый раз видел растерянность на лицах людей, неожиданно узнающих, что он — не человек. Том имел правильную форму тела, строгие, почти красивые черты лица человека среднего возраста. Однако Том знал, что, несмотря на полное сходство, предубежденный наблюдатель всегда может отличить его от настоящих людей по каким-то труднообъяснимым признакам, обобщенным в загадочной формуле «что-то не то».

Том научился улавливать настроение людей. Сейчас он посочувствовал гостю, которому стало вдруг скучно. Бик по опыту знал, что ученый не отпустит своей жертвы, пока не проведет по всем отделениям инкубатора.

Час спустя, когда Том покончил с записями и уже укладывал в шкафчик журнал регистрации, за стеной послышались звуки ударов и крики, «Что это? — уди-

вился бик. — Вся аппаратура выключена, а сотрудники инкубатора — люди тихие, не шумят никогда».

Том поднял голову и оцепенел: в отделении, словно из облака табачного дыма, возникла фигура со скрещенными на груди руками. Без доктора Мэя Рам, капитан «Фиалки», чувствовал себя гораздо свободнее. Он окинул помещение деловым взглядом, уделив Тому ровно столько же внимания, сколько и шкафу энергоблока.

За стеною снова послышались удары и крики, затем — топот множества ног. Распахнулась дверь, и в отделение ворвалась толпа незнакомых Тому людей. С громкими криками они окружили его, стали толкать, сбили с ног, скрутили проволокой, с гиканьем протащили по полу и бросили в темный чулан, где хранился лабораторный инвентарь. Все произошло так быстро, что Том не успел опомниться. Он был сильнее людей, но чувствовал, что с ними творится что-то неладное и, боясь причинить им вред, избегал резких движений. Бик не испытывал физической боли. Его мучило другое: он не мог понять, что происходит. Дефицит информации всегда причинял киберу необъяснимые страдания, и он досадовал на свою неспособность без посторонней помощи избавиться от мучительного, парализующего недоумения.

Легким усилием бик разорвал на себе проволоку и принял удобное положение. От этого легче не стало.

Тогда он попытался расслабиться.

— Здесь труп! — крикнул кто-то над самым его ухом.

— Не мели вздор! — донесся голос капитана «Фиалки». — Это только чучело. Давай его сюда!

Том открыл глаза и увидел над собой растерянное лицо молодого парня.

— Эй, Бэр! — позвал капитан. — Ты долго будешь возиться? Освободи ему ноги. Он умеет ходить!

Том догадался, о ком идет речь. Осторожно, чтобы не задеть растерявшегося в темноте парня, он поднялся на ноги и не торопясь стал выбираться из чулана. За дверью бик остановился, пораженный обилием света, не узнавая инкубатор. Исчезло все оборудование. В наружной стене зиял огромный пролом. По опустевшему зданию бродили незнакомые люди с длинными блестящими предметами на поясных ремнях. Рам стоял в стороне, извергая команды и брань. Его большие красивые руки были заложены за спину.

Вслед за биком из чулана выскочил молодой парень. Он уже оправился от замешательства и теперь горел желанием как-то себя проявить.

— Что встало?! А ну пошло, пошло, чучело! — крикнул он, ткнув кибера в бок концом длинного предмета, который держал в руках.

— Бэр, мальчик мой, что ты делаешь? — неожиданно ласково спросил Рам. — Ты посмотри, какие у него тонкие брови и лазоревые глаза! Разве такого породистого красавца можно обижать?

Парень стоял зеленый от страха, пока не сообразил, что это розыгрыш.

— Вы правы, шеф! — крикнул Бэр, стараясь перекрыть общий хохот. — Такой красавец мне еще не попадался!

Том был потрясен. Ему казалось, что он утратил чувство реальности: такое могло привидеться только в бреду.

— А ты, чучело, почему не смеешься вместе с нами? — заорал Бэр.

Крик вывел Тома из оцепенения.

— Я не чучело, — сказал он жестами. — Скажите, пожалуйста, кто вы? Что здесь происходит?

Кибер изъяснялся с помощью рук и не ожидал, что эти движения можно истолковать как-то иначе.

— Ребята, — закричал Бэр, — вы видели? Он на меня замахнулся!

Все повторилось сначала. Люди бросились на Тома, сбили с ног. Через минуту, опять связанный, он лежал на полу и глядел, как из пролома в стене тянулась к нему длинная, пахнущая маслом, рука погрузочной машины. Крепкие захваты сдавили грудь и спину. Мир закружился. На миг блеснуло в глаза жаркое солнце Керы. Потом свет погас: от перегрузки эмоциональных центров сработало защитное реле, выключающее сознание.

Очнулся Том от воя сирены.

— Торопятся унести ноги, — сказал кто-то рядом.

Том разорвал на себе проволоку, приподнялся на локтях и увидел, что вместе с ним на полу тускло освещенной камеры лежат связанные люди: доктор Мэй, Колл и Вадим — весь персонал инкубатора. Потом раздался грохот. Чудовищная тяжесть припечатала всех к холодному полу...

На этот раз сознание возвратилось не скоро. Тишина рождала тревогу. Том долго прислушивался к себе и вдруг понял: слабость и противное ощущение страха возникли оттого, что заряд энергокапсулы на исходе. Значит, если не заменят капсулу в ближайшие сутки, его ждет гибель от энергетического истощения. Ничего подобного бик еще не испытывал. Волна ужаса захлестнула его. Том всегда верил в свою исключительную выносливость. Ему и в голову не приходило, что он когда-нибудь перестанет существовать. Но о замене энергокапсулы теперь нечего было мечтать, и он почувствовал такое отчаянное желание жить, что готов был биться головой о стену камеры.

Рядом послышался стон. Том открыл глаза и ужаснулся. Только теперь он понял, как беспомощны могут быть люди, и тревога за свою жизнь отступила на второй план. Никто из друзей не приходил в сознание. Бик разорвал на них проволочные путы и снова опустился на пол: вид крови, запекшейся на одеждах, вызывал головокружение. «В кого теперь верить, — думал он, — если люди могут так поступать с людьми?»

До сих пор Том судил о жизни за пределами Керы только по фильмограммам и старым книгам из библиотеки доктора Мэя. Он до тонкости знал физиологию мозга человека. От самых истоков известен был ему путь, по которому жизнь пришла ко всеобщему братству существ. Доктор Мэй торжественно называл этот уровень царством Высшей Логики или эрой Глобальной Ответственности каждого за свою обитаемую зону. На первый взгляд команда Рама тоже состояла из разумных существ, но действия их почему-то шли вразрез с Высшей Логикой. В их поведении было что-то звериное, напоминающее времена, о которых бик знал только понаслышке. Он не понимал, что с ними творится, но был убежден, что эти люди глубоко несчастны и страдал от того, что не знал, как им помочь. Он был растерян, словно ребенок, впервые столкнувшийся с превратностями жизни, и так разволновался, что не мог унять дрожь. Том понимал, что гнетущее недоумение и ощущение собственного бессилия приведут к бесполезной трате энергии и, чтобы успокоиться, на время отключил сознание.

Когда Том снова очнулся, он услышал знакомые голоса и догадался, что друзья его уже пришли в себя.

— Кажется, я знаю, где мы находимся, — сказал Колл, первый помощник Мэя, — это трюм «Эдельвейса», того самого «летучего голландца» космоса, о котором ходит так много слухов. Я уже в лифте заметил табличку с названием корабля. Они даже не потрудились ее сменить.

— Лифт — еще не корабль, — заметил Мэй.

— Но посмотрите, доктор, — Колл, прихрамывая, заковылял по камере, — вот здесь, на пластине древнего запора, тоже выбито «Эдельвейс».

— Рам назвал свой корабль «Фиалка», — произнес доктор. — Выходит, он меня обманул.

— Обманул вас?! — возмутился Колл. — Да ему удалось обвести вокруг пальца всех! И космослужбу, и администрацию Керы, и дежурных космопорта! Все словно ослепли! Просто поразительно...

— А меня с самого начала поразил вид космолета, — признался Вадим, самый молодой сотрудник инкубатора. — Я никогда не видел ничего подобного. Он показался мне каким-то ненастоящим, похожим на бутфорское сооружение.

— Это естественно, — сказал Колл. — «Эдельвейс» был построен в те времена, когда звездолеты не могли совершать надпространственные переходы. Официально считается, что этот корабль взорвался в открытом пространстве. Но поговаривают, что его захватили авантюристы — космические пираты.

— Мало ли о чем поговаривают, — вздохнул Мэй. — Ведь это было так давно! С тех пор около четырехсот земных лет прошло!

— А я слышал, — сказал Вадим, — «Эдельвейс» встретили в космосе лет пять назад.

— Вы заметили, у них на поясах лучеметы? — спросил Колл. — Я видел точно такие же на Земле, в музее древностей.

— И в самом деле, друзья, — усмехнулся доктор, — похоже, что мы попали в музей с ожившими экспонатами. Наверно, эти люди перескочили через века — уходя от погони, случайно развили скорость, близкую к световой.

— Я думаю, они сделали это сознательно, — сказал Вадим. — Просто со своим временем их уже ничто не связывало. Из пиратов космоса они превратились в хронопиратов.

— Возможно, — согласился Мэй. — Не понимаю только, зачем им понадобился наш инкубатор и мы сами?

— Думаю, не для хороших дел, — сказал Колл. — Они погрузили на борт все оборудование, но догадались, что без нас не сумеют пустить его в ход.

— Я полагаю, — сказал Вадим, — надо обдумать, как завладеть кораблем и вынудить Рама вернуться на Керу. У меня есть план. Когда пираты войдут, мы сделаем вид, что все еще связаны, а потом неожиданно все трое атакуем их, чтобы захватить лучеметы и Рама в качестве заложника, — и тогда можно будет диктовать свои условия.

— Вот что, друзья, — сказал Мэй, — сначала, я думаю, надо узнать, для чего им понадобился инкубатор.

— Браво, доктор! — раздался вдруг голос Рама. — Наконец-то я слышу разумную речь.

Створки двери раздвинулись. Рам стоял на пороге камеры, вооруженный своей неизменной трубкой. За спиной его с лучеметами наизготовку торчали рослые громилы.

— Браво, доктор, — повторил Рам. — Мне как раз пришло в голову объяснить вам, кто мы и откуда взялись, но вижу, вы сами все знаете. Приятно иметь дело с умными людьми. Стоит ли от вас скрывать, что инкубатор нам нужен для производства биков. Мы должны иметь много биков. Чем больше, тем лучше!

— Зачем? — удивился Мэй. — Вы отправляетесь в экспедицию?

— Вот именно, в экспедицию, — подхватил Рам. — Вся наша жизнь — экспедиция... без возвращения. С помощью биков мы в любом времени устроимся, как дома, будем жить в свое удовольствие!

— Но при чем же здесь бики? — удивился Мэй. — В наше время и без них каждый живет в свое удовольствие!

— Разве речь идет о ваших чахленьких оптимизированных потребностях, которые ничего не стоит удовлетворить? — усмехнулся Рам. — Бики станут выполнять малейшие наши прихоти и устранять всех, кому вздумается нам перечить. Если вы захотите, то будете иметь все это наравне с нами.

— Ясно, — сказал Мэй, — вам нужны послушные рабы.

— Чепуха! Рабы были людьми, а ваши бики — просто куклы.

— Это — организмы, Рам. Видите Тома? Он все понимает. Все! Только не может ответить.

— На Земле у меня была сука дренвальдской породы, — сказал Рам. — Между прочим, тоже все понимала, только не могла говорить. О чем мы спорим, доктор? Бики для меня — только начало, они должны проложить путь к власти над живыми людьми. Я чувствую, вам трудно это понять. Боже мой, как деградировало человечество! Я начинаю думать, что судьба возложила на меня великую миссию остановить вырождение земной расы, влить в нее здоровую кровь предков. Это не достижимо без власти. Лучшие люди нашей старой планеты боролись и умирали за власть. Власть — это сама жизнь, ее вершина, для достижения которой годятся любые средства. Власть — ничем не ограниченная свобода проявления воли. Разве же не к этому должно стремиться все живое и разумное?

— Однако вы философ, Рам, — усмехнулся доктор. — Но биков вы не получите.

— Не стоит капризничать, доктор. Бики для меня только инструмент. Вы же пользуетесь своим оборудованием, властвуете над ним, и ваша совесть чиста. Я собираюсь пойти дальше. Что же в том дурного?

— Бик — живой разум, который сам решает, что ему делать, и может отличить хорошее от плохого.

— Ну, это мы еще увидим. А пока я желаю, чтобы ваш инкубатор работал здесь, на борту моего корабля, в центральном салоне.

— Никогда! — крикнул Мэй. — Ваши цели гнусны, и вы от нас ничего не добьетесь!

— Ну что ж, я ожидал, что вы сразу не согласитесь, — ответил Рам. — У вас будет время подумать. Кстати, мы захватили документацию: в крайнем случае, обойдемся без вас. Разумеется, это займет больше времени, но я утешусь тем, что вышвырну вас за борт.

Все это время Том неподвижно лежал на полу и безучастно смотрел на людей. Поступавшая информация чудовищно противоречила всему, что он знал о жизни, вызвала потерю чувства присутствия — состояние, которое сам он считал шоковым.

— Что касается биков, — продолжал Рам, — я надеюсь, они будут покладистее. Начнем вот с этого. Эй ты, как тебя, дядя Том! Хватит бездельничать! Пойдешь с нами!

Рядом с главарем возникла фигура уже знакомого Тому парня.

— Шеф, это чучело на меня замахивалось, — сказал Бэр. — Разреши мне потолковать с ним. — У парня явно чесались руки.

— Не троньте Тома! — закричал доктор. — У него кончается энергозаряд. Тому нужно беречь силы. Без свежей капсулы он недолго протянет...

— Разорвать проволоку у него хватило энергии, — ухмыльнулся Рам. — Не беспокойтесь, надолго он нам и не понадобится.

— Оставьте Тома в покое! Он никуда не пойдет! — Мэй, пошатываясь, сделал несколько шагов и остановился между Рамом и биком. Вадим и Колл тоже стали рядом.

— Не пойдет, говорите? — это мы сейчас проверим. — Рам достал из кармана маленький электроаккумулятор с двумя гибкими усиками электродов. — Мы не станем бить вашего дядю Тома, это ни к чему. Ведь биокиберы выносливее людей. Но я помню, как вы сожалели о том, что они слишком чувствительны к электричеству. Вы сами, доктор, подсказали мне средство для воспитания ваших чучел. Сейчас мы его испытаем!

— Вы изверг! — закричал Мэй. — Не смейте приближаться к Тому!

— Связать их! — приказал Рам.

Том вскочил на ноги. Он не мог позволить, чтобы из-за него люди продолжали мучить друг друга. Расставив руки, он пытался защитить друзей от ударов ворвавшихся в камеру громил.

— Стойте, мальчики! — скомандовал Рам. «Мальчики» остановились. — Вы правы, доктор, Том знает, что надо делать. Я на него не сержусь. Но в качестве урока на будущее, он должен получить свою порцию... — С этими словами пират быстро приложил к руке Тома наружные электроды аккумулятора. Такой боли кибер еще не испытывал. Ноги его подкосились. Он упал на

колени и уже не слышал шума борьбы и криков. Это было невыносимо. В страшных муках Том извивался на полу, пока не сработало биореле, выключающее сознание.

Том приходил в себя долго. Тело еще хранило память о пережитом страдании; мелкая дрожь пробегала волнами от затылка до самых ступней. Сколько энергии отняла эта боль! Открыв глаза, Том приподнялся на локтях и зажмурился: перед самым лицом торчали два огромных ботфорта Рама. Один из них приподнялся, и биокибер почувствовал сильный удар в бок.

— Встать! — закричал пират. — Умиравший лебедь! Нас не проведешь! Теперь я — твой господин. Будешь делать все, что прикажу, не то получишь новую порцию заряда.

Тому стало не по себе: он не понимал значения слова «господин», но упоминание об электрическом заряде заставило его содрогнуться. Пожалуй, он еще мог бы найти в себе силы выбить из рук человека маленький аккумулятор. Но уничтожение орудия пытки ничего бы не изменило. Эти люди не понимали языка его жестов. Они ничего не желали понимать. Им было недоступно сочувствие — способность представить себя на месте другого. Их собрал вместе страх, но от этого каждый из них не стал менее одиноким и менее жалким.

Бик огляделся. Он находился в большом зале, добрая половина которого была забита оборудованием разграбленного инкубатора.

— Ну, что узнаешь? — рассмеялся пират.

Том опустил голову: картина разоренного родного гнезда не много прибавляла к тому, что он уже испытал.

— Что мне с тобой делать? — покачал головой Рам. — Меня уверяли, что ты долго не протянешь. Бедное создание... Но кое-что ты все-таки сделаешь. Я хочу, чтобы инкубатор выглядел так, будто его не трогали с места. Ты это можешь: не зря они так долго с тобой носились... Бэр, иди сюда! — позвал Рам. Парень подошел вразвалочку и, подбоченясь, уставился на Тома. — Ты присмотришь за этим чучелом, чтобы не вздумало выкинуть какой-нибудь номер. По его указаниям запрограммируешь роботов, — наставлял капитан. — Когда все будет сделано, мы приведем сюда Мэя и его дружков: надо

дать почувствовать этим кретинам, что мы сумеем обойтись и без них. Возьми карандаш и бумагу: если что-то понадобится, пусть напишет. Оставлю тебе аккумулятор: в случае чего, покажи ему, что ты — господин, а не выродок из паршивого инкубатора.

С трудом переставляя ноги, Том проник в ущелье между аппаратными шкафами. Где-то рядом двигались роботы, снимая бандаж, крепившие оборудование к палубе. Бик ощущал тупое безразличие ко всему происходящему. Обидные клички, которые давали пираты, не трогали его. Он уже мог понять трагедию этих людей из прошлого, и сострадание к ним отзывалось в груди острой болью. Но пережитые испытания отняли слишком много энергии. Том сам был в тупике и не видел выхода. Ни одна светлая мысль не могла пробиться сквозь броню изнеможения.

Том остановился перед блоком энергоснабжения. От шкафа веяло ледяной тоской. Бик машинально протянул руку и нажал кнопку включения аппарата на холостой ход. Некоторое время он безучастно наблюдал, как, по мере прогрева узлов, стрелки приборов двигались к контрольным рискам. На какой-то миг он даже забыл, где находится — так все было привычно. Страхнув с себя наваждение, Том почувствовал ужас: только теперь ему пришло в голову, что инкубатор и в самом деле можно восстановить. Он выключил блок. Сломать! Вывести из строя все, что уцелело от инкубатора! «Варварская и наивная мысль», — подумал кибер. Сам не зная зачем, он выдвинул из блока маленький ящик, где хранился запас энергокапсул и осторожно извлек одну из них. Операцию смены капсулы доктор Мэй проводил всегда лично, и теперь бик не знал, что делать с этой маленькой блестящей палочкой. Том вспомнил о своих друзьях, сидящих на полу в холодной камере, и ему стало стыдно от того, что он думал сейчас только о себе.

От соседнего шкафа отделилась тень.

— Эй ты, что ты тут делаешь? — набросился на Тома пират. Он давно наблюдал за биком: блестящая капсула вызвала у него смутные подозрения. — Ты эти штучки брось! — угрожающе захрипел Бэр, направляя в лицо Тома электроды аккумулятора.

Две пружинки едва не коснулись щеки бика. Том отшатнулся, зацепился ногой за кабель и упал навзничь,

ударившись затылком о выступ шкафа. Капсула пока-
тилась по палубе и с легким звоном рассыпалась под
сапогом Бэра.

Падение не причинило вреда Тому, но он остался
лежать на палубе, сквозь неплотно прикрытые веки на-
блюдая за Бэром. Пират был растерян. Сначала он
неуверенно топтался около Тома, а затем, убедившись,
что никто не видит, нагнулся и, преодолев отвращение,
приподнял голову бика. Том ощутил мягкое прикоснове-
ние человеческих рук. «Что ж, парень, для начала не-
плохо», — подумал кибер и сел, потирая ушибленный
затылок.

— Ну и здорово же ты треснул! — Бэр облегченно
вдохнул.

Том крутил головой, словно пытаясь убедиться, что
все шарниры на месте. Пират не подозревал, что этот
жест выражал у биокибера смех. Но смеялся Том не над
Бэром и даже не над собой. Его смешила нелепая, драз-
нящая мысль.

— Ладно, поваялся и хватит, — примирительно ска-
зал Бэр. — Вот карандаш и бумага. Пиши, что надо
делать.

«Неужели Бэр всерьез верит, что из этого хаоса я могу
собрать инкубатор?» — улыбаясь, подумал Том. Подняв-
шись на ноги, он двинулся вдоль ряда шкафов, не пе-
реставая крутить головой, и смех прибавлял ему силы.
«Нет, если люди не ведают, что хотят, то я сам вправе
решить, что им надо».

Он разорвал один из листов бумаги на мелкие кусочки,
на каждом поставил номер, прикрепил бумажные клочки
к шкафам и камерам. На другом листе Том изобразил
план зала, где место каждого аппарата было показано в
виде квадрата с номером. Довольный Бэр по-своему,
по-пиратски, выразил благодарность:

— Смотри, чучело, если обманешь — прибью!

Том никого не собирался обманывать. В его плане все
было верно.

Через несколько минут роботы, получив новую про-
грамму, приступили к перестановке оборудования.

Том включил в себе музыку. Он не выбирал вещь,
которую проигрывала музыкальная память: это проис-
ходило само собой под влиянием настроения и обстоя-
тельств. Когда через час кибер приступил к подключению

первой кабельной муфты, он уже целиком находился во власти звуков. Оптимизируя двигательные и жизненные процессы, музыка помогала беречь энергию. Память его не просто повторяла услышанное: сам не подозревая того, Том был великим интерпретатором. А порой, когда в рамках запомнившейся программы ему становилось тесно, он, не смущаясь, раздвигал их и смело пускался в импровизацию, уверенный, что эти кощунственные вольности навсегда останутся его тайной.

Том привык относиться к людям, как к равным. Единственное, чему он завидовал — это их детству. «Что там люди, — печально улыбался он, — даже мотылек, порхая среди цветов, наверно, видит в себе чудо сбывшихся грез своей неуклюжей и наивной личинки». Том улыбался и тогда, когда думал о докторе Мэе. Всеобщее признание в области биокибернетики не помешало доктору стать доморощенным философом. Он любил говорить о Высшей Логике. Сочетание этих двух слов было его личным изобретением. По мнению Тома, Мэй слишком часто рассуждал об ответственности, имея в виду не какую-нибудь, а Глобальную ответственность. «Любопытно, — спрашивал себя бик, — приходило ли кому-нибудь в голову, что настанет час, и одному из созданных человеком бесполом и бесплодным организмов придется взять на себя Глобальную Ответственность за судьбу людей?»

Эти высокие рассуждения одновременно и поддерживали силы Тома и смешили его. Смешили потому, что он никогда не ожидал обнаружить в себе столько тщеславия. В этих мучительных обстоятельствах бик невольно искал опору в самом себе. Он наслаждался красотой распускавшихся в нем мелодий, вздрагивая, когда в стройный поток звукомыслей вторгались диссонирующие ощущения. Том догадывался, что вся его прошлая жизнь была лишь прологом к тому, что теперь предстояло. Он прислушивался к звучащей в нем музыке, подсмеивался над собой и над Бэром, который, «задравши хвост», носился за роботами. Том шаг за шагом приближался к цели, от которой уже не мог отказаться, хотя и знал, что последний шаг на этом пути может обернуться чудовищным преступлением.

— Ты молодчина, Бэр, — похвалил капитан. — Я помню, как стояли шкафы. Теперь, кажется, все на месте. Эта кукла не посмела обмануть. Мы поставим Мэя перед

совершившимся фактом. Он поймет, что я шутить не люблю... Эй, мальчики, — крикнул Рам, обращаясь к пиратам, толпившимся у входа, — а ну волоките из трюма «Святую Троицу»!

Окрыленному похвалой Бэру тоже захотелось на кого-нибудь рывкнуть:

— А ты что расселся! — заорал он на Тома.

— Пусть сидит, — примирительно сказал Рам. — Так даже лучше: это его рабочее место. Мэй должен знать, что у нас все готово. Еще хорошо бы, чтобы вся эта кухня издавала какой-нибудь шум...

Том протянул руку к пульту, и салон корабля наполнился ровным гулом.

Бики не пользуются атмосферным воздухом. У них нет легких, как у человека. Но Том испытывал ощущение, похожее на удушье. Тело налилось тяжестью, и что-то внутри с нарастающей силой сжимало грудь. Том уже знал, что капсула энергопитания совсем отключилась. Жизнь организма поддерживалась только энергией внутренних резервов. Ее могло хватить еще на час состояния тлеющего полузабытья. Он прикрыл глаза, потому что больше всего боялся, что первым откажет зрение. Весь превратившись в слух, Том старался определить, что происходит в салоне.

Сквозь гул инкубатора слышались крики и топот ног. Бик догадался, что Мэй, Колл и Вадим уже в зале. Он открыл глаза и увидел их среди беснующейся толпы вооруженных пиратов. «Зачем им столько оружия? — подумал Том. — Кого они боятся? Неужели три слабых человека, со связанными за спиной руками, внушают им такой ужас?»

Том машинально пересчитал пиратов, занес цифру в журнал и даже расписался. То была его последняя дань графомании: процесс письма всегда доставлял Тому наслаждение. Привычные движения сочетались со спокойным, в течение долгих лет отработанным ритмом, требующим своей, особой музыки.

Рам ходил взад и вперед и чадил трубкой. Он должен был показать пленникам, что в эту минуту решается их судьба.

— Я рад снова вас видеть, доктор! — наконец объявил

пират, изображая улыбку (в глубине души он считал себя великим артистом). — Как видите, мы не теряли времени даром. Ваш выкормыш оказался выше всяких похвал: чувствуется солидная школа. Но я не знаю, дорогой Мэй, как нам теперь быть? Вы уверяли, что биоккибер — живой разум, который сам может определить, что ему надо делать, и отличить хорошее от плохого. Как видите, в моих руках он стал послушным исполнителем воли человека.

— Ради бога, — взмолился Мэй, — только не называйте себя человеком.

Рам все еще улыбался, если можно назвать улыбкой то, что остается после оплеухи. Он даже не моргнул глазом, когда за спиной его что-то звонко ударилось о палубу. Пират не нашел ничего лучшего, как пустить струю дыма в лицо противника.

— Ну разумеется, — начал он, растягивая слова, — для вас я — чудовище...

— Вы — мразь! — уточнил Мэй. — И нам не о чем разговаривать!

Рам не слышал, как ударялись о палубу металлические предметы. Потеряв власть над собой, он, как затычку, выдернул изо рта трубку и, почти не размахиваясь, нанес доктору сильный удар в челюсть. Мэй привалился к стене. Из разбитой губы сочилась кровь.

— Ну как, доктор, нам все еще не о чем разговаривать? — ухмыльнулся Рам, потирая ушибленный кулак. — Хотите что-нибудь сказать?

— Можно мне, — спросил Вадим, придвигаясь к пирату.

— Валяйте, — разрешил пират, — только короче. Вы и так отняли у нас много времени.

— Я буду краток, — пообещал Вадим.

С этими словами он резко пригнулся и что есть силы ударил пирата головой в живот. Рам издал хрюкающий звук и, взмахнув руками, опрокинулся на спину. Он упал на какой-то твердый предмет и, тяжело дыша, с глазами, вылезавшими из орбит, стал шарить вокруг. Пальцы его коснулись холодной поверхности лучемета. У него не было времени думать, почему оружие оказалось на палубе. Рам потянул лучемет к себе, но не смог сдвинуть с места. Он оглянулся и вздрогнул: тяжелая ступня придавила оружие к полу.

— Это ты, Бэр? — прохрипел капитан.

— Я, шеф, — ответил парень и сильным ударом носка послал лучемер в дальний угол, где уже многоногим чудовищем ершилась куча брошенного командой оружия.

— Назад! — крикнул Рам, с изумлением глядя, как его «мальчишки» развязывают пленников. — Назад... — повторил он срывающимся голосом. Но никто даже не обернулся.

Рам посмотрел вверх и вскочил на ноги; оттуда, из торчащего над пультом желтого конуса, прямо в лоб ему смотрел холодный фиолетовый глаз.

— Нет, нет! — закричал пират и бросился к лучемерам. Но на его пути оказалась чья-то нога, и Рам, споткнувшись, упал на колени. Поднимался он медленно и даже не уловил момента, когда произошла перемена, — только почувствовал вдруг, какой чудовищной пропастью легли за плечами четыре не прожитых им столетия. Появилось тяжелое ощущение, которое испытывает живое существо, только что переставшее быть личинкой, но еще не осознавшее себя в новом качестве.

Для Тома свет погас. Только страшная мысль продолжала жить: «Что я наделал? Ведь это же люди! Еще никто не брался делать это с людьми. Я убил их!» Том почувствовал, что заваливается на бок и вот-вот упадет с высокого кресла.

— Вадим, энергокапсулу, быстро, — крикнул Мэй. — Держись, Том, дружище!

Усилием воли бик включил угасшее зрение. Он увидел, как уходит в сторону потолок и надвигается палуба. Из тумана выплывало лицо. Две сильные руки подхватили Тома и бережно понесли в ту часть зала, где раздавался голос доктора Мэя:

— Том, ты слышишь меня? Поздравляю, конфирмация — высший класс!

Том был в полном сознании, но чувствовал, что угасает: стихала музыка, умолкали люди. Его несли к ним красивые и добрые руки... Рама. Том беззвучно смеялся: «Живы, голубчики! Все до единого живы! Значит, успел, не промахнулся...»

Он зажмурился: словно острые иглы вонзились в зрачки... в руке доктора Мэя блеснула капсула.

В ПАМЯТЬ ОБО МНЕ УЛЫБНИСЬ

1

Ее зовут витафагия. Она — порождение случая, маленькой аварии в наследственном аппарате живой клетки. Эта юная жизнь нежна, хрупка и чувствительна. Она — сама скромность, классический пример неприспособленности к превратностям жизни.

Витафагия поселяется в каждом организме без исключения, но только в одном случае из десяти она находит подходящие условия для роста. И начинает расти — потихоньку, незаметно. Но такой «скромной» она остается лишь до поры до времени.

Наступает время, когда материнский очаг витафагии больше не может развиваться скрытно. Это уже не шепотка клеток, а зрелая опухоль, охваченная нетерпеливым азартом гонки. Она растет теперь, бешено раздирая окружающие ткани, выделяя фермент, задерживающий свертывание крови и заживление ран. Ей уже не страшны никакие медикаменты, никакие убийственные лучи — она ведет борьбу за жизненное пространство.

Но вот в сиянии операционной хирург заносит над ней свой нож... Опухоль удаляется. Однако с ее гибелью увеличивается активность метастазов — дочерних витафагий, уже занявших исходные позиции для наступления по всему фронту. Судьба живого организма предопределена.

И самое главное, что витафагия, как айсберг, — большая часть болезни протекает подспудно. Она дает о себе знать, когда у нее есть все шансы на победу. Но это уже не болезнь — это приговор, обжалованию не подлежащий.

С отцом мы виделись редко. У него была своя жизнь. Иногда я тосковал по нему. Но эта тоска была какой-то абстрактной. Отец не отличался общительностью. Он любил говорить то, что думает, а это не всегда доставляет удовольствие.

Неожиданно получилось так, что мы с отцом стали сотрудниками. Это произошло в самую счастливую пору моей работы в витафагологическом центре, в тот год, когда я загорелся идеей К-облучателя. Мне понадобился физик-консультант. У отца была своя тема в институте времени, но он первый откликнулся на мое предложение.

Моя идея не блистала оригинальностью: облучение стандартным К-облучателем приводило к некоторой убыли массы опухолевой ткани, а я рассчитывал, что если удастся создать широкодиапазонный К-облучатель с регулируемой мощностью и направленным действием, то можно будет начать решительную борьбу с болезнью, особенно в ранней стадии.

Когда отец понял, на что я замахиваюсь, он только покачал головой.

Он не хотел меня понимать. Наши разговоры выглядели приблизительно так.

Он: — Как мне надоели витафагологи. О чем бы ни говорили — все сводится к ранней диагностике.

Я: — Ты что-нибудь имеешь против?

Он: — Что можно иметь против, если это всего лишь пустая болтовня?

Я: — Пока что. Почему ты над всеми смеешься? Я же не критикую ваших физиков-временщиков, хотя вы давно уже возвещаете, что близится момент хроносвязи с будущим. Говорят, у вас для этого все готово. Только контакта почему-то нет.

Он: — Со стороны, конечно, виднее. У нас тоже есть любители пошуметь. Кроме профессиональной гордости, существуют еще профессиональные заблуждения. Вот вы, витафагологи, стали настоящими магами анестезии. Под тем предлогом, что наш организм недостаточно совер-

шенен, вы добились того, что человек не помнит уже, как должно ощущаться собственное тело.

Я: — Ни один уважающий себя врач не решился бы высказать подобную ересь!

Он: — Верно. Не решился бы. Но думает именно так.

Я: — Мы тоже не боги.

Он: — А жаль... Когда человек болен, ему так хочется верить в вас, как в богов...

3

Мой К-облучатель получился похожим на огромный махровый цветок. Во время работы гребенчатые лепестки резонаторов начинали светиться и сходство с цветком усиливалось.

У зрелой витафагии поразительная живучесть. Она легко приспосабливается к неожиданным воздействиям. И К-лучи не явились исключением. Их терапевтические возможности оказались ничтожными. Зато они вызывали неприятный побочный эффект: когда работал облучатель, больные животные испытывали страшные муки: К-лучи нейтрализовали действие анестезаторов.

В фагоцентре к моему провалу отнеслись спокойно, словно заранее знали, чем все кончится. Здесь многие прошли через это.

Но для меня все сразу отошло на второй план: я получил удар с другой стороны. Нельзя назвать его неожиданным. У каждого есть приличные шансы с опозданием обнаружить в себе расцветающую колонию витафагии с полным букетом метастазов.

В свое время она отняла у меня мать, потом жену. Теперь я опасался за жизнь двух оставшихся у меня близких людей — отца своего и сына. Но витафагия пришла ко мне.

Рвущая боль пробудилась внезапно. Она терзала и жгла, отнимая силы. Это была непрерывная пытка. Я терял сознание, умирая от одной только боли. Потом, когда ввели анестезирующее средство, я с мальчишеской лихостью сам, без посторонней помощи, добрался до хирургического стола.

Я спал почти без перерыва неделю. Режим сна ускорял заживление ран. Проснулся в палате. Через большое открытое окно заглядывал каштан. Там был наш сад. Шумела листва. Звенели голоса птиц. Я не чувствовал боли. Предоперационные страхи остались позади. Хотелось петь, смеяться, поделиться с кем-нибудь радостью избавления от ужаса близкой смерти. От ужаса, — но не от самой смерти. Я хорошо понимал, что моя психика стабилизирована действием превосходных транквилизаторов. Но мне было все равно.

Мне показалось вдруг, что в палате, кроме меня, кто-то есть. В кресле напротив шевельнулся белый халат. — Это ты, отец?! — удивился я.

Грустная улыбка ему совсем не шла. Я вдруг вспомнил, что в разрывах сна много раз видел родное лицо. Значит, все эти дни отец был рядом. Только сейчас я заметил, как он осунулся. Раньше я не знал о нем самого главного. Печально, что мне довелось узнать об этом только на операционном столе. Один раз я застонал: не то чтобы невозможно было стерпеть, просто в какой-то момент появилось очень неприятное ощущение, будто из меня вытягивают внутренности.

— Разве я делаю больно?! — притворно удивился старый хирург. — Стыдно, молодой человек, ваш папаша был терпеливее.

Мы оба больны. У отца это уже давно, и я ничего не знал! Мне показалось, что, несмотря на непривычно мягкое выражение лица, он вот-вот скажет что-нибудь колкое. Я решился заговорить первым.

— Скажи, папа, когда же ваш институт наладит хроносвязь с будущим? Я уверен, что там, у них, с витафагией давно покончено, и их ученые смогут нам помочь.

— В детстве ты увлекался фантастикой. Помнишь фундаментальное ее правило? Люди будущего не могут или не имеют права оказывать влияние на прошлое. Мы, временщики, склоняемся к мысли, что правило это существует и в действительности. Так что скорее всего придется нашим витафагологам полагаться на собственные силы, самим искать спасение.

Отец замолчал. Я только догадывался, о чем он думает. Возможно, он полагал, что я должен выговориться,

любими средствами внушить себе самому ощущение заурядности происходящего, но мысли мои работали в другом направлении.

— Нам только кажется, что мы все на свете можем, — сказал я. — Мы гордимся своим мужеством и тем, что научились спокойно глядеть в глаза смерти. А витафагия чувствует, когда можно сыграть на нашем тщеславии...

— Ничего она не чувствует! — На отцовском лице ожила привычная насмешка. — Витафагия давит на вас своей неприступностью. Но вы защищаетесь не от нее, а от тех, кто терпеливо ждет вашей помощи. Что стоит наделить витафагию мистическим разумом, да еще приписать ей свои, не слишком оригинальные мысли? На первый взгляд — невинная шутка. Но есть расчет, что в глазах непосвященных это может и оправдать ваше поражение, и окутать вас таинственным ореолом мученичества...

Нет, он определенно не немерен был давать мне поблажек или делать скидку на беспомощное состояние. Я рассмеялся: только отец умел так кстати вклеить пощечину. Я был счастлив от того, что он рядом.

5

В то утро, когда я вышел из клиники, мне сообщили, что отец просил срочно заехать к нему в институт времени.

Он встретил меня в вестибюле. Зал был полон солнца. Играла тихая музыка. Отец стоял у светящейся изнутри колонны. Она казалась издаലെка лучом света. Человек рядом с ней был похож на плоскую серую тень. Отец так осунулся, что я его не сразу узнал. Он стал каким-то другим, словно часть его растворилась в воздухе. Отец взял мою руку и долго не отпускал. Это был не свойственный ему жест и вдруг я понял: моя рука нужна ему, как опора. Я почувствовал, что теряю отца навсегда. Но он не дал мне раскрыть рта.

— Сегодня второй, пока еще пробный сеанс контакта с будущим, — сообщил отец. — Во время первого только зафиксировали факт хроносвязи и назначили время следующего сеанса. Наши партнеры из будущего предупред-

дили, что если мы подготовим несколько не очень сложных вопросов, то они попробуют на них ответить.

Итак, меня посадили в переговорное кресло, как специалиста в самой актуальной для человечества области. На голову давил тяжелый шлем, от которого тянулся толстый блестящий кабель. Перед глазами туманным облаком светился экран. Его размытые контуры терялись в полумраке.

Отец находился в кабине управления. Временами оттуда доносились шорохи. Я слышал равномерный гул, ощущая легкую вибрацию.

Рядом с экраном мигали контрольные лампочки.

— Есть контакт! — сказал чей-то незнакомый голос.

Тут же все звуки стихли, будто закрыли какую-то дверь. Погасло все, кроме экрана. Но это был уже не экран — это сама комната вдруг лишилась стены, получив продолжение в какое-то зыбкое, зеленоватое пространство... И там обозначилась тень. Она двигалась, будто переливаясь из одной пространственной области в другую. Тень становилась четче, все больше напоминая силуэт человека. Однако изображение так и не стало достаточно резким, чтобы можно было разглядеть лицо и одежду.

Послышался хрип, он перешел сначала в жалобный визг, а затем в подобие человеческой речи. Иллюзии сходства мешала чрезмерная правильность слога. Очевидно, люди будущего использовали специальный лингвистический интерпретатор, настроенный на язык конкретного временного отрезка. Сначала голос считал:

— Два, пять, раз, шесть, три, семь, девять, восемь... — а потом неожиданно выдал целую серию вопросов и указаний: — Почему вы молчите? Вы же слышите меня! Говорите! По вашему голосу настраивается аппаратура. Вам нечего сказать? Надо было подготовить вопросы!

Хотя в смысл фраз было вложено нетерпение, голос по-прежнему звучал ровно и бесстрастно.

— Сейчас буду спрашивать, — пообещал я, стараясь придать голосу извиняющийся тон: от волнения я никак не мог собраться.

— Ну так спрашивайте! Не тяните время! — Тень переливалась все энергичнее.

В ужасе от того, что теряю драгоценное время на эмоции, я задал свой первый вопрос:

— Какой процент населения в ваше время уносит витафагия?

— Нулевой, — ответила тень. — Вы не могли бы задать вопросы посерьезнее? С витафагией справились еще до вас.

— Вы ошибаетесь, — возразил я. — В наше время от витафагии погибает каждый десятый.

— Не может быть! — Тень взмахнула руками. — Мы не могли ошибиться в расчете временного адреса. Это исключено. Скорее всего, мы говорим с вами о разных вещах. Витафагия поддается лечению не хуже, чем любая другая болезнь. При ежегодной диспансеризации все население проходит через «Гвоздику». Заболевших лечат в обычном порядке. Я не специалист и не могу объяснить точнее. По-видимому, все дело в «Гвоздике»... Если есть еще вопросы, задавайте!

Вопросов не было!

— Счастлив узнать, что витафагия побеждена! — сообщил я вполне искренне. — Я сам болен, и хотя первичную опухоль вырезали, она успела дать метастазы. Известно ли вам, что это такое?

— Известно, — ответила тень. — Но вы должны меня извинить: в стадии метастазов витафагия уже не болезнь. Когда приходит агония — лечить нечего. Мы с вами, действительно, говорили о разных вещах...

Экран погас. Я сидел в тишине и ожидал, когда придет отец. Думать ни о чем не хотелось. На душе было скверно. Почему-то отец не подходил, словно забыл обо мне. Пришлось самому стаскивать с себя тяжелый шлем. В полумраке я добрался до кабины управления. Дверь ее была открыта. Отец лежал на полу. Он был без сознания. В кабине почему-то никого больше не было. Я вызвал помощь. Через каких-нибудь двадцать минут его доставили в нашу клинику.

Все происходило чудовищно обыденно. Повадки витафагии известны каждому. Всем было ясно — это заключительный акт.

Я сидел у изголовья отца. Пришел мой сын, тоже физик. Мне всегда казалось, что деда он любил больше, чем меня, хотя иногда я чувствовал, он, как и я, побаивался неистовой насмешливости предка.

— Они сказали: «Он умер на своем посту», — простонал мой мальчик.

Я понял: они — это те любители барабанных фраз, которых отец не успел доконать. Для них он уже умер.

Огромный удивительный мир жил в этой большой сердитой голове... Угасает искра... Зачем она горела?

И тут он открыл глаза. В последний раз. И тихо сказал:

— Я еще здесь?! Это — ошибка... Не терплю кислых физиономий... честное слово. Считайте, что меня уже нет... Пожалуйста, в память обо мне... улыбнитесь.

6

Стараясь не шуметь, я пробрался по коридору в свой кабинет. Рядом за тонкой перегородкой шла обычная работа: ассистенты завершали программу экспериментов с К-облучателем.

Еще издали, завидев свое любимое кресло, я почувствовал, как измучен, как хочется спать.

Это было огромное великолепное кресло. Я успел по нему соскучиться. В нем так хорошо думалось. Оно освобождало мышцы от напряжения, помогало сосредоточиться. Но едва я погрузился в него, меня, как мальчика, вдруг затрясло. Отец умер. Никогда, никогда больше не увижу я его насмешливой улыбки... Никогда не услышу его насмешливой речи, резких, беспощадных фраз, которые порой так помогали мне, направляя мысли в иное, более перспективное русло.

А этот хроноконтакт... Меня, конечно, пригласили как специалиста по витафагии, но вряд ли вовсе обошлось без протекции отца.

Но какая жалость! Очевидно, он оказался прав: будущее не может влиять на прошлое.

Какое там влияние! Просто нуль информации: вначале мне сказали, что витафагия побеждена, а затем назвали ее агонией — трудно придумать что-нибудь более подходящее для того, чтобы сбить с толку. Что же касается упоминания о какой-то «Гвоздике», то это лишь стилистическая деталь, придающая всему сообщению аромат поэтического бреда.

Мысли были тяжелые, и мне показалось, что именно они вызвали физическую боль. Ее очаги находились в

разных местах — там, где у меня никогда ничего не болело. Боль усиливалась. Стало трудно дышать. Я отправил в рот сразу два шарика анестезина и ждал: облегчение должно было наступить немедленно. Но боль не унималась. Напротив, она стала невыносимой. Больше я не мог терпеть. Вскочил с кресла. Сделал несколько шагов по направлению к двери и почувствовал, что пол уходит из-под ног.

Очнулся я в кресле. Вокруг бледнели встревоженные лица. Не хотелось ни двигаться, ни говорить, ни смотреть. Но у меня теперь ничего не болело, и стало неловко перед ребятами. Я заставил себя собраться, сел поприличнее и объявил:

— Все в порядке! — Это было натуральное кокетство, и на мои слова не обратили внимания. Кто-то сказал:

— Мы вас отвезем домой...

— Пустяки, — хорохорился я. — Лучше принесите воды.

Пил с жадностью. Зубы стучали о края стакана — так бывало всегда после сильнодействующих анестезаторов.

— Это мы виноваты, — сказал кто-то из ассистентов.

Я нашел в себе силы рассмеяться:

— Господи, вы-то здесь при чем?!

Мне показалось, что смех был не слишком вымученным. Но в следующую секунду я услышал такое, от чего вполне можно было лишиться дара речи.

— Мы не знали, что вы у себя, — сказал ассистент. — Мы включили аппаратуру... Понимаете, так получилось: эта чертова «Гвоздика» в соседнем боксе оказалась направленной в вашу сторону...

— Как вы сказали? «Гвоздика»?! — я, наверно, кричал, хотя почти не слышал своего голоса: в висках штормила кровь.

— Простите, я по привычке, — смутился ассистент. — Так мы называем про себя ваш К-облучатель. Он чем-то напоминает цветок гвоздики.

«Это точно. Напоминает», — подумал я, а вслух попросил:

— Знаете что, ребята, честное слово, мне уже лучше... Хочется немного побыть одному.

И они ушли, уверенные, что боль не повторится: ведь «эта чертова «Гвоздика» теперь выключена.

Я остался сидеть в своем любимом кресле, потрясенный неожиданной разгадкой. В сообщении из будущего не имелось противоречий. Как просто все разрешилось!

Выходило, что отец был прав, называя разговоры о ранней диагностике пустой болтовней.

Витафагологи любили поговорить о ней, а сами тем временем изыскивали новые средства для утоления боли — тончайшего диагностического средства, которое природа подарила человеку в готовом виде. Люди гибли, и боль была для них по-прежнему врагом номер один. Ее притупляли, утоляли, гасили, снимали, однако при этом никогда не забывали порассуждать о ранней диагностике. Гибли и те, кто больше всех любил о ней разглагольствовать.

Совершенствовались средства, снижающие общую чувствительность, снимающие боль в суставах, в соматических тканях, в отдельных органах; средства, повышающие общий тонус и настроение, избавляющие от душевных мучений. В борьбе с болью проявилась вся гуманность людей. И она не выдержала, оставила поле сражения, бежала и унесла с собой единственный шанс на достижение ранней диагностики.

— Теперь с этим покончено! — говорю я, а самому даже не верится. Неужели мой К-облучатель — моя «Гвоздика» — заставит, наконец, очаги витафагии выдавать себя болью? А ведь подобным действием обладает еще ряд известных препаратов, числившихся в списках исследовательского брака. Их уже давно можно было направить на обострение естественной диагностики. Но если бы не сеанс хроносвязи и не упоминание в нем «Гвоздики», вряд ли кому могла прийти в голову чудовищная мысль о необходимости убедить человечество встать на защиту боли.

Я вдруг подумал, что убеждать уже поздно. Надо делать дело. Мне самому уже ничто не поможет. Но именно потому, что осталось мало времени, надо сделать все, чтобы спасти других.

И тогда я позвал ребят. Мне надо было себя проверить. Я рассказал им все, умолчав лишь о сеансе хроносвязи. Каждый из ассистентов высказал что-то свое, но смысл был один: «Я думал об этом раньше, но о ранней диагностике так много говорилось, что постепенно я перестал придавать ей значение».

— Ну что ж, — сказал я себе, — я так же, как и они, думал об этом раньше, но не придавал значения. Болезнь, которую мы называли витафагия, и в самом деле только агония. Больным суждено умереть. Остальным мы подарим «Гвоздику».

7

Человек привыкает ко всему, даже к мысли о близкой смерти. Витафагия по-прежнему живет в каждом и по-прежнему в девяти случаях из десяти сама погибает. В остальных случаях мы теперь успеваем ей в этом помочь.

Высочайшее напряжение всего человечества, концентрация усилий на самом ответственном направлении сделали свое дело. Произведено необходимое количество К-облучателей, химических и биологических средств для диагностики и подавления ранней витафагии. Развернута глобальная сеть лечебных и диагностических пунктов. Запрещен широкий доступ к анестезирующим средствам.

Но всем этим уже занимался не я, хотя мне и была оказана честь: я стал почетным членом комитета, руководившего всей кампанией. Почетным — потому, что уже давно не поднимаюсь с постели. Зато получаю самую свежую информацию, а время от времени с помощью средств телесвязи даже участвую в заседаниях комитета.

Я много думал о сыне. Он вырос на моих глазах. Я с тревогой наблюдал за ним в возрасте, когда все мальчики неожиданно обнаруживают у родителей комплекс злокачественной некомпетентности. Я был счастлив, когда он, наконец, благополучно перешагнул через это, и особенно потом, когда он сам стал отцом.

Однажды я спросил сына:

— Как там у вас в физцентре института времени? Хроносвязь наладили?

— Как всегда, папа, — бодро ответил сын, — готовимся и мечтаем. По нашим расчетам можно ждать контакта уже в этом столетии.

Мне вдруг стало весело: я все понял.

— Скажи, парень, что это была за лаборатория, из которой деда твоего увезли в клинику?

— Какая лаборатория? Это малый демонстрационный салон! Старик, я помню, заказал его на целый день. На вопрос о цели он отделался шуткой: «Хочу вправить мозги одному эскулапу». Дед был шутник.

— Это точно, — подтвердил я, не в силах сдержать улыбку.

Кто-то теплый и нежный прижался к моей руке: пришел двухлетний человек — мой друг, мой внук. Я глядел на него и думал: «А все-таки здорово, что витафагии подставили ножку, в этом есть... такой смысл!»

ИНДЕКС «К»

Какая-то странная волна пробежала по всему телу Роя Трайка, когда он увидел на огромном световом табло фирмы индекс «К». Свой собственный индекс. Может, эта волна была ознобом или дрожью — Рой определить не мог. Такого он никогда не ощущал. Но теперь его непоколебимое внутреннее спокойствие было сломлено.

Почти пять лет Роя Трайка не интересовал его индекс. Табло было настолько спокойным, даже скучным, что на него почти никто не обращал внимания. И только месяц назад индекс стал самым главным, важнейшим понятием на планете Руд. Огромное табло снилось Рою по ночам. Огненные цифры возникали, едва он прикрывал глаза от усталости. Цифры плясали, смеялись, угрожали. Когда Рой напивался, он беседовал с ними обстоятельно, по-свойски. Тогда они не были страшны и даже вызывали сочувствие как печальные носители неумолимой, угрожающей миссии. Хуже обстояло дело, когда Рой был в полном сознании.

В течение целого месяца индекс «К» возрастает... Возрастает неумолимо, с завидной закономерностью. А сегодня на табло четко обозначилось: ноль целых восемьдесят две сотых — индекс Роя. «Спокойно! Еще не все потеряно, — успокаивал себя Рой. — Оставался же индекс без движения целых пять лет!»

Рой Трайк ссутулился и медленно побрел к себе. Путь до маленькой, очень удобной комнаты, где можно сбросить скафандр и на несколько часов почувствовать себя человеком, пролегал среди низких, глухих куполообразных построек. Одна из них была чуть покрупнее остальных — бар на десять персон. Сегодня Рой прошел мимо.

Месяц он ждал, поднимется индекс до его уровня или нет. Ждал очень напряженно. Теперь, дождавшись, почувствовал пустоту и дурманящую усталость. Вспомнил, как неделю назад планету покидал Макки Там. Индекс «К» поднялся выше его личного на одну сотую и временно остановился. Думали, что дальнейшего повышения не будет. А для Макки было достаточно этой неумолимой одной сотой. Тогда у Роя появилось желание разбить табло, но оно было сделано прочно. Сейчас Рой испытывал апатию. За других он еще мог постоять, а за себя... Против индекса кулаки в ход не пустишь. Что принесет завтрашний день? Рой Трайк бросился на кушетку, зажмурился и заставил себя думать о родной планете.

Там не было так удобно. Не было работы. Не было индексов. Но там они зародились. Сначала пошли шутки по этому поводу, потом возникли надежды и стремления. Как же, Рой сам приветствовал появление индекса «К». Космического индекса. Отбор для работы на других планетах всегда велся тщательно. Желающие проходили определенный комплекс испытаний. В первые годы заключение авторитетной комиссии звучало ясно и просто — годен. Позже появился проходной балл. Еще позже — индекс «К». Для каждой планеты — свой.

Техника движется вперед, вместе с ней совершенствовался индекс. Пойди теперь разберись, что туда входит. Когда говорили — годен, это означало: здоров, работать можешь. Сейчас в индексе намешано черт знает что: здоровье, умственные способности, запросы, возможная отдача на период контракта...

Рой вспомнил, как он был горд, когда получил индекс. Весь квартал поздравлял его и родных со столь высокой оценкой. Одни эти цифры заставляли собеседника менять тон в беседе, а забияку — ретироваться. Но главное было в другом. Главное — он получал работу. Родные могли жить спокойно, пока он работает. Все семь лет. Таков срок контракта.

Только Джишь плакала, узнав об этом сроке. Где она сейчас? Что с ней? Нет, она не дождется. Как крепко он обнимал ее в тот памятный вечер! Он хотел всего и обезумел от отчаяния и любви. Но маленькая Джишь вдруг стала взрослой и рассудительной, она тихонько переплакала свое горе и даже успокаивала Роя: мол,

через семь лет она уже будет слишком стара, а он найдет себе молоденькую. Их прощанье походило на похороны. Сердце Роя разрывалось на части. Чтобы утешиться, Рой всю ночь провел в задней комнате пивной у хозяйки Хотти. Тогда он был обижен на весь свет и на маленькую Джишш тоже.

Очнувшись от тяжелого тревожного сна, Рой испуганно глянул на часы. До начала смены целых три часа. Такого еще не случалось. Проверил стимулятор сна — все в порядке. Рой откинулся на подушку, снова прикрыл глаза. Так вот кто виноват: из глубокой черной бездны на него медленно надвигались горящие цифры табло. Индекс «К» — его почетный индекс, которым гордились он, его семья, весь квартал. Ноль целых восемьдесят две сотых! Рой вскочил на ноги, торопливо оделся и вышел на улицу. Он знал, что никого в этот час не встретит, однако шел, нагнув голову, изредка озираясь по сторонам. Привычная, давно знакомая дорога вдруг показалась долгой, неприветливой. Впереди уже виднелось табло. Цифры пока нельзя было разобрать, но они горели ярко. Рой напряг глаза — 0,80 или нет... Он закрыл глаза и пошел вслепую. Дорога ровная. Десять, двадцать, тридцать шагов. Наверное, теперь можно различить... Нет, подожду еще. Сорок, пятьдесят... Рой споткнулся и плашмя грохнулся на дорогу. Но, прежде чем встать, он разглядел цифры: 0,82.

Заныл ушибленный локоть.

Так и надо дуракам, которые ходят с закрытыми глазами!

Рой торопливо отряхнулся и огляделся. Вдруг он вспомнил, что Макки Там в последние дни довольно часто отлучался — как раз на такое время, что вполне мог сходить взглянуть на табло. «Значит, мы идем по одному пути! Кто следующий? А может, я не один? Кто-нибудь так же, как я, ходит по ночам к табло, прячась от посторонних глаз?»

Рой подошел ближе и попал в бледный световой круг. Сейчас ему было все равно, увидит кто-нибудь его или нет. Захотелось рассмотреть табло.

На следующую ночь он проснулся в то же время. Собрался обстоятельно, не торопясь. По дороге не закрывал глаз, шел и смотрел под ноги. 0,82 — все в порядке, волноваться не о чем. Почти пять предыдущих лет

индекс не менялся. Почему бы ему года два не продержаться на нынешнем уровне — уровне Роя? Закончится контракт, там будет видно. А сейчас никак нельзя, чтобы он упал. Перед отправкой на планету Руд Рой был настолько уверен в незыблемости семилетнего контракта, что взял для себя и родственников значительный аванс. Тогда он был героем квартала и должен был поступать в соответствии со своим индексом. Рой так и делал. Откуда же он мог знать, что через пять лет цифры на этом уродливом табло вдруг начнут меняться? Да если бы и знал, не смог поступить иначе.

Еще два года! Рой вдруг расслабился и поднял глаза на табло. В тот момент он готов был молиться этому куску стекла и металла. Всего два года! Но свет табло был холодным, как глаза призрачного чудовища из последнего киновоевика. Кому молиться, кого просить? Рой оглянулся, ощутив пустоту и безвыходность. Впрочем, на табло — 0,82. Что же он волнуется? Да и у кого спросишь совета? Персонал станции небольшой, но люди друг с другом связаны мало.

Когда индекс достиг уровня Макки Тама, Рой хотел помочь своему другу, походил по коллегам, разыскивая начальство. А его не оказалось, его на планете не было. Все равны, каждый знает свое дело. Начальство — вот это огромное табло с бледными цифрами, горящими день и ночь. Его и должен слушаться Рой, ходить к нему по ночам. Автоматы, питающие табло, скрыты в глубоких шахтах. Они подсчитывают все: добычу, переработку, затраты, возможный уровень жизни. И в доли секунды определяют индекс. Стоит ему дрогнуть на одну сотую долю — и не будет на планете Роя Трайка. Свой индекс никто не пересидит. Если его не замечают, он предупреждает сигналами в жилом помещении. Если и это не помогает, автоматы сокращают дневной рацион. В первую неделю сокращается рацион пищи, во вторую — кислорода. Что предпринимается дальше, Рой не знал, так как никто не преодолевал этого рубежа. Автоматы четко делали свое дело, не поддаваясь эмоциям.

Рой продолжал стоять перед табло, задрал голову. 0,82! Еще одна сотая — и он начнет собираться. Собирается по приказу вот этой цифры. Разве ей что-нибудь скажешь? Но Рой должен кому-то высказать все, что

накипело! И не только высказать! Он зло сжал кулаки и с вызовом огляделся. Час был слишком ранний, и его взгляд скользнул по нечетким в предрассветной дымке очертаниям сооружений, но не встретил ничего, на чем бы сорвать злость, и никого, чтобы высказаться.

Сигнал в шлеме скафандра, возвещавший о приближении смены, застал его за пределами городка. Сидя на обломке черной скалы, Рой думал о доме, о своем возвращении, о Земле, об огромном здании фирмы, где ему присвоили индекс. В это туманное утро к нему удивительным образом вернулось спокойствие. Он понял, где можно узнать причину изменения индекса планеты. Возможно, Макки Там и еще кое-кто уже выясняют причины?

Проходя мимо табло, он мельком взглянул на цифры. По-прежнему 0,82. Стоит ли волноваться, если решение принято? Крепкие нервы и здоровье ему теперь потребуются на Земле. Лучше голод и полиция, чем этот бледный немигающий свет. Лучше лицом к лицу столкнуться с десятком врагов, чем терпеть эту гнетущую неизвестность и беспомощность.

Рой Трайк покидал планету Руд сам, не дожидаясь окончания срока контракта, чтобы на Земле разобраться в собственном индексе.

Такое случилось впервые со дня освоения планеты Руд.

НАСЛЕДНИКИ ДОКТОРА КРУЗА

— Подойди ко мне, Малыш, — тихо произнес старый профессор, — что-то нездоровится.

Профессор сидел у камина в глубоком старинном кресле, прикрыв ноги мягким пледом. Старый человек сидел напротив еще более старого камина. Что-то в камине разладилось, но профессор не приглашал мастеров, опасаясь, что испортят окончательно. Известный ученый-кибернетик не верил, что сейчас кто-либо сможет сделать хороший камин. Современные машины слишком сложны, чтобы считать их создателей гениальными. А он любил свой старинный камин, любил за то, что веселые и всегда молодые язычки пламени долгие годы помогали ему думать. У этого камина родились блестящие идеи, которые принесли ему успех, славу, удовлетворение. Переделать камин — переделать его седую голову. Они старели вместе.

Хотя нет, с ними старел еще Малыш — робот, тихо стоявший в углу комнаты. По вечерам он всегда был включен: ожидал распоряжений хозяина и зорко следил за огнем, если профессор дремал, утомленный дневными работами.

Услышав свое имя, робот тихонько пискнул и, отключившись от стационарного питания, подошел к профессору.

— Как себя чувствуешь, Малыш, тебя ничто не тревожит?

— Нет, господин профессор. Мои системы в норме.

— А мои нет, — профессор вздохнул, — и никто не сможет их подчинить. Постой, вчера мы договорились, что будешь называть меня по имени. Ты имеешь на это полное право как самый лучший мой друг. Да и возраст

у нас один. Точную дату твоего рождения я не помню. Ты валялся на свалке, когда мне разрешили взять тебя. Не исключено, что мы ровесники. Так что привыкай.

— Хорошо, Круз, я буду называть тебя так.

— Круз — это хорошо звучит. Очень давно меня не называли по имени. Некому, друг, некому. Вспомни, сколько я тебе втолковывал, чтобы ты называл меня профессором. Тогда я им не был, но очень хотел быть им, когда ты первый раз назвал меня так, я был счастлив. Счастлив больше, чем когда получил за тебя ученую степень. Ты, Малыш, сделал меня счастливым, твой мозг давал мне знания. Выходит, что ты думал за меня, а я получал звания. Так это или нет?

Малыш уловил интонацию вопроса и поторопился ответить:

— Я думал, Круз, я очень старался думать.

— Верно, ты старался, спасибо. Вчера я высказал новую идею, как идет ее проверка? Может, есть какие-нибудь результаты?

— Есть, Круз. С этим приспособлением мне будет легче. Но когда я начинаю решать задачи по новой схеме, меня тормозит блок А-5.

— Ага! — профессор восторженно вскрикнул. — Не совсем еще увяли мои мозги. Я предполагал, но не был уверен. Молодец, Малыш. Открой блок, я поработаю над ним, хотя, постой, поправь огонь в камине, пусть будет по-светлей.

Робот неторопливо подошел к камину и стал собирать в кучу развалившиеся головки.

— Сколько раз я тебе говорил, не порти руки. Для этого есть кочерга и щипцы, — остановил его профессор. — Не забудь вытереть сажу, а то перепачкаешь всю схему.

— Извини, Круз, я забыл.

— Забыл! Разве роботу положено забывать... — Профессор задумался, насупив лохматые старческие брови. Минуты через две он вздрогнул и неторопливо продолжил. — Впрочем, это хорошо, что ты забыл и делаешь подобные ошибки.

Тем временем робот поправил огонь в камине и встал перед хозяином на колени, чтобы тому удобнее было работать. В лаборатории послышался шум быющей склянки.

— Что это? — спросил профессор.

— Ассистент Леб. Разбил колбу, которая стояла в среднем шкафу на нижней полке.

— Ты можешь это определить, не заходя в комнату?

— Да, Круз. Ты сам настроил меня на поиск информации.

— Я дал тебе слишком много свободы.

Профессор задумался. Опять что-то новое! Самонастройка Малыша иногда давала неожиданные результаты. Бывали из-за того и неприятности, так как Малыш не всегда осмотрительно экспериментировал. Но сам факт, что электронный мозг пытается что-то создать, радовал Круза и часто подсказывал оригинальные решения. Грустно глядел Круз на Малыша и вдруг захотел погладить его безобразную металлическую голову. Но сдержался, откинулся на спинку кресла, поправил плед. И забыл, что собирался заняться блоком А-5.

— Пойди, Малыш, посмотри, что там делает Леб. Нет подожди. Еще немного... — Круз медлил: ему не хотелось, чтобы Малыш уходил. В последние годы они были добрыми друзьями. Круз даже старался поменьше загружать робота. Старый профессор поймал себя на мысли, что обращается с Малышом, как с человеком.

— Как ты думаешь, Малыш, хороший у нас ассистент?

Робот пискнул и загудел, так всегда случалось, когда он не мог ответить.

— Не знаешь. Он талантлив и умен. Хотя, между нами... А знаешь, что такое человек? Не знаешь. Это человек... Я шестьдесят лет пичкаю тебя самой совершенной техникой, а ты не стал человеком и никогда им не станешь. Шестьдесят лет — у меня уже могли быть правнуки. Но я так и не вырастил за свою жизнь человека. Никого не вырастил, кроме тебя. Вот что такое человек. Иди, Малыш, иди.

Робот торопливо зажужжал по коридору, выполнил задание и заспешил обратно. Малыш чувствовал, что Круз сидит и ждет. Перед самой дверью робот остановился. Его электронный мозг неожиданно встревожился. Какая-то нить, связывавшая его с Крузом, вдруг оборвалась. Он больше не чувствовал Круза. Робот стал искать аварию, проверять работу блоков. Но все было в порядке, никаких нарушений и в то же время связь с Лебом есть, а с Крузом нет.

Малыш открыл дверь и увидел, что Круз все так же сидит у камина. Робот несколько раз пискнул и, не получив ответа, отправился обратно в лабораторию, чтобы сообщить о неполадках в своих системах.

— Можно задать вопрос? — обратился он к ассистенту.

— Пожалуйста Малыш.

— Я вас вижу и чувствую, а Круза вижу, но не чувствую, хотя совсем недавно и видел и чувствовал.

Леб удивленно глянул на робота:

— Ты чувствуешь?

— Да.

— Ты сказал, что видишь Круза, но не чувствуешь? — Леб широко раскрыл глаза и вскочил со стула, обожженный страшной догадкой. Несколько мгновений он как-то странно рассматривал робота, потом бегом бросился из лаборатории. Через минуту Малыш получил указание вызвать доктора, но это уже не могло помочь.

Завещание Круза было несколько странным, он завещал свое имущество и лабораторию двоим: роботу по имени Малыш и ассистенту Лебу.

В доме Круза почти ничего не изменилось. Только дымоход в камине во избежание сквозняка был замурован, а вместо огня в холодном, красиво уложенном угле горела красная лампочка. Не прошло и года, как Леб подготовил экспериментальную модель нового робота. Вскоре должны были состояться ее испытания. Новая серия. Ее выход означал большие перемены в судьбе Леба. Он работал лихорадочно, не считаясь со временем. Часами просиживал в обществе Малыша, то беседуя, то копаясь в его схемах. Старый корпус Малыша был напичкан массой проводов.

— Как только разбирался Круз в этом хаосе? Послушай, Малыш, у тебя здесь замыкание на корпус. Приготовься, буду исправлять. Черт знает до чего запущена схема!

— Это давно известно, профессор. У меня несколько таких выходов на корпус, но они заблокированы от общих повреждений. Когда они искрят, я испытываю необычное состояние. Опасные реакции блоки гасят самозащитой, а то, что не опасно, приходится долго анализировать и разгадывать. Это очень интересно. Правда

некоторые сигналы не могу разгадать уже несколько лет. Смысл их не ясен, но ощущения чем-то привлекают.

Леб открыл было рот, но, осознав сказанное, ничего не сумел ответить, а только глядел на Малыша, словно увидел его впервые. Старый футляр, вышедший из моды. Его нутро набито километрами проводов, сотнями микросхем, которые давно не выпускает промышленность. Плюс ко всему выходы на корпус. И несмотря на это, робот действует. Да еще как! Помогает составлять схемы роботов. И вот сейчас сообщает о новых ощущениях, источник которых не поддается контролю. Острая аналитическая хватка бывшего ассистента, ныне профессора, в доли секунды развернула перед ним картину потери контроля над роботом. Выходы на корпус — это неизвестные контуры, но и они меняются, если Малыш прикасается к каким-либо предметам, стоит на деревянном или металлическом полу. Какие же ощущения могут они вызывать, как воздействуют на электронный мозг? Когда такой изъясн находят в серийных роботах, их попросту демонтируют, ибо кто же поручится за действия бракованной машины? А Малыш действует, не вызывая нареканий. Дает советы, корректирует схемы, думает и вдруг заговорил об ощущениях. Леб вспомнил смерть Круза, тогда Малыш определил это, не входя в комнату. Его ощущения оказались на грани тех неразгаданных явлений, когда человек заранее предчувствует беду или собака начинает выть, не видя умершего хозяина. Не так воспринял тогда это открытие Леб, он расценил его чисто механически. Малыш думает — это звучит нормально, но Малыш чувствует!

Леб отложил измерители и закрыл створку на корпусе Малыша.

— Хватит на сегодня, Малыш, — как можно мягче сказал он, стараясь не выдать охватившего его вдруг волнения.

— Хорошо, закончим, но мне показалось, что профессор что-то нашел.

Леб вздрогнул:

— Что нашел? О чем ты говоришь? — Неприятный холодок пробежал по спине. Показалось, что лампы-глаза странно мигнули. — Несешь какую-то чушь. Наверное, из-за своих замыканий. Иди на место, мне еще надо поработать. — Леб отвернулся от робота.

Малыш пошел на свое место, к пункту питания.

Работать Леб, конечно, не смог. Он не торопясь прибрал на столе. Как обычно сделал пометки в журнале.

— Я не повредил твоих внутренностей? — шутливо обратился он к Малышу. Это был обыкновенный вопрос перед уходом, но на сей раз он прозвучал натянуто, неестественно. Даже сам Леб обратил на это внимание и выругал себя: «Мог бы и промолчать».

— Все в порядке, профессор.

«Вот и у Малыша какие-то странные интонации. Чувствует? Ерунда!» — Леб тряхнул головой, решительно захлопнул журнал:

— Ну будь здоров, Малыш! — На этот раз все прозвучало естественно.

Этим же вечером Леб уехал на несколько дней в Конт читать лекции. Перемена обстановки отвлекла его и, возвращаясь домой, Леб с улыбкой вспоминал разговоры с роботом и свою мистическую подозрительность. Прямо с порога он позвал Малыша.

— Ты не соскучился без меня, приятель?

В мастерской зажуужало, осторожно отворилась дверь, и Леб услышал:

— Я чувствовал себя одиноким, профессор.

— Как ты сказал? Чувствовал? Чудак, знаешь ли ты что такое чувствовать?

— Знаю.

— Ну объясни.

— Я не могу объяснить, профессор.

Леб рассмеялся.

Леб любил работать один. Только Малыш был свидетелем его творческих терзаний. Леб использовал на все сто процентов запасы его электронного мозга. И не плохо получалось.

Но в это утро ощущение свободы в своей собственной лаборатории покинуло Леба. Он не мог понять, в чем дело. В лаборатории никаких изменений, и Малыш на месте, у пункта питания. Малыш! Леб окинул взглядом своего помощника.

— Здравствуй, Малыш.

— Здравствуйте, профессор.

— Ты продолжаешь чувствовать?

— Да, профессор.

— Что же ты чувствуешь?

— Сейчас ничего, все нормально, и я ничего не чувствую.

У Леба непроизвольно вырвался вздох облегчения:

— Ну вот, видишь, а ты говорил про какое-то одиночество.

Леб подошел к столу, азартно потер ладони. Раскрыл журнал, просмотрел последние записи. Не густо. Считай неделя пропала. И Малыш бездействовал, пока он был в отъезде.

Вдруг послышался щелчок, какое-то невнятное бормотание. Леб резко обернулся. Малыш стоял на своем месте, его правая рука чуть покачивалась.

— Что с тобой, Малыш?

— Изменение напряжения в сети. Последнее время это стало случаться часто.

— Тогда подключись через стабилизатор и не ворчи, когда я работаю. — «Что-то новое, — отметил про себя Леб, — начал ворчать». — Послушай, Малыш, почему ты заговорил, причем без всякого смысла? Разве ты получил команду?

— Сразу ответить не могу, я должен несколько минут подумать.

— Подумай. — Леб сам не понимал, зачем внимательно вглядывается в фотоэлементы Малыша. Они были сделаны по-старинке, как человеческие глаза.

— Я могу ответить, профессор.

Леб встрепенулся:

— Да, говори.

— Падение напряжения нарушило равновесие в блоке семь-зет. Это передалось в центральную схему резким импульсом. Контрольный стабилизатор большую часть импульса погасил, однако слабая его часть прошла на корпус по дефектной схеме и попала в двигательный и речевой блоки. Двигаться без приказа опаснее, чем говорить, поэтому я сбросил эту незначительную порцию энергии в виде звука. Чтобы она не путалась по блокам. Звуки не несли информации, чтобы не ввести в заблуждение.

Бесконтрольные движения, бесконтрольная речь... Нет, это слишком!

Леб резко спросил:

— Ты пересчитал, сколько у тебя дефектных схем?
— Нет, профессор.
— Неужели так трудно выполнить эту просьбу? Завтра же начну исправлять. Хотя зачем завтра, сейчас же...
— Не надо, профессор, я больше не буду мешать вам звуком.

— Что значит не надо! — Леб вскочил со стула, готовый пуститься в пространные объяснения.

Объясняться! С кем? Перед ним стоял Малыш — робот самой старой конструкции, которая еще случайно действует. Леб медленно опустил на стул. «Кричать на робота? Какая глупость! Нервы надо лечить». Леб отвернулся и придвинул к себе журнал.

Несколько дней его занимала интересная идея усовершенствования серийного робота. Вопрос был давно продуман и подготовлен, оставались отдельные детали. В таких случаях Леб прибегал к помощи Малыша. Но сейчас он решил додумать самостоятельно все до конца. Как-то само собой получилось, что он реже появлялся в лаборатории, избрав новое место для работы — стол недалеко от искусственного камина. В лаборатории ему мешал работать Малыш. Леб пытался понять, почему и чем. Робот, безмозглое существо, которых тысячами выпускает завод, вдруг стал мешать работать своему создателю. Леб уже забыл Круза и считал себя создателем чуть ли не всех восьми серий. Правда, Малыш создан лично Крузом. Но Круз свое отжил. У него были деньги, почет, слава, только семьи не было. Работа и этот уродец Малыш заменяли ему все на свете. Леб невольно стал вспоминать эпизоды совместной работы с Крузом. Они мало беседовали друг с другом. Круз почти не передавал ему своих знаний, опыта. Леб постигал тайны создания и совершенствования роботов в обществе неутомимого Малыша. Болтая просто так, задавая шуточные или очень серьезные вопросы, Леб всегда получал от него какие-то сведения. И с Крузом они переговаривались через него. Кто же он такой, этот Малыш? Думающий, чувствующий и скучающий робот. Леб поразился, когда некоторые его идеи вдруг нашли применение в седьмом серийном. О них он не говорил с Крузом, и потому приписал все гению профессора. Он был рад, что додумался до этих вещей вместе с таким выдающимся кибернетиком. Леб никогда не осмеливался

что-либо посоветовать Крузу, даже в тех редких случаях, когда профессор интересовался его мнением. Только уродливому роботу поверял Леб свои мысли. Не пользовался ли этим Круз? Леб вдруг почувствовал слабость во всем теле, и ему невольно захотелось опустить голову на стол. Мысли смешались, и некоторое время Леб провел в каком-то полубытии, чувствуя, как кровь отливает от лица и неприятно холодеют руки. В памяти всплыл вопрос, который он не раз задавал Малышу: «Как ты думаешь, скоро наш старик присоединится к большинству?» Неужели и это Малыш передавал Крузу? А память подсказывала новые изречения. «Пора бы старику освободить место для молодежи» или «Дорогой Малыш, я тебе обещаю райскую жизнь на земле, если старик уйдет в рай». Было время, когда Леб так и рвался к самостоятельности, но самым близким путем к ней была смерть учителя.

С трудом преодолевая головокружение, Леб медленно поднялся, налил в стакан воды из сифона. Значит, Круз знал все, что говорилось в лаборатории. И несмотря на это, старый профессор и лабораторию и работы завещал ему. Все это не укладывалось в затуманенном мозгу Леба.

Леб вспомнил, как однажды Малыш передал просьбу Круза срочно вызвать врача. «Не помрет», — коротко бросил тогда Леб и, пока не кончил опыт, не сдвинулся с места. Врач, вызванный с опозданием, застал Круза в бессознательном состоянии. Потребовался месяц, чтобы поставить профессора на ноги. Леб добросовестно ухаживал за ним. Может, поэтому Круз простил? Малыш наверняка в курсе!

Голова продолжала кружиться, но Леб побрел в лабораторию. Он намеревался сейчас же услышать, что знает робот. Дверь была приоткрыта, и Леб, еще не войдя, заметил Малыша в дальнем углу помещения. Робот стоял к нему спиной, неестественно низко наклонив уродливую квадратную голову. Из-под руки виднелся край откинутой дверки контрольного люка на груди. Малыш копался в своих внутренностях. Леб замер от неожиданности. Такое он видел впервые. Роботам категорически запрещались подобные действия, а на механизмах движения стояли ограничители. Леб невольно попятился назад. Может, в другое время он бы

вошел и крикнул от негодования, но сейчас... Несколько секунд он колебался. Потом громко кашлянул и демонстративно ударил по ручке двери. Реакция Малыша была мгновенной — за считанные доли секунды он привел себя в порядок.

Леб не вошел в лабораторию. Стоя на пороге, он долго рассматривал робота, потом захлопнул дверь и побрел назад. Самочувствие его было паршивым. Добравшись до кушетки, Леб устало расслабился и прикрыл глаза. «Только Круз на старости лет мог снять все ограничители движений у робота. Завтра же надо привести его в порядок».

Но и завтра, и послезавтра Лебу не хватило времени заняться Малышом. Вдруг появилась масса неотложных дел, с которыми можно было справиться, не заходя в лабораторию. Только вечером, когда он давал себе отдых от сложных теоретических выкладок, и мысли возвращались к самым реальным житейским делам, нет-нет да приходил на ум Малыш со всеми его странностями.

Шли дни.

Раньше Леб все обсуждал с роботом и сразу проверял в эксперименте. Работалось легко, результаты появлялись сразу. Сейчас же он зашел в тупик. Необходимо было проверить теоретические выкладки на практике, а он медлил. Его почти оскорбляла эта зависимость от Малыша, «Неужели нельзя обойтись без этой железяки? — думал Леб. — Кто, в конце концов, конструирует — я или он!»

В конце концов Леб решил использовать для испытаний серийного робота. Но эксперименты длились недолго: работа, обычная для Малыша, оказалась не под силу серийным, и Леб вынужден был отказаться от них.

Не без волнения появился он в своей собственной лаборатории. Несмотря на долгое его отсутствие, запустения здесь не чувствовалось. Малыш поддерживал идеальный порядок, поливал цветы и проветривал помещение. Старинные часы с трехдневным заводом беззаботно покачивали маятником, и календарь на столе показывал сегодняшнее число. Было даже слишком уютно. Или это только показалось Лебу после холодной заводской лаборатории?

Малыш стоял на обычном месте, у питания. После серийных красавцев он казался отвратительным уродом, и Леб поморщился, осматривая его нескладную фигуру.

Малыш мигнул сигналом и сделал едва уловимое движение, как застенчивый паренек, на которого вдруг обратили внимание. Леб насторожился. Что еще надумал этот урод?

— Ты готов к работе, Малыш?

— Да, профессор.

— А как твои неполадки, исправил?

— Я бы не хотел, профессор, менять что-либо в старой схеме, это абсолютно не мешает работе.

— Ты опять за свое! Если кто-нибудь узнает, что ты не демонтирован при таких бесконтрольных схемах, не простят даже мне. Нет-нет, завтра возьмемся за твои дефекты. — Сам не зная почему, Леб опять решил отложить все это на завтра. — Подойди сюда!

Малыш тронулся с места, и механизм зажужжал.

— Ну и шумливый ты, — Леб поморщился. После длительной работы с серийными он отвык от особенностей Малыша. — Скрипишь, как несмазанная телега. Неужели не можешь привести себя в порядок?

— Могу, но на это не было задания.

«На то, чтобы копаться в себе, ты задания не требуешь», — подумал Леб, а вслух сказал:

— Хватит посторонних разговоров, получай программу.

Начав эксперимент, Леб забыл о всех своих опасениях и волнениях. Малыш работал великолепно. Казалось, у него были заранее подготовлены ответы на все случаи. Сколько времени потерял Леб с этими безмозглыми серийными, которые на виду у заводских зевак выставляли на посмешище себя и его тоже! Леб неторопливо закончил записи в журнале и потянулся, разгоняя приятную усталость.

— Хватит на сегодня, Малыш, а то на завтра не останется. Приведи себя в порядок и отдыхай до утра. — Леб был очень доволен и позволил себе шутку: — Только сам не копайся в своих внутренностях.

— Я знаю, это строго запрещено, профессор, но я прошу не исправлять дефекты схем.

«Опять начинается. — Леб насторожился. От хоро-

шего настроения не осталось и следа. — Что же он еще скажет, этот робот?»

Но Малыш молчал...

Весь вечер Леба не покидали мысли о Малыше и Крузе. Лишь теперь начинал он понимать, какими странными были отношения этой пары. Человека и робота. Кем они были друг другу? Что соединяло их?

Неожиданно в коридоре раздался какой-то шум. Леб не сразу распознал характерное жужжание робота. Малыш шел на жилую половину дома. Что это могло значить? Лязг железной руки, коснувшейся ручки двери, заставил Леба вздрогнуть.

— Я пришел пожелать вам спокойной ночи, — Малыш сдержанно поклонился и, не дожидаясь ответа, снова зажуужал по коридору.

Леб продолжал смотреть на дверь, пока шум в коридоре не затих.

Утром он поднялся рано. Бесцельно бродил по городу часов до одиннадцати. Почувствовав голод, наскоро перекусил, закончив легкий завтрак стаканом вина. «Вчера он пришел пожелать мне спокойной ночи, а что будет сегодня, завтра?.. Быть может, он захочет рассказать кому-нибудь историю своей жизни или своих хозяев? Передать их мысли, поделиться воспоминаниями... А может, уже делился?

Леб заторопился домой. Какой-то смутный страх подгонял его. В подъезде он столкнулся с одним из своих коллег.

— Дорогой Леб, целый час дожидался тебя, но не жалею. Малыш замечательный собеседник. Он намного превосходит последние модели. Поздравляю тебя. Однако обрати внимание на слишком обширную память Малыша. Он вспоминает такие моменты, о которых можно было бы и не говорить.

Леб почувствовал, что бледнеет. Под его напряженным и пристальным взглядом коллега опустил глаза и поторопился распрощаться. Леб не стал задерживать гостя.

Напустив на себя безразличный вид, он поднялся к себе. Нарочито неторопливо разделся и сразу прошел в лабораторию.

— Здравствуй, Малыш. Ты готов к работе? — прямо с порога поинтересовался он.

— Готов, дорогой профессор.

«Дорогой» — что-то новое. Что это может значить? Леб повернулся к Малышу и, скрывая волнение, спросил:

— Почему ты назвал меня «дорогой»?

Ответ был краток:

— Чувствую необходимость.

Леб заставил себя спокойно подойти к столу, достать журнал наблюдений, приготовить приборы.

— Подойди, Малыш.

Робот как будто сгорбился, понуро подошел к хозяину.

— О чем ты беседовал сегодня с гостем, пока меня не было?

— О работе.

— Еще о чем?

— О вас, дорогой профессор.

Леба передернуло от такого обращения.

— Что вы говорили обо мне?

— Я отвечал на вопросы и говорил только хорошее.

— Продолжай, продолжай, Малыш.

— Вопросы касались Круза, вашей совместной работы. Но я говорил только хорошее.

— А ты мог сказать что-нибудь плохое?

— Нет. Но иногда Круз говорил мне, что вы хотите стать хозяином. Об этом я никому не должен говорить. Так сказал Круз...

Леб выдвинул из-под стола ящик, немного покопавшись, достал широкие блестящие кусачки. До его сознания доходили отдельные слова робота. Машинально он открыл дверцу на его груди, и оттуда, словно сотня глаз, глянули разноцветные огоньки. На какое-то мгновение Леб заколебался и прислушался.

— ...с того момента ваше желание исполнилось, Круза больше не было... — говорил Малыш.

Слух вновь отключился. Леб просунул внутрь кусачки. Кабель из тысячи тончайших проводов легко подался под блестящими лезвиями. Сразу же стало темно и совсем тихо.

Спустя полгода Леб невольно подслушал разговор двух молодых физиков: — Совсем недавно он был фабрикой новых идей.

— Выдохся.

— Для него это сейчас уже не так важно,



НОЧЬ В ИНОМ
ИЗМЕРЕНИИ

Нездешнего мира мне слышатся звуки,
Шаги эвменид и пророчества ламий...
Но тщетно с мольбой простираю я руки, —
Невидимо стены стоят между нами.

В. Брюсов, «Мучительный дар», 1895

Но живут, живут в N измереньях
Вихри воль, циклоны мыслей, те,
Кем смешны мы с нашим детским зреньем,
С нашим шагом по одной черте!
Наши солнца, звезды, все в пространстве,
Вся безгранность, где и свет бескрыл,
Лишь фестон в том праздничном убранстве,
Чем их мир свой гордый облик скрыл.

В. Брюсов, «Мир N измерений», 1924

Единство жизни есть высшая цель, и любовь — высший разум!

А. Богданов, «Красная звезда», 1908

...брось куплю и злато, ложь и нечестие, оживи мысли ума и чувства сердца, преклони колени не пред алтарями кумиров, но пред алтарем бескорыстной любви...

В. Одоевский, «Город без имени», 1839

ЗА МАГНИТНОЙ СТЕНОЙ,
ИЛИ СНОВИДЕНИЯ ВАРЕЖКИНА

Фантастическая повесть

Глава I

1

Четвертый день крупноблочный пятиэтажный дом, стоящий на краю города, а точнее — у черта на куличках, продувался насквозь морозным январским ветром, и не спасали обклеенные рамы и жидкого нагрева радиатор.

Карина Сухарева налила Гулене (так нарекли кошку, хотя и в мыслях она не держала собирать вокруг себя по весенним гулким ночам мордастых молодцов) в мисочку пастеризованного молока и принялась за немудреный ужин: поджарила несколько яиц, которые повезло схватить в примитивном магазинчике и доставить в целости и сохранности в битком набитом автобусе; сварила кофе, — вот, пожалуй, и все, если не считать гренок с костромским сыром. Затем наскоро сполоснула посуду, включила чревовещатель, удобно устроилась на диване — и с головой ушла в шестую серию телефильма, о котором только и судачили на службе, в очередях и компактных семьях.

Действие картины происходило в обыкновенном, добропорядочном городе. Герои то и дело многозначительно молчали или ехали неведь куда, побочно развивалась любовная интрига — и все чего-то ждали...

Но все кончается. Дикторша объявила, что очередная серия послезавтра — вклинился хоккей.

Карина намечала заняться постирушкой и прочими мелочами, от которых нет спасу, ибо подобны они снежному кому и не располагают к умиротворению.

Итак, Сухарева направилась в ванную, но тут раздался торопливый звонок в дверь и запыханная Любаша, что жила в соседнем доме и за короткое время успела

полюбить Карине своим легким и неугомонным нравом, вприхнула в прихожую.

— Страсть какой холодище! — Любаша, передернув плечами, плотнее укуталась в пуховый платок. — Вот черти полосатые, не могли по другой программе гонять эту дурацкую шайбу.

— Ничего, потерпи денек.

— Потерпи-потерпи. Вот так всю жизнь и терпишь. А мой-то, олух царя небесного, рад-радешенек. Еще бы — самый повод к Володьке сбежать. Пусть только явится под мухой, таких шайб наставлю, таких балдерисов покажу...

Гулена, услышав знакомую скороговорку, вылезла из-под кухонного стола, с глубоким удовлетворением потянулась и, исполненная важности, степенно подошла к Любаше.

— А-а, Гуленушка!

Кошка, сладко мурлыкая, потерлась о ее ноги.

— Ну и охочая она у тебя до ласки, что дитя малое. — Любаша весело потрепала Гулену. — Каринушка, как вышивка продвигается? Скоро разделаешься со своей Мадонной?

— Да где там скоро! Нигде ниток не достать.

— Что б ты без меня делала? — Любаша с нескрываемым удовольствием достала из кармана пакетик. — Держи. По великому благу достала. Импорт.

Карина развернула — и ее ладони расцвели от яркого мулине.

— Ой, Любаша, да ты же — золото! — Карина чмокнула ее в щечку.

— Обрадовалась? Так-то. Я еще вчера собиралась принести, да...

Она и дальше бы болтала без умолку о вчерашнем дне, если бы не зазвонил телефон.

— Алло.

— Добрый вечер. Это я, то есть — Савелий. Помните? — конфузливо пролепетал Варезкин, мерзнувший в телефонной будке.

— Здрав...ствуйте. — Карина медленно села в кресло.

— Вот, бродил по городу и решил позвонить. — Савелий секунду помялся и внезапно выпалил: — Я сейчас приеду.

— Буду очень рада вас видеть, но сегодня... — Карина краем глаза посмотрела на Любашу, которая уже сидела на диване и разминала сигарету. — Сегодня у меня дел полно. И вообще — поздно уже. Приходите завтра, хотя нет, — Карина вспомнила, что будет хоккей и Любаша непременно заглянет, — позвоните лучше к концу недели, и мы договоримся, как нам встретиться.

— Я... Я обязательно позвоню. Всего хорошего.

— До...

В трубке раздались короткие гудки. Карина молча сидела в кресле.

— Что-нибудь серьезное?

— Серьезное, говоришь... Да так... Ничего особенного... — Карина замолчала и точно в оцепенении стала смотреть туда, где над вазой с пожухлыми ветками висела фотография мальчика лет пяти.

Когда Карина пришла в себя, Любаша уже давно не было, а на полу возле кресла лежало импортное мулине.

«Савелий, — подумала Карина. — Да... Что ж я собиралась делать?»

А что делал Савелий в этот поздний январский час? Он возлежал на кушетке в своей неказистой каморке и предавался мечтам. И виделись ему летящие по небу колесницы, аэростаты, наполненные розовым туманом, и прочее, и прочее, что приличествовало званию художника-любителя, эдакого живописца-чудака, малевавшего свои картинки, богатые фантазией, колоритом, но вызывавшие только иронию да недоумение на серьезных и выбритых лицах.

Примерно месяц назад, совсем случайно, на его пути повстречался заведующий фабричным клубом «Прогресс» Никон Передрягин. Тайком ото всех и особенно от супруги кропал он вирши, которые писались задолго до праздников всенародных и местного значения и, выведенные каллиграфическим почерком, прикнопливались к стенной газете, после чего с нескрываемым волнением Передрягин чаще обычного прохаживался мимо нее, покашливая. Именно Никон и уговорил Савелия выставить свои полотна на всеобщее обозрение, чтобы люди, вкусив пищи духовной, могли посветлеть душою и сер-

дцем. И случайный посетитель, чаще всего в обеденный перерыв, приходил полюбопытствовать на творения Варезкина.

В неприметном углу зала стоял столик. На нем пылилась «Книга отзывов и пожеланий», представлявшая собою общую тетрадь в зеленой обложке. У Савелия бойко колотилось сердце, когда он ее раскрывал, особенно после очередного слета передовиков производства или профсоюзных деятелей. Да и как тут не волноваться, если собиралась тьма-тьмушая образованного и уважаемого люда. Но листы были чистыми, а игольное острие привязанного к ней карандашика так и оставалось девственным. Но Варезкин не унывал, так как еще в распашоночном возрасте уверовал в истину — на доброту всегда отзовется чья-то душа, а позже, уже будучи человеком взрослым, сказал себе: труд мой нужен, чтобы осветить чьи-то потемки.

Никон не раз наблюдал, как Савелий, оглядываясь по сторонам, нерешительно открывал тетрадь — и сердце его дрогнуло. Как-то придя на работу, Передрягин написал то, над чем бился не один вечер и что прерывало и без того тяжелый его сон.

«На меня решительно произвели впечатление Ваши живописные картины. Они открывают Ваше отзывчивое сердце и могут сослужить пользу для человека. В них много желтой краски, которая символизирует солнце. Поэтому таким теплом веет от них. Спасибо Вам от всего рабочего сердца. Слесарь второго цеха».

Далее шла неразборчивая подпись.

В один прекрасный день Варезкин в который раз приблизился к заветному столику. За происходящим наблюдало недреманное око Передрягина. Савелий быстро прочитал написанное «о Никон, воздадим тебе должное!», улыбнулся, перевернул страницу, захлопнул тетрадь и хотел было уйти, как вдруг заметил невысокую женщину, которая как вкопанная стояла возле одной из картин. Савелий, делая вид, что разглядывает полотна, краешком глаза посматривал на нее, но в конце концов не выдержал и подошел.

— Вам понравилось? — громким от волнения голосом спросил Савелий.

Женщина, а это была Сухарева, вздрогнула и обернулась.

— Что вы сказали?

— Вам... — Савелий на секунду запнулся, — вам... нравится? — Медленным движением головы он указал на картину.

— А вам? — в свою очередь спросила Карина.

— Не знаю... Мне показалось... Это... Это мои работы. Сухарева смутилась.

— Признаться, я не люблю подобную живопись, — после некоторого замешательства сказала Карина. — И название какое-то странное — «За Магнитной Стеной». Этот мальчик... Откуда вы его знаете?

На картине была изображена комната. По углам в напряженной позе сидели похожие на людей существа. Посредине — на волнистом изумрудно-фиолетовом фоне — вставшая на дыбы ослица с изумительным, почти иконописным, женским ликом. Над нею парили два пустых черных кресла. А в правом верхнем углу отчетливо виднелся портрет улыбающегося мальчонки в золотой раме.

— От... куда знаю... — не сводя глаз с Карины, почти по слогам произнес Варезкин, — Видел... Его портрет... Он там висел на стене.

— Где там? — Сухарева невольно подалась вперед.

— За Стеной. Да, за Магнитной Стеной. Ночью. Еще падал снег, но потом прекратился...

— Какая стена? Какой снег? — Невнятица, которую нес Варезкин, явно раздражала Карину. — Вы можете объяснить толком?

— Эта картина... Я увидел ее во сне, даже не во сне. Это был не сон, а нечто иное. Я могу все рассказать. Рассказать с самого начала.

Карина оглянулась. В зал вошли несколько человек.

— Хорошо. Но только не здесь. Вот мой телефон, — Сухарева вынула из сумочки блокнот и быстро записала номер. — Непременно позвоните.

Варезкин взял листок и нерешительно удалился, а Карина посмотрела ему вслед, на его налепый, мешковато сидящий пиджак, на брюки, не помнящие утюга, на его стоптанные башмаки, и снова вцепилась глазами в картину, точнее в ее правый верхний угол.

Надвигался Новый год, и вскоре Савелия попросили освободить помещение. Передрягин и тут пришел на выручку. Он выхлопотал на предприятии грузовик, помог справиться с картинами и долго тряс руку, желая житейских благ и творческих радостей, а когда вернулся в зал, то чуть было не прослезился при виде голых и осиротевших стен, а Варезкин тем временем ехал домой в продуваемом ветрами пальтеце, охраняя в кузове свои сокровища.

Мелькали степенные строения, толкались прохожие, поблескивали витрины магазинов, пока не пошел знакомый район, где людей поменьше, улицы поуже, дома пониже да и воздух попроще.

К встрече Нового года Савелий почти не готовился. Купил маленькую елку (большая и в дверь не пролезет и согнется в три погибели, упершись в невысокий потолок), какие-то пестрые и веселые игрушки, и вся недолга. Когда куранты пробили двенадцать, Варезкин поднял стограммовик, наполненный напитком огненным и серьезным, чокнулся с приготовленным накануне белым холстом, натянутым на подрамник, пожелал ему и себе здравствовать, хлопнул содержимое и занялся корочкой черного хлеба, тщательно натертой чесноком. Нутро быстро согревалось, в голове вспыхивали фантазмагии. Варезкин подошел к окну и увидел младенца, который с удивлением смотрел на него и пересыпал тоненькой струйкой из одной ладошки в другую золотистый и колющий песок.

2

Проходили дни, заваленные делами, суматохой, будничными невзгодами и нервотрепкой.

Недавно Савелий побывал у Сухаревой и теперь он то неподвижно лежал на проямой кушетке и, уставясь в потолок, выкуривал одну сигарету за другой, то вскакивал и нервно ходил взад и вперед, то снова ложился, вскакивал и подходил к окну, выходящему во двор, и как очумелый подолгу стоял возле него, словно пытаясь что-то вспомнить, что-то высмотреть в темных досках полуразвалившегося сарая.

— Неужели мне все померещилось? Какая-то фатальная ошибка, галлюцинация, астральный бред.

Самые невероятные догадки и предположения метались в воспаленных клетках мозга, не давали успокоиться, забыться, взять себя в руки. К тому же постоянно мозолили глаза отрешенно лежащие кисти и разбросанные как попало тюбики с красками. Савелий не выдержал и накрыл их газетой, а на недавно начатую картину набросил лохмотья — все, что осталось от его некогда любимой рубашки в горошек.

— Какая-то чертовщина! — Савелий плюхнулся на кушетку, повернулся к стене и в который раз стал лихорадочно прокручивать встречу с Кариной.

В тот день он тщательно отпарил брюки, приобрел в комиссионке недорогой пиджачишко, сходил в парикмахерскую, после чего, посмотрев на себя в зеркало, сказал: хорошо. И было утро, и был вечер; день шестой — суббота. И Варезкин шел к Карине, и снег под ногами раскалывался на звезды.

Вначале она была приветливая. Улыбалась. Взяла цветы, правда, пальцы нервничали. Понять можно — волнение. Цветы поставила в молочную бутылку. А потом вдруг замкнулась. Почему?

Варезкину вспомнились цветочные лотки, как он минут пятнадцать завороченно смотрел на стеклянные ящики в виде аквариумов, в которых горели свечи, как неловко было покупать стыдливые гвоздики — так покорно и смиренно они лежали.

Цветы... С них-то все и началось. Была же ваза. Могла и в нее поставить. Подумаешь, какие-то пожухлые сосновые ветки. С год стоят — не меньше. Предложил выбросить — ни в коем случае. Поставить их в какую-нибудь трехлитровую банку — нет-нет, нельзя. Они должны стоять там. Стоп...

Он вспомнил, что над сосновыми ветками, стоявшими на этажерке, белело пятно.

Ваза с ветками ей чем-то дорога. Белое пятно. Скорее всего висела фотография. Но чья? Мужа? Любовника? Допустим, бросил, погиб. Память о нем? Смешно. Глупо. Да черт с ними, с этими ветками. При чем тут они... Карина... К ней шел. Спешил. Готовился. Все прахом. Карина... Какой сладкой горечью веет от этого имени. Карой и горечью. Спросил — как живешь. Сказала, что ничего интересного, что привыкла к однажды заведенному распорядку, что в прошлом... да стоит ли о нем

говорить, и вдруг с пустого места: хочешь узнать — не замужем ли я? Мне муж не нужен, посторонний человек в доме — не нужен. Не хочу, чтобы кто-то нарушал мой быт. Однажды попытались перевоспитать — ничего не вышло. Впрочем, это так, прошлогодний снег, дым, кото... сжала пальцами виски. Переменил тему. Хорошая квартира, удачное место. Много простора за окнами. Ненавидяще посмотрела. Какой простор? Живешь, как в глуши. Раньше была квартира в центре, но дом поставили на капитальный ремонт. Разве нельзя вернуться назад? Привыкла. Хотя какая привычка. Все дело в другом, в другом... Снова сжала виски. Нельзя мне отсюда уезжать, нельзя. А вдруг вернется... все вернется — прежнее... Извини, я совсем развинулась. Страшно болит голова. Вся неделя сумбурная, беготливая. Мне лучше прилечь. Подошла к дивану и согнала кошку.

Обрывки воспоминаний набегали друг на друга, перекрещивались, кувыркались, пока их не подхватила головокружительная карусель и не слила в пеструю, неразрывную ленту.

Наутро Варежкин встал свежим и бодрым. Тюбики и кисти очнулись от летаргического сна, когда Савелий, комкая, сорвал с них газету, а холст помолодел и задышал, освобожденный от наброшенных на него лохмотьев.

3

— Кого нелегкая принесла?! — раздраженно сказала Карина и пошла открывать.

На пороге стоял Варежкин с цветами и картиной.

— Савелий! Наконец-то. Как в воду канул. Почему не звонил? — сбивчиво заговорила Сухарева, впуская Савелия. — Я уже разыскивать тебя собралась.

— Я картину для тебя писал, — смущенно заговорил Варежкин, словно оправдываясь.

— Картину... — Сухарева, словно спохватившись, быстро прикрыла дверь, ведущую в комнату. — Извини, у меня маленький беспорядок. Ты пока раздевайся, я сейчас приберу.

Карина бочком юркнула в комнату, мигом сняла со стены фотографию и запрятала ее в шкаф. Затем, по-

правляя на ходу прическу и стараясь унять волнение, вошла в прихожую.

Савелий протянул ей тюльпаны и стал причесываться.

«Снова цветы... и снова некуда поставить», — подумала Карина.

— Опять не знаешь, куда их определить? — улыбаясь, спросил Савелий.

Карина слегка покраснела, пошла на кухню, и уже оттуда сказала:

— Проходи в комнату, я сейчас чайник поставлю.

Когда она вернулась, Варешкин стоял возле этажерки и держал в руках картину.

— Это еще что такое? Какая инфантильная композиция! — с расстановкой произнесла Сухарева.

— Не узнаешь? Твой дом, твоя квартира.

— Что-то непохоже.

— Конечно, здесь, — он показал на холст, — многое выдуманно, но по-другому я не умею.

— Еще один выдумщик свалился на мою голову! Я-то думала, что ты совсем другую принесешь картину, но...

В дверь позвонили. Вместе с морозным воздухом в прихожую впорхнула Любаша.

— А вот и я! Одной дома не сидится, а мы с тобой целую вечность не виделись! Ой, я, кажется, не вовремя. У тебя гости? — затараторила Любаша, увидев мужское пальто на вешалке.

— Ничего, ничего. Заходи. Это мой знакомый художник. Подарок принес — картину. — И на ухо добавила: — Какая-то ерунда, но не удобно отказываться.

— Ну, здравствуйте. — Любаша, не скрывая любопытства, зашла в комнату. — Давайте знакомиться. Страсть как обожаю людей творческих, не от мира сего. — Любаша весело улыбнулась и протянула Савелию жаркую ладонь. — Люба, можно и просто — Любаша, — она звонко рассмеялась.

Принялись чаевничать.

— Каринушка, как наши делишки? А вы, товариш художник, не стесняйтесь, пейте, пейте чаек, мы немного посплетничаем с Кариночкой, — тараторила Любаша, добавляя Савелию горячего чая, — хотя она и не любит пустяковых разговорчиков, но страсть как хочется почесать языком. Каринушка, что-то ты нос сегодня пове-

сила. И молчаливая на редкость. А... понимаю. Но я только на минутку.

— Любаша, перестань. Просто маленькие неприятности на работе.

— А у тебя что-то изменилось... Ну, конечно, цветы! Как же я сразу не заметила! Их бы в вазу. Туда, где... — Любаша осеклась, — а где фотография? Ты что, уже разлюбила своего хорошенького племянника?

— Решила протереть стекло, да и забыла повесить, — ответила Карина и опустила глаза.

— Бог ты мой, а это что за штуковина? — Любаша указала пальчиком на стоявшую возле этажерки картину. — Это и есть подарок? Симпатичненько. И никак Гулена наша нарисована?

Гулена, услышав свое имя, стала расфуфыриваться, обводить всех загадочным взглядом, выгибать спину, а затем, помпезно подняв хвост, продефилировала к этажерке, но вдруг ошалело замяукала, отскочила от картины и без проволочек забралась под диван. Любаша приснула.

— Даже кошка испугалась такого нагромождения, — промолвила Карина. — Кис-кис, Гулена, иди ко мне.

Через минуту из-под дивана сверкнули зеленые очи. Но дальше дело не продвинулось. Никакие уговоры не заставили Гулену покинуть свое убежище.

Савелий почувствовал неловкость и решил, что пора и честь знать.

— Спасибо за чай, за угощение. Я, пожалуй, пойду.

— И не вздумайте. Вы не только хозяйку, но и меня обидите. Расскажите-ка лучше о своей картине. Вразумите нас, женщин. Ну, например, что это за волосы позади воображаемого дома? — полюбопытствовала Любаша.

— Это... это ветер...

— А что там за голубые пятна внизу?

— Возле дома сирень растет. Вот она и расцвела.

— Это зимой-то?!

— При чем тут зима. — Варезкин пожал плечами. — Просто от комнаты исходит потаенное тепло. Сирень и расцвела.

— Ну что ж, вполне доходчиво, — задумчиво произнесла Любаша. — Но почему же вы не нарисовали Карину? — с укоризной спросила Любаша и игриво об-

няла Сухареву. — Пускай бы она держала Гулену на коленях и они вместе смотрели бы на звезды.

Варежин поморщился.

— Здесь все — Карина. Она и то, что ее окружает, — неразрывно. — Варежкин непроизвольно сцепил пальцы рук. — Как бы вам объяснить?

— Ты все хорошо объяснил, — сухо сказала Карина, — но я все равно ничего не пойму... Ты просто фантазер, Савелий. Почему бы тебе не писать то, что видят остальные? Вот чай — он и есть чай, нельзя же его изображать, допустим, простоквашей, — начала излагать свои мысли Сухарева.

— Но я вижу именно так. Так мне подсказывает сердце, фантазия. Все предметы движутся, перемещаются, разговаривают друг с другом, ссорятся. Они — живые. У них свои радости и печали, свои заботы, свои неурядицы. Я вижу, что чашка готова лопнуть от злости, когда вливают в нее кипяток. Я вижу, как вазе хочется треснуть, рассыпаться, чтобы дать волю хотя бы этим сосновым веткам, как хочется ей лишиться дна, чтобы они проросли, пустили корни. И веткам неудобно в ней, они окольцованы, им хочется туда — на мороз, чтобы искриться, насыщать воздух своим дыханием. Мне видится...

— Савелий, остановись, а то и мы привидимся тебе невесть чем, — прервала его Карина.

— Но мне кажется...

— А мне ничего не кажется, — уже зло оборвала его Сухарева. — Спасибо за подарок. Я ценю твой труд, но не приемлю. Достаточно с меня видений и фантазий. Понятно? Достаточно! Я сыта ими по горло!

— Каринушка, ты становишься жуткой злюкой. Ну, размечтался человек, ну, он так видит, ну и что? — вмешалась Любаша.

— Гулена и та не выдержала этих видений. Вон, под диван залезла. А я человек. Что мне прикажешь делать? Что? Я спрашиваю? — Карина все больше и больше распалялась.

— Вот что, милочка, возьми-ка себя в руки и перестань напускать на себя истерику! — одернула ее Любаша.

Варежкин уже проклинал себя за то, что не в меру разговорился.

Но в то же время в кладовых подсознания вертелась, не давала покоя мысль: почему так нервна Карина? Что ее раздражает, мучает? Тогда — цветы... Сейчас... Неужели какая-то картинка смогла ее вывести из себя? Впрочем, и с кошкой что-то неладное творится, точно картина источает какой-то эфирный яд, точно токи какие-то излучает. Но ведь с Любашей ничего не случилось. Хотя что с ней стрясется, с такой пышечкой-веселушечкой? Нет, надо что-то придумать. Но что? Выбросить?!

— Не будем ссориться из-за чепухи, из-за картинки какой-то, — Савелий быстро встал. — Чушь все это.

Варежкин схватил картину, резко открыл балкон и на глазах опешивших женщин вышвырнул ее. Любаша бросилась к балкону, но ее остановил протяжный стон Карины. Она обернулась и увидела, как Сухарева медленно сползает со стула. Савелий и Любаша кинулись на помощь.

— Воды, быстрее воды! — выпалила Любаша.

Савелий метнулся на кухню и, расплескивая воду, поднес стакан к губам Карины.

— Что-то нервы у нее сдают в последнее время. Совсем полоумная стала, — проговорила Любаша. — Не знаю, что и делать. Я и так и этак, ничего не помогает, точно нечистый дух вселился в нее.

Карина понемногу приходила в себя.

— Уходи. Немедленно... Я не могу тебя видеть, ты слышишь?!

4

Если в первое время Карина была необходима Савелию как воздух, как глоток чистой, колодезной воды, то последняя встреча не то чтобы его омрачала, сделала ее образ менее притягательным, но что-то разрушила в его сознании, остудила огненную иглу, которая вонзилась в самую сердцевину его сущности, и постепенно клубящийся свет, которым он жил, стал гаснуть, и спокойное, холодноватое мерцание наполнило его плоть. Но одновременно и Карина стала приобретать очертания зыбкие, полуреальные и лишь изредка вспыхивали искорки ее ореола, и тогда Варежкин ощущал беспокойство, пере-

кладывал вещи с места на место, словно стараясь себя и весь окружающий его мир привести в согласие, окунуться хотя бы на время в гармонию и плыть по ее спокойным волнам, по безмятежным холмам воспоминаний, забыв, что существует время, квадратные метры его каморки и тот изнурительный взрыв, имя которому — Карина.

Наступила весна и можно бы дать ее приметы в виде давно прокисших ручьев, обрюзгшего снега и рыхлого и сероватого озерного льда. Можно бы упомянуть и о потревоженных лесных чащобах, но каморка не выезжала на своих скрипучих половицах туда, где воздух, пронизанный переменным током, окатывал мурашками спину, грудь и виски.

Варежкин просто отворил окно, чтобы дать сквозняку по-молодецки пройти по всем затхлым уголкам и навести праздничный беспорядок в притихшем жилище. И сквозняк ворвался, словно почуяв добычу, и с маху принялся за работу. Савелий закрыл глаза и подставил лицо под ослепительный, напористый душ, в котором все перемешалось; отрывочные голоса жильцов, воробьиный галдеж, солнечные соринки и запах отсыревших досок. Кровь опрометчиво запульсировала в капиллярах и венах, но звон стекла, словно кто-то без оглядки рванул оконные рамы, стряхнул с Варежкина мощное ощущение.

Савелий обернулся — и не поверил своим глазам: в дверном проеме стояла Карина в легком красном плаще и ее волосы путались и развевались на сквозняке.

— Закрой окно, — спокойно сказала Карина.

Савелий растерялся, но окно закрыл.

— Я... я очень рад. Какими судьбами?

— Не выдержала я, Савелий, вот и пришла, — сказала Карина, закрывая дверь.

— Да что же ты стоишь, раздевайся! — Савелий помог Карине снять плащ и повесил его на гвоздик. — Проходи. Садись. Я рад, что ты пришла, — еще раз сказал Савелий, точно сам хотел убедиться в этом.

— А здесь вполне уютно, — сказала Карина и села на кушетку.

Жилье Савелия и вправду было довольно уютным. Недавно он развесил часть своих полотен, отчего сразу стало просторнее и светлее.

— Даже не знаю, чем тебя угостить. Может, кофе? Или яичницу? У меня плитка хорошая, вмиг накалился.

— Кофе, пожалуй, выпью, а больше ничего не надо, — как бы в пустоту сказала Сухарева и стала внимательно разглядывать картины.

— Я не ожидал, что ты придешь.

— И я не ожидала, — все с той же отсутствующей интонацией произнесла Карина.

Савелий налил из термоса кофе, раскрыл пачку печенья и внимательно посмотрел на Карину.

— Что ты так усердно картины разглядываешь? Почти все они были на выставке...

— Помню. Даже слишком хорошо помню. — Карина отпила глоток кофе. — Поэтому и пришла.

— Что-то я не совсем пойму.

— А зачем понимать? Я тебе объясню. Все объясню, но сначала... Савелий, где ты видел мальчика? — Карина посмотрела в глаза Савелия.

— Какого мальчика? — недоуменно спросил Варезкин.

— Того — «За Магнитной Стеной».

Карина отвела глаза и стала крутить перстень на безымянном пальце.

— Хорошо, я расскажу, — Савелий встал и подошел к окну. — Но ты опять сочтешь меня выдумщиком... — Варезкин с минуту молчал, словно о чем-то раздумывая. — Я расскажу, но мне очень важно, необходимо, чтобы ты поверила...

— Я поверю.

Савелий потер пальцами лоб, вернулся на место; залпом выпил кофе, закурил сигарету и после нескольких глубоких затяжек стал медленно, чтобы ничего не упустить, рассказывать.

— Однажды я несколько суток подряд, почти без отдыха, работал. Ни разу мне так хорошо не писалось. Я буквально валился с ног, но образы настолько выпукло вставали передо мной, что рука сама тянулась к кисти, краски ожили, превратились в бесконечную симфонию, и я понял, что скорее свалюсь замертво, чем отойду от полотна. Я был затянут в неистовый водоворот, он засасывал меня все глубже и глубже, но я был счастлив. Это были не муки творчества, а «состояние ясного ледяного

безумия». На вторые сутки я все-таки свалился, точнее ухнул в дымящийся котел сновидений.

Варежкин замолчал, потушил сигарету и посмотрел куда-то мимо Карины, в какую-то невидимую удаляющуюся точку, точно пытаюсь уследить, где она завершит свой стремительный, ускользящий полет.

— С этого все и началось. Вся эта стена, — Савелий указал в сторону окна, — превратилась в белое полотно. На нем стали вырисовываться расплывчатые очертания отдельных предметов, стен, потолка, пола, каких-то людей. Буквально на моих глазах они неудержимо обретали четкость, рельефность, цвет и передо мной предстала абсолютно достоверная картина. По краям, на переднем плане, в черных креслах вполоборота сидели два человека и пристально смотрели на меня. Я стал приближаться к картине, пораженный ее стереоскопичностью, и когда подошел почти вплотную, то внезапно понял, что это — комната, отгороженная от меня невидимой стеной, и что в нее можно войти. Не любопытство, а скорее внутренняя необходимость, даже неизбежность толкнула меня на первый шаг. Но что-то мешало пройти сквозь стену. Какое-то, возможно, магнитное поле, причем, очень мощное. Мне удалось протиснуть лишь голову и плечо, но дальше поле не пускало. Меня всего трясло, словно я оказался на вибростенде. Поле сопротивлялось, но я уже твердо знал, что не отступлюсь, что обязан попасть в эту комнату, понимаешь, обязан. Я собрался в кулак и каким-то нечеловеческим усилием прорвался сквозь стену. Мужчина, что сидел слева, внимательно наблюдал за мной, затем взглянул на того, кто сидел напротив, и его тонкие, безжизненные губы расползлись в улыбке. Дальше пошли дела странные. Откуда-то, словно просачиваясь сквозь стены, стали появляться люди, причем, они буквально на глазах меняли свое обличие, меняли до тех пор, пока я не узнавал в них кого-то из близких, знакомых и дорогих мне людей.

Карина сидела вся напряженная и слушала. Савелий отпил глоток кофе и нервно закурил.

— Мне захотелось музыки. И она возникла. Музыка, которой я никогда не слышал и не услышу. Она звучала так естественно, так отчетливо, она наполняла всю мою плоть, она пронизывала меня. Но дело даже не в ней, а в самом звучании. Никакая аппаратура не способна

его передать. Потом стали появляться женщины. Одна сменяла другую, и наконец явилась та, которую я любил в мечтах своих. — Савелий замолк.

— Продолжай, — еле слышно, словно боясь расколоть наступившую тишину, попросила Карина.

— Я ощутил ее гладкую кожу, — смущенно, точно чего-то стыдясь, произнес Варезкин. — Она рассмеялась и исчезла. Тогда тот, что сидел слева, назовем его Главным, встает и говорит: «Ты явился, твои эмоциональные ресурсы, твой энергетический запас нам вполне подходят. Мы долго тебя ждали. Ты — Второй. Первый не может без тебя». Я, признаться, ничего не понимал, и тут я увидел на стене портрет мальчика: «Кто это?» И Главный ответил: «Тебе незачем знать, но если...» Неожиданно на середину комнаты вышел мальчик лет пяти-шести. Это и был тот — изображенный на портрете.

«Что ж, — сказал Главный, — раз он пришел, то посмотри на него и запомни. Это и есть Первый. Ты с ним еще встретишься. Здесь. В этой комнате. На этом паркетном полу, изъеденном лунной солью. И это будет твой звездный час. Ты станешь счастливым. Богатым. Известным. Когда настанет время, когда мы этого захотим, и когда Первый будет готов».

Внезапно все исчезло. Я проснулся. Вокруг была тишина. И только в окне сияло нестерпимым светом пятно. Уменьшаясь, оно меняло окраску, пока не загустело и не слилось с ночным небом. И хоть это смешно и нелепо, но мой мозг был кристально ясным. Я ощутил такой прилив сил, такую легкость, что готов был перевернуть весь мир. И до сих пор я верю, что это был не сон, а нечто иное, неподвластное разуму. Все было так реально, и особенно это светящееся пятно...

Я готов поверить в любую гипотезу, в любую версию, только бы объяснили, что это было. Я готов на все, чтобы побывать в той комнате еще раз. Понимаешь, они выполняли любое желание, которое вспыхивало в моем сознании, и я впервые увидел Ее.

— Савелий, когда это случилось?

— Год назад, в январе.

— Ты хочешь объяснений? По-моему, любой психиатр все тебе объяснит. Наверное, ты был перевозбужден или болен, оттого тебя и лихорадило, а во сне кризис

миновал и ты почувствовал легкость. Попробуй все-таки обратиться к врачу. Попробуй, — наставляла Карина.

— Обратиться к врачу? Еще чего! Верю, что еще раз побываю там. Должен. Иначе, это видение, эта вспышка будет преследовать меня всю жизнь.

— Дело твое. Жди. Авось, дожدهшься.

5

Рассказ Савелия не давал Карине покоя, и, в конце концов, она сдалась: мигом оделась и почти бегом бросилась на почту.

Савелий растерялся, увидев телеграмму, так как лет пять не только телеграмм, но даже писем и открыток не получал. «Немедленно приезжай тчк Карина». Этого Савелий вовсе не ожидал. «Что стряслось?» — недоумевал он, торопливо собираясь в путь.

Таксист, чувствуя нервозность пассажира, прибавил газу.

Слома голову Савелий взбежал на четвертый этаж и, забыв, что существует звонок, забарабанил в дверь.

Она моментально распахнулась.

— Ненормальный! Звонок же есть! — воскликнула Карина.

— Какой звонок? Что стряслось? — наступая на Карину, выпалил Савелий.

— Савелий, на тебе же лица нет.

— Какого лица? Что случилось? Рассказывай, что произошло, — требовательно спросил Савелий.

— Ничего не случилось. — Карина цепко взяла Варежкина за руку и повела в комнату. — Я здорова. Все здоровы. Погода прекрасная. На работе все идет по плану. Землетрясений не было. Шкаф на меня не упал. Луна — не свалилась. Садись же наконец.

— Если ничего... то какого... давать телеграмму да еще срочную, — уже спокойнее оказал Савелий, садясь в кресло.

— А может быть, я просто хотела увидеть тебя, посмотреть, как ты выглядишь, погладить твою головку...

— Ничего себе шуточки. Я черт знает что передумал, а ей видите ли захотелось погладить меня по головке.

Гулену гладь, она привычная. — Савелий хотел было подняться с кресла, но Карина его удержала.

— Успокойся, — твердо сказала Сухарева. — Я пойду поставлю чай, а ты пока отдышись и возьми себя в руки.

— Ладно, ставь свой чай, но сперва объясни...

— Объясню, — прервала его Карина. — Все объясню...

Карина резко повернулась и вышла из комнаты.

«Черт те что... Погладить по головке», — думал взвинченный Варезкин.

Сухарева несколько раз поправляла скатерку, меняла чашки и то и дело бегала на кухню и обратно. Наконец она села, насыпала себе сахару и стала с напускным равнодушием его размешивать.

— Ты, наверное, курить хочешь? — Карина встала и снова пошла на кухню.

— Может быть, ты уgomонишься? — бросил ей вдогонку Савелий.

Из кухни донесся звон разбитой посуды. Савелий раздраженно обернулся. Карина подошла к дверному косяку, прислонилась к нему и, устало улыбнувшись, сказала.

— Это всего лишь блюдо. Кажется, на счастье. Да ты не беспокойся, я подмету потом. Савелий... Мне надо рассказать одну историю и рассказать ее здесь, в этой комнате. Почему именно в этой — ты потом узнаешь.

Карина подошла к столу, села, взяла ложку, но, словно передумав, положила ее на блюдо и начала рассказывать свою историю, рассказывать издали, но уже после первых слов Варезкин забыл и о чае, и о сигарете, которую тщательно разминал, и о разбитом блюде, и обо всем, что еще недавно так его нервировало.

— Ты мне как-то посоветовал выкинуть сосновые ветки, что стоят в вазе, но, как видишь, они стоят до сих пор и, видимо, навсегда останутся в ней, потому что собрал их тот, дороже которого для меня не было и не будет. Я любила его всем существом, каждой клеткою своей, но любила слишком эгоистично. А поняла это, когда уже было поздно.

— Сейчас бы... да, что сейчас... Все мы задним умом крепки... — Карина задумалась и посмотрела в сторону этажерки. — Он был бесконечно добрым. Жалел всех кошек и птах, всех безродных и бездомных собачонок,

каждую ветку и травинку, даже ножки стола тряпками обматывал, чтобы, как он сам говорил, не простудились. Был неисправимым фантазером. Сначала я снисходительно относилась к его, как мне казалось, нелепым выдумкам, к его друзьям, к их бесконечному шуму и гаму. Как-то я у них спросила: почему вы все время бегаете к нему. И они наперебой стали отвечать: он добрый, с ним интересно, он много рассказов знает. Даже стыдно признаться, но я ему почти никогда ничего не рассказывала. Правда, за ним присматривала одна старушка, но, как я позже узнала, и она ничего ему не рассказывала. Меня взяло любопытство: откуда он всякие истории знает, оказалось — придумывает сам. Потом, как из рога изобилия, посыпались всяческие мудреные вопросы. Поначалу я как-то пыталась ответить на них, но, видимо, моя сухость, нервозность, постоянные одергивания остудили его. Одним словом, закрутилась я в своих делах как белка в колесе и не заметила, что стал он молчаливым, сидит в уголке тише воды, ниже травы. К тому же всех его приятелей-расприятелей отвадила. А присмотрись бы я повнимательней... насторожило бы меня, что глаза у него погрустнели и что весь он словно в себя запрятался, ни одной щелки не оставил. Но меня такой оборот устраивал...

— Карина, я не понимаю, о ком ты говоришь?

Карина подошла к шкафу, достала фотографию и протянула Савелию.

— Кто это? Очень знакомое лицо... Постой-постой... Вылитая копия мальчика, которого я видел в той комнате, за той Стеной, — недоумевая, сказал Савелий.

— Это мой сын.

— ...

— Но это еще не все.

— Где он?!

— Однажды он вышел на балкон и спросил: «Мама, человек может летать?» Причем, так тихо и задумчиво, что я испугалась, уж не собирается ли он, чего доброго, выпрыгнуть. Я, помню, крикнула: «А ну, марш в комнату!» И тут я увидела, что он спокойно поднимается вверх, на секунду обернулся, махнул мне... ручонкой... и... и растворился в воздухе. Я подумала, что это галлюцинация, кинулась на балкон, назад в комнату, в ванную, туда, сюда, но везде было пусто. Рассказывать, что со

мной творилось — бессмысленно. Куда я только не обращалась, что я только не делала. Даже в церковь зачастила. Ничего не помогало. Теперь ты понимаешь, почему я упала в обморок, когда ты выкинул картину. Балкон... Полет... Ты первый человек, кому я доверилась... Когда я на выставке увидела ту картину, во мне вспыхнула надежда: может быть, ты его случайно где-нибудь видел. Я понимала, что это слабое утешение, но цеплялась за любую соломинку. А что оставалось делать? Я и до сих пор не верю, что он улетел... Хотя... видела.

— Подожди-подожди. Они говорили, что еще вызовут меня. Хотя какую я несу чепуху! Какие-то ушельцы, пришельцы. И все-таки я должен быть за Магнитной Стеной. Слышишь, Карина, я должен туда попасть. Он — там. Теперь я в этом уверен. Твой сын — там.

— Савелий, Савелий, сказки все это, бредовые фантазии, — Карина пыталась успокоить себя, а вовсе не Савелия.

— Я тебе не все тогда рассказал.

— Что не все?

— Той женщиной была ты.

Глава II

1

Рассекая вечерние сумерки, Савелий шагал куда-то к центру города, в самую его гущу. Время превратилось в свистящий поток машин, в водовороты людских толп, светофоры словно не существовали. Визг тормозов сменялся отборной руганью, но Савелий ничего не видел и не слышал, пока буквально носом не уперся в желтый прямоугольник стекла. Перед ним распахнулись двери, и он очутился в кафе. В вестибюле было накурено, какие-то тени блуждали взад и вперед. Савелий зашел в зал, сел на свободное место и стал звать официантку. Покачивая бедрами, она профланировала по залу, подошла к Савелию и, глядя куда-то в потолок, процедила:

— Из закусок только салат.

— Дайте стакан вина, — бросил Савелий и достал сигареты.

— У нас, знаете ли, курить не положено, гражданин, — позлобствовалась официантка и важно удалилась.

Ее тон даже не задел слуха Варезкина. Его неумолимо затягивал вихрь вспыхивающих в сознании картин. Они вставали перед глазами, ели его поедом, сверлили нутро, сжимали грудную клетку, давили на барабанные перепонки. Он не заметил, как принесли вина, как он его жадно выпил, и только настойчивый голос: мы закрываем, освобождайте помещение! — вернул его к реальности.

Действительно, в зале почти никого не было, и только вентилятор разрезал своими неуклюжими лопастями горячий и тяжелый воздух.

Савелий еще несколько часов петлял по городу, пока почти бессознательно не добрался до своего дома. Он долго рылся в карманах в поисках ключа, но так и не нашел его. Тогда Савелий отошел на несколько шагов, по-бычьи ринулся на дверь и кубарем вкатился в каморку. Оказывается, дверь была не заперта и ключ одиноко торчал в замочной скважине. Савелий встал, ошупал плечо и, не раздеваясь, повалился на кушетку. Но заснуть не мог. Его то швыряло вверх — в непроглядную тьму, то — вниз, в раскаленную бездну, в фиолетовую пучину безмолвия. И на всем протяжении полета, словно деревья вдоль дороги, его окружали какие-то чудовищные лица и фигуры. Комната осветилась раскаленным светом, свежий воздух ворвался в каморку. Савелий на мгновение открыл глаза. Перед ним маячила, раздваивалась чья-то фигура.

— Савелий Степанович, Савелий Степанович, что с тобой, голубчик! — пытался вывести Варезкина из забвения дворник Гаврила Мефодьич.

Варезкин, цепляясь и опрокидывая стол, свалился на пол и очнулся от пронизывающей боли в правом плече.

— Кто здесь? Спихватились! Где мальчишка? Где он?

— Савелий Степанович, да это же я, дворник Гаврила, чай, не признал-то со сна. Вот ведь какая оказия. Сподобило же этак назюзюкаться. Давай-ка я тебе подсоблю подняться, горемычный ты наш. — Мефодьич взял Савелия под мышки и хотел поднять.

— погоди, больно, — простонал Савелий.

Кое-как Варезкину удалось подняться и лечь.

— Я-то давеча слышу грохот, никак, думаю, что стряслось. А потом — тихо. Я было уже снова задремал,

а тут, как на грех, крики какие-то от тебя идут. Думаю, дело неладное. Я к тебе.

— Мефодьич, ты не слыхал, что я кричал в бреду? — спросил Савелий.

— Да разную разность. Мальчонку какого-то требовал возвратить. Проклятьями сыпал. Я тоже бывало, еще старуха жива была, царство ей небесное, как лишку хвачу, так и давай без толку бузить, дурь свою наизнанку выворачивать. — Старик поудобнее запахнул ватник и задумался.

— Что-то неладное сегодня со мной творится, — словно про себя сказал Савелий, — Голову, будто раскаленными щипцами, сдавило.

— Не заболел ли часом? Дай-ка я лоб потрогаю, — старик дотронулся до головы Варезкина и отдернул руку. — Доктора тебе надобно.

— Не болен я, дед, другая во мне болезнь. Другая... Старик заговорщицки наклонился к Савелию.

— Неуж такая краля-раскрасавица приглянулась, да и щиплет сердечко-то. Тогда уж точно, тут никто тебе не помощник. Эдакий жар в груди займется, хоть караул кричи, хоть голышом в прорубь кидайся, ничто не подмога. Сущее пекло.

Дед наладился и дальше развивать свою идею, но Варезкин не дал ему разойтись.

— Спасибо, дед, что зашел. Доброту человеческую выказал, — сказал Савелий, давая понять, что надо ему остаться одному.

— Да, браток, нынче не всяк на крик-то поспешит, руку-то не всяк протянет в беде. А как же! Позапирались за двойными замками с хитрыми устройствами, калачом не выманишь. Как беда, так — сторона. А стали бы рубли мятые раздавать, так налетели бы, что саранча, без приглашений, за версту бы учуяли, нюхатые.

— Ты, дед, палку перегибашь. Мне больше хорошие люди попадались, — Савелий старался убедить деда, что мир не так уж и плох, что не всегда своя рубашка ближе к телу.

— Ты с мое поживи, — не унимался дед, — до самых тайничков человека-то раскумекай, до самых его чуланчиков. Попытай его и так и сяк. Вот, к примеру, тебя возьми. Я нет-нет да и присмотрюсь к тебе, понаблюдаю, что ты есть за человек такой. Эвон, все стены картинами

загородил, всякое норовишь изобразить, да как бы по-замысловатей. Я в этом деле мало что разумею, но одно понимаю — есть в тебе искра божья и людям ты ее стараешься нести. Хоть мне, старику, не все понять, но вижу одно — светлые у тебя картинки, добрые они, солнца много, а когда светлые да добрые, то и глазу любо и на сердце умиротворение. Вот, к примеру, та. Хоть и красок много, а не пестрит. Покой в ней. Помню, в деревне богомаз был. Так наперед того, чтоб лик божий изобразить, постился, весь насквозь просвечивал. На воде да на хлебе жил, а уж опосля и принимался работать. Запрется бывало у себя, никого не впускает, и так день-деньской. Зато лики писал — с дальних деревень приезжали полюбопытствовать. А как же! Я тогда еще мальчонкой был. Всего не разумел, но гляну на лик — аж мурашки по телу разбегаются. — от страха, и от умиления. Точно родниковой водой тебя промыли. Вот как его лики-то принимали.

— Ах, дед, дед, людям не только лики нужны. Есть и другая живопись.

— Какая б ни была, а одно тебе скажу — хорошая картина она что муха, ты ее от себя отгоняешь, а она снова норовит к тебе, так и кружится, так и пристаёт, так-то с глаз прочь и не уходит.

— Дед, тебе бы монографии писать, а не метелкой размахивать, — как бы сквозь сон сказал Савелий.

Дед почувствовал, что Савелий благополучно погружается в дрему, и чтобы не тревожить его, осторожно вышел.

3

Мефодьичу только показалось, что Савелий мирно уснул. Хотя Варезкин и любил этого добродушного деда, но сегодня ему было не до него.

Снова началась качка. Вот он уже с головокружительной скоростью несется куда-то вниз. Сейчас все рухнет, и тьма концентрическими кругами разойдется от Варезкина.

Мгновенная вспышка, и мир перестал существовать, но мало-помалу обозначились контуры Стены и картина стали приближаться. В центре, на стуле, сидел мальчик. Савелий попытался что-то сказать, но слова застряли в

горле и только нечленораздельные звуки выпрыгнули наружу.

— Сегодня тебе не придется прорываться сквозь Стену, — донесся сверху голос. — Твое время настало. Ты мог бы еще год жить так, как жил, но дело зашло слишком далеко, — прозвучал знакомый голос. — Она не должна была открывать тебе тайну.

Как только была произнесена эта фраза, Савелий громадным притяжением буквально всосало в комнату.

— Мы долго наблюдали за тобой. За твоими безумиями, но дело не только в этом. Нужен был срок, чтоб этот мальчик подрос и мы смогли бы произвести над ним операцию. Сегодня он созрел, правда, нам пришлось ввести ему специальный раствор, воздействующий на функции роста, что не входило в наши планы, но виною тому — ты, Савелий Варезкин, — металлически отчеканил голос. — Ты хочешь знать, кто с тобой говорит? Ну, что ж, смотри.

Перед Савелием возникла фигура Главного. Все те же волосы ежиком, немигающие глаза, узкая линия рта.

— Если у тебя есть вопросы ко мне — задавай, — сказал Главный.

Савелий подошел к мальчику, коснулся его руки и сказал:

— Пойдем. Уже поздно. Мама заждалась.

Мальчик не двигался.

— Он не может покинуть нас. Он вообще тебя не видит. Это его двойник, созданный по его образу и подобию, но лишенный всего: речи, слуха, зрения. Перед тобой манекен, намертво привинченный к креслу, — сказал Главный.

— Кто вы такие? — спросил Савелий.

— Мы — Лига Спасения. Только мы еще способны спасти свой мир, свой народ, свою планету. Но одни мы бессильны, поэтому мальчик оказался здесь. На его месте мог оказаться и другой, но с одним непременным условием: он весь должен быть перенасыщен добротой, то есть тем, что у вас на земле постепенно исчезает.

«Доброта, зачем она им сдалась? Свихнулись на доброте, что ли?» — подумал Савелий.

— Не свихнулись. У нас ее просто нет. Мы ее уничтожили, вытравили во имя прогресса, во имя всеобщего процветания, — произнес Главный.

— Так зачем же она вам, если вы от нее намеренно избавились? Зачем? Что вам надо от ребенка? Он тут при чем?

— Не торопись. Мы хотим, чтобы ты понял, зачем нам мальчик и зачем нужен ты.

— Значит, я никогда не вернусь к себе, не увижу Карины, не допишу своих картин? — с удивлением и страхом спросил Савелий.

Савелий говорил с самим собой, не замечая, как пристально на него смотрят. Опять стали появляться человекоподобные. Они внимательно, немигающими глазами вглядывались в Варезкина.

— Ты вернешься в свою каморку и встретишь Карину, и Гулена не отпрянет от твоего нового полотна, потому что оно уже не будет пронизано теми лучами. Своих картин тебе не придется дописать. Тебе предназначено иное. Ты будешь всем и все у тебя будет, кроме одного — творческого потенциала, твоей возбужденной фантазии, которые мы введем в мальчика. Их мы испытали, когда ты проходил Стену. Мы бы никогда не посягнули на вашу собственность, но иначе не можем. Иначе наше общество задохнется, погибнет. У нас есть все — пища, зрелища, полная праздность, но нет доброты, которая спасет нас от ожирения. Наша кровь прокисла, наши мысли расплавились, наш мозг протухает.

— Но зачем вам доброта? — недоумевал Савелий, — Набивайте свое чрево, плодитесь, развлекайтесь. Вам же хорошо. Вы к этому стремились.

— Да, мы к этому стремились и этого достигли. Но доброта снимет с нас пелену довольства, она очеловечит нас, иначе мы уничтожим друг друга, чтобы насытиться сполна очередным зрелищем. Кто-то из ваших сказал, что красота спасет мир. И нас спасет и красота, и доброта. Они нужны, чтобы вернуть крови ее ток, ее первоначальные свойства и назначения: способность волноваться, радоваться, любить, гневаться, переживать, заступаться за кого-то, продолжать род не ради самого процесса продолжения. Если бы мальчику требовалось привить математические способности, логические, мы бы обошлись без тебя. И прозябал бы ты со своим талантом в своей каморке, раз в месяц выпивая с дворни-

ком и философствуя на тему: есть ли жизнь на других планетах. В конце концов, вы купили бы телевизор, этот чудовищный пожиратель Хроноса, и неразлучной парой наслаждались бы цветным изображением, бегущими, прыгающими и говорящими картинками. Или наоборот — ты бы женился, наплодил детей и умер бы в нищете, проклятый своими детьми за то, что не умел жить, что строил воздушные замки. Мы тебя спасем от подобной кончины. Дети будут проклинать небеса в тот час, когда ты умрешь. Толпы людей проводят тебя в последний путь, и военные просалютуют в твою честь.

— Но мне не надо ни почестей, ни славы.

— Ты так говоришь, потому что твою голову не увенчивали лавровым венком. Перед тобой не преклоняли колени, не смотрели завистливо вслед. Ты — пыль, которую ветер несет по орбитам земным. Ты оболочка без наполнения. Твой талант — твоя причуда, не более, ты не способен им распорядиться. Им ты никого не спас на земле, но спасешь здесь целый мир, планету, цивилизацию. Спасешь своим творческим потенциалом.

Главный замолчал и нажал на кнопку, вмонтированную в кресле. Перед Савелием разлилось сияние, оно стало переливаться всеми цветами радуги. Постепенно в середине стали вырисовываться очертания человека, и Савелий увидел, как из полыхания красок вышел мальчик.

— Мы приступаем к трансплантации, — сказал Главный и повернулся к Савелию. — Ты освободишься от нароста, от злокачественной опухоли таланта. Ты будешь видеть мир таким, каков он есть. Освободишься от ночных кошмаров и безумных видений. Вещи перестанут возбуждать в тебе навязчивые идеи. Цветок будет цветком. Дерево — деревом, солнечный свет — обыкновенным светом. Мир уже создан, и не тебе его выправлять, искажать и перестраивать. Ты станешь правильным художником, вышколенным ремесленником. Теперь ты будешь сыт, обут, одет. У тебя будут квартира, женщины, дача, машина, серванты, они довершат твой облик, твое человеческое обличье. Ты будешь смеяться, хохотать от счастья, как от щекотки.

Савелий почувствовал, что лишается рассудка, он ощутил, как что-то огромное, раскаленное выходит из него. Перед глазами плясала, извивалась молния, но

постепенно она стала тускнеть, пока не превратилась в простую черную болванку. Пол уходил из-под ног. Стали сдвигаться стены. Они готовы были расплющить Варезкина. Завыли сирены, они буравили мозг, распиливали Савелия надвое. Он потерял сознание и рухнул в бездну.

4

В комнату вливался чистый весенний свет. Савелий огляделся, ощупал голову, сел на кушетке и задумался. Потом уставился на стены. «Какой чушью я все-таки занимался, — мелькнуло в сознании, — надо начинать жить по-другому. Хватит тратиться по мелочам». Савелий встал и принялся за уборку. Но картины, висевшие на стене, не давали покоя. Они раздражали своим присутствием, напоминанием, что они существуют. Савелий еще долго перекладывал баночки, кисти, ящики, коробочки, в которых хранились тюбики с красками. Но раздражение не проходило, наоборот, с каждым часом оно все более и более нарастало.

— Да пропади все пропадом, — не выдержал Савелий, схватил большую банку с этюдными красками, широкую малярную кисть и остервенело стал замазывать картины.

— Вот так вам, вот так. Я сотру вас с лица земли, хватит мозолить глаза, — приговаривал Савелий, упиваясь размашистыми мазками. Наконец, он обессилел и сел на кушетку. Стена смотрела на Варезкина бельмами холстов. Лишь кое-где просвечивали синева и местами расплывались солнечные пятна.

Пока Савелий, вытаращив глаза и вытирая пот со лба, восхищался проделанной работой, в дверь постучали.

— Входите, открыто, — рыкнул Савелий и повернул голову в сторону двери.

Она осторожно открылась, и на пороге возник невысокого роста мужчина с обширной лысиной и папочкой под мышкой.

— Савелий Степанович Варезкин? — обратился он к Савелию.

— Да, он самый. Что нужно? — недовольно пробурчал Савелий.

— Разрешите представиться, — незнакомец сделал нерешительно-услужливый шаг вперед, — Зенон Кон-

стантинович Головицкий, служащий городского музея. Я к вам по поручению нашего многоуважаемого директора.

— Зачем я вам понадобился? — все еще недружелюбно спросил Савелий.

— Даже не знаю, с чего и начать. Разрешите присесть. — Головицкий вкрадчиво подплыл к стулу и, сев на краешек, продолжал. — На всех нас произвела огромное впечатление ваша картина. Никто не подозревал, что у нас в городе пропадает такой исключительный талант.

«Что за чепуху он несет», — подумал Савелий, но смолчал.

— Даже трудно себе представить, что в таких не совсем благоприятных для работы условиях, — Головицкий обвел глазами каморку, — можно было создать столь грандиозное по своим масштабам полотно. — Зенон Константинович несколько замешкался, увидев ряд белых полотен. — Это грунты для ваших новых работ? — спросил Головицкий и сладко улыбнулся.

— Это не грунты. Я сегодня замазал все то, над чем трудился более десяти лет, — сказал Савелий напыщенно.

— Какая досада, какая досада. Конечно, незаурядному таланту всегда кажется, что все сделанное им не заслуживает внимания. Но вы, только ради бога извините за откровенность, слишком опрометчиво поступили. Вполне возможно, что после вашей последней картины эти маленькие холстики могли показаться вам чем-то вроде побрякушек, но, поверьте, больно сознавать, что работы вашей кисти окончательно погибли. Но я не это хотел сказать. Я пришел к вам, чтобы подписать, если вы не возражаете, один документик. Наш музей решил приобрести ваше полотно, которое, конечно же, стало украшением последней выставки.

«Что-то здесь не так. Не сон ли это?» — подумал Савелий, а вслух спросил:

— О каком полотне вы говорите?

— Как о каком? О вашей столь нашумевшей картине «Входящий в мир». Кстати, вот и документик. — Головицкий протянул Савелию вчетверо сложенный лист.

Савелий развернул злополучный документ и прочел: «Музей согласен приобрести картину С. С. Варезкина

«Входящий в мкр» и обязуется по подписании договора выплатить автору сумму в размере семи тысяч пятисот рублей наличными».

Головицкий вытянул шею, словно еще раз хотел удостовериться в правильности договора и пока Савелий изучал бумажку, залебезил:

— Мы рады были бы и больше заплатить, но музей в данное время находится в несколько стесненном финансовом положении. Мы непременно дадим вам еще заказы. И другие музеи с удовольствием приобретут ваши работы. Они нас уже в этом заверили и просили нашего посредничества.

Савелий ничего не мог понять. «Не застеночников ли это проделки? — подумал он. — А впрочем, была не была».

— Сумма меня вполне устраивает, к тому же мне достаточно лестно, что именно ваш музей решил купить мою картину, — с важностью произнес Савелий. — Где расписаться?

— Внизу, где галочка стоит. — Головицкий протянул заранее приготовленную ручку.

Варежкин расписался и вернул договор. Головицкий радостно спрятал его в папку и достал несколько пачек денег.

— Мы решили привезти деньги прямо на дом, чтобы не утруждать вас по мелочам. Можете пересчитать. — Головицкий протянул Савелию деньги, потом перевел дух, вытер носовым платком взопревшую лысину и продолжал: — Савелий Степанович, я должен передать вам приглашение от одного видного и весьма влиятельного лица на сегодняшний банкет. У их дочери день рождения, и она непременно хотела бы встретиться с известным художником, то есть именно с вами. Она сама увлекается искусством и даже берет уроки живописи у одного академика, но, как мне передавали, не очень довольна им. Одним словом, если вам незатруднительно и у вас найдется немного свободного времени, милости просим к 19⁰⁰ по этому адресу. — Головицкий протянул небольшой квадратик бумаги Савелию. — Всего вам доброго. Извините за беспокойство. — Головицкий поднялся и стал пугливо протягивать руку Варежкину, но, не заметив ответной реакции, быстренько спрятал ее за спиной и яко дым исчез в дверном проеме.

Савелий посмотрел на пачки денег. Такой суммы и в дурном сне он отродясь не видывал. «Даже паспорта не спросил. Чудеса, да и только. Что ж, посмотрим, что за банкет у влиятельного лица. Не дурно бы взглянуть на свою картину, да где ее увидишь?..» — размышлял Варезкин.

Так как гардероб у Савелия был никудышным, а точнее его и вовсе не было, то первым делом Варезкин отправился по магазинам. Он долго присматривал себе костюм, но то размер не подходил, то цвет удручал, пока его не осенило обратиться прямо к директору. Савелий с невозмутимым видом толкнул обитую коричневым дерматином дверь с табличкою «Директор».

За большим столом восседал седовласый, крупного телосложения мужчина в роговых очках.

— Что вы хотели? — Директор тускло взглянул из-под очков.

— Моя фамилия Варезкин. Я — художник.

После этих слов директора точно пружиной подбросило.

— Савелий Степанович! — воскликнул директор, миготом вышел из-за стола и радостно пошел навстречу Варезкину. — Извините, что сразу не признал. Садитесь, что же вы стоите! — Он повел Савелия к креслу и чуть ли не силком усадил. — О вашей работе говорит весь город. Мы всей семьей отправились на выставку, чтобы только посмотреть на ваше грандиозное полотно. Какой размах! Какая мощь! Разве что Репину удавались столь блестящие произведения.

Директор что-то еще говорил о несравненных достоинствах картины, но, заметив усталый взгляд Варезкина и его затрапезы, тут же принялся за дело.

— К нам недавно поступила партия костюмов... импортных, не окажете ли такой любезности — не приобретете ли что-нибудь?

— Мне, признаться, некогда обращать внимание на свою одежду, но, пожалуй, я что-нибудь примерю, — неохотно произнес Варезкин, в то же время пытаясь унять дрожь в коленках, отчего неприлично зевал и поглядывал на потолок.

Директор вызвал кого-то по селектору...

Из магазина Савелий вышел в новом костюме, неся еще три свертка, один из которых выбросил в первый

же парадной. Первая операция прошла удачно. Визиты, нанесенные в другие магазины, оказались столь же благополучными. В одном, правда, Савелию предложили мужские колготки, но, приняв их за модификацию кальсон, Варезкин гордо отказался.

Итак, он был прифранчен сверх меры. Туфли, хотя немного и жали, но зато поскрипывали, что доставляло особое удовольствие Варезкину. Костюм сидел ладно, галстук придавал солидности, новенькое кожаное портмоне приятно оттягивало правый внутренний карман, отчего сердце подпрыгивало, как девочка со скакалкой. Одним словом, по городу шел Варезкин и у дам замирало сердце, отчего вечером они устраивали сцены своим мужьям и любовникам, а на следующий день не выполняли производственного задания. Савелий как бы невзначай частенько останавливался у витрин, чтобы оглядеть себя сверху донизу и отметить: хорош, ах, хорош!

Когда Варезкин подходил к своему дому, дворник Гаврила, покуривая сигарету, с любопытством смотрел в окно. Вид щегольски разодетого прохожего поверг старика в полное замешательство. «Батюшки-светы, да никак это Савелий эдак вырядился», — всполошился Гаврила и стал поспешно собираться, дабы лицезреть чудо.

Минут пять Гаврила стоял под дверью, жадно прислушиваясь. Из комнаты доносился молодецкий посвист, порой переходящий в залихватские частушки, которые сменялись ариями из оперетт и гомерическим смехом.

Гаврила собрался с духом и осмелился постучать. Никто не отозвался, пение и свист продолжались. Гаврила постучал решительней.

— Входите, — услышав наконец-то стук, крикнул Савелий.

Гаврила просунул голову.

— А-а, дедуня, хрыч старый, заходи, чего мнешься. Старик зашел.

— Савельюшка, да где ж ты раздобыл эдакие наряды? Никак прорву деньжищ отхватил? — полюбопытствовал дворник.

— Да, батя, признали меня. Картину нынче купили. В музее висеть будет, народ изумлять.

— Ну, дай-то бог. Пора бы и признать. Не на других же свет клином сошелся. Это все тебе за труды непомерные, что своей тропкой шел, не свиливал. Теперича супругу тебе, Савелий Степанович, надобно, чтоб приласкала, чтоб отдушиной тебе была.

— Ну, это мы, дед Гаврила, еще поглядим, по сторонам поглазеем.

— А как же! Осмотрись перво-наперво. А то вертунья какая ни на есть, фиртихвостка, прости господи, рот-то разинет на твои богатства да и прилипнет как репейник, век будешь горе мыкать.

— Ничего, дед. Такую найдем, чтоб и на люди не стыдно выйти и чтоб в дому место свое знала. По всему достойная партия мне нынче полагается.

— Гляди, сокол! Не дай промашки. Степаныч! — вскрикнул дед, увидев замазанные картины, — никак труды свои удумал замазывать-то? Что ж ты, горемычный, с собою сотворил? Не иначе как бес тебя попутал, — не унимался старик.

— Не бес меня, дедуня, попутал. Новую жизнь решил начать. Хватит баловством заниматься. Пора и честь знать. Теперь за большие полотна возьмусь.

— А зачем тебе большие-то, чтоб издалёка видать было? Я вот давеча о богомазе сказывал, так он лики-то не раздувал аршинные, а всякому видать было. Нет-ко, брат, ты, можно сказать, грех на душу взял. Тебя всевышний сподоблял в ту пору, как ты здесь мытарился да изловчался, чтоб солнцу да свету людям больше досталось. А как же! — заволновался Мефодьич.

Савелий, видя, что деда не уговорить, полез в карман.

— Что там тужить, печалиться теперича, — стараясь подражать деду, начал Савелий. — Похорохорился и будет, — он с важностью достал бумажник, вынул четвертную и протянул деду.

— Гуляй, Мефодьич, чтоб чертям тошно было. Я и сам бы разговелся, да нельзя мне — на важный банкет поспешаю.

— Тьфу на твои бумажки. Срамота одна. Угадываю, что липкие денежки-то твои, будто мухами загажены, — Дед сплюнул, повернулся и, шаркая, заспешил прочь. «Вот чудной, впрочем, пора собираться», — подумал Варежкин и вышел на улицу.

Вскоре он оказался возле каменного дома, стоящего в центре города, но на улице тихой и неприметной для любопытного глаза. Ровно в семь Варезкин позвонил. Дверь распахнулась, и перед воловьим взглядом Савелия предстало миленькое созданище со вздернутым носиком.

— Очень рады. Входите, пожалуйста. Меня звать Катрин. — Она протянула ладонь тыльной стороной.

Варезкин поцеловал даме ручку, вручил завернутые в газету цветы и большую коробку.

— Примите мой скромный подарок.

Катрин положила коробку и развернула цветы.

— Какое чудо! А как пахнут! Мамочка, иди сюда скорее. Посмотри, кто к нам пришел, — зашебетала Катрин.

Из кухни вышла мать.

— Очень рады. Тереза Аркадьевна, — представилась она и тоже протянула тыльной стороной пухлую, с массивным перстнем ладонь.

Варезкину посчастливилось второй раз в жизни поцеловать даме ручку, и это ему понравилось.

— Проходите, пожалуйста, — забеспокоилась Тереза Аркадьевна и повела Савелия по коридору к комнате, из которой доносился запах дорогих сигар и заграничных сигарет.

Савелий вошел в полутьму, где стояли мужчины и о чем-то чинно беседовали. К нему направился хозяин дома — довольно высокий, ухоженный человек.

— Генрих Леопольдович, — отрекомендовалось влиятельное лицо и пожало руку Савелию, — очень приятно, что вы пришли. Позвольте, я вас познакомлю с моими коллегами и друзьями.

Люди здесь были разные, их фамилии ничего не говорили Савелию, к тому же они сразу перепутались в его голове. «Ничего, за столом я выведаю, кто есть кто и откуда. Но птицы, по всему видно, важные», — подумал Варезкин.

— А теперь прошу к столу. — Хозяин сдержанным жестом пригласил всех в гостиную.

Туда же вливались и дамы, которых представляли Савелию их мужья.

Щедро освещенный стол был так же щедро уставлен всевозможными яствами.

Когда все расселись, встал глава семейства, кашлянул и велеречиво начал:

— Дорогие мои! Сегодня у нас знаменательный день. Все посмотрели на Катрин.

Генрих Леопольдович снова кашлянул и продолжал:

— Пользуясь случаем, позвольте мне от имени всех присутствующих и от себя лично попросить нашего дорогого гостя Савелия Степановича сказать несколько слов. — Под одобрительные кивки и возгласы Генрих Леопольдович сел.

Варежкин, не предвидя такого оборота, слегка опешил, но делать было нечего.

— Благодарю всех за оказанное доверие. Я, естественно, тостов не заучиваю наизусть, в грузинском застолье участия не принимал, но все-таки скажу: дорогая Катрин, если представить себе звездное небо, то самой яркой звездой на нем, несомненно, будете вы. Если представить себе выжженную солнцем пустыню, то оазисом в ней будете опять-таки вы. Если нас застигнет кораблекрушение, то спасительным островом снова окажетесь вы. Вы настолько обворожительны, вы так сияете, что перед вами меркнет весь этот свет. — Савелий показал на люстру. — Как сказал бы один известный пиит: вы — гений чистой красоты. И от себя лично добавлю: еще не родился художник, способный уловить, передать и донести в надлежащей форме вашу небесную красоту. — После чего Савелий чокнулся с Катрин и осушил рюмку.

Все стали желать Катрин всяческих благ, поздравлять, чокаться и закусывать. Тосты провозглашались за родителей, за здоровье и счастье Катрин.

Пир разгорался. От обилия тостов Варежкин ошеломился, но старался не подавать виду и со снайперской точностью попадать вилкой в маринованные грибы. Разрумянилась и Катрин. Ей все хотелось завести разговор с Савелием поближе, и, улучив момент, она предложила Варежкину посмотреть ее комнату, на что Савелий незамедлительно откликнулся.

Комната Катрин была небольшой, но дорого обставленной. На одной из стен в позолоченной раме висел пейзаж.

— Любопытная работа! По всему видно — немцы

конца прошлого века, — решив блеснуть эрудицией, с расстановкой произнес Варезкин.

— Это мне папа подарил, Сказал, что это Морленд Джордж.

— Как же я сразу не догадался, — Савелий напустил на себя важный вид. — Конечно же — это Жорка-англичанин, — заявил Варезкин и двинулся к старинному туалетному столику, где взял статуэтку и покрутил в руках. — Кстати, я еще помню такие. Их когда-то продавали в посудных магазинах. Теперь мастера перевелись, да и мода дает о себе знать.

— Ну что вы, Савелий Степанович, — обидчиво возразила Катрин, — продавались другие. А это мейсенский фарфор. Папа у нас питает слабость к старинному фарфору. У меня здесь немного, а вы бы видели, что в кабинете отца творится. Просто ставить некуда.

Савелий понял, что опростоволосился, но решился выкрутиться.

— Да я же пошутил, деточка. Разве можно спутать произведение искусства с ширпотребом. — Савелий снисходительно улыбнулся и небрежно поставил статуэтку на место.

— Савелий Степанович...

— Называйте меня просто — Савелием. Давайте, как говорится, сан фасон.

— Как-то неловко сразу, — смутилась Катрин, — ну, хорошо, пусть будет по-вашему.

— По-твоему, — поправил Савелий и коснулся локтя Катрин, чем несколько ее не смутил.

— Савелий, — уже доверительнее продолжала Катрин, — я все хочу спросить: над чем ты сейчас работаешь, если, конечно, не секрет?

— Задумал большое историческое полотно «Гнев Провидца». Пока только наброски, эскизы, замыслы. Приходится дотошно изучать быт, нравы, скрупулезно вникать в дух времени. Иначе и оплошать недолго. Ты, разумеется, помнишь, что незнание эпохи уличило известных фальсификаторов. Написали курицу (Варезкин, конечно, же, спутал курицу с индюком, которого изобразил на медальоне известный фальсификатор Лотар Мальскат, на чем и попался), а она в то время еще не была домашней птицей, еще на стол ее не подавали. Не успели еще приручить. Вот так-то! — заключил Савелий.

— Значит, ты куриц тоже изучаешь? — удивленно спросила Катрин.

— Их я тоже изучаю, но исключительно в ресторациях, се ля ви, — Варезкин решил прифранцузиться.

— Ты, наверное, бывал в Париже? — с восхищением спросила Катрин.

— Как-то решил скуки ради слетать, да в Орли забастовку учинили, я, естественно, не стал дожидаться, пока они добьются своих законных прав, а позвонил одному корешу, и мы к нему на дачу закатали. Ну, а когда вернулся, то уже расхотелось лететь. Да что там о разных пустяках рассказывать. Не пойти ли нам к столу, небось заждались гости? — Варезкин обнял Катрин за хрупкую талию и повел в гостиную.

— А вот и наши молодые! — приветствовала Варезкина и Катрин Тереза Аркадьевна.

Все оживились. Снова пошли тосты в честь Катрин и, конечно же, в честь Варезкина, который, по словам хозяина дома, стал вторым украшением вечера после сиятельной дочери.

Савелию польстило такое сообщение, и он, высоко подняв рюмку и выплескивая содержимое на стол, объявил во всеуслышание:

— Дорогие гости! Считаю не только за честь, но и за свою прямую обязанность увековечить на холсте мою, то есть нашу милейшую Катрин Ген... — Савелий замешкался, так как вспомнить имя хозяина было затруднительно, затем сглотнул слюну и, широко улыбаясь, произнес: — Катрин батьковну! — После чего по-гусарски плеснул содержимое в рот и зашелся в кашле.

Его принялись услужливо хлопать по спине, отчего кашель только усугубился. Наконец, откашлявшись, Варезкин достал платок и вытер покрасневшие от слез глаза. Когда Савелий пришел в себя, Катрин прошептала ему на ухо:

— Когда мы начнем наш первый сеанс?

До Варезкина не сразу дошел смысл сказанного, но, перебрав все возможные толкования, он решительно заявил:

— Завтра, — потом подумал и добавил, — ровно в полдень я подам за тобой машину.

Неизвестно, что наговорил бы еще Савелий, если бы к нему не подошел Генрих Леопольдович и не пригласил к себе в кабинет.

— Дорогой Савелий Степанович, — интимно заговорил отец семейства, — я наслышан, что у вас несколько стесненные условия для вашей плодотворной работы. Поэтому, посоветовавшись, мы решили выделить вам достойную вашего таланта квартиру.

Савелий начал отказываться, но Генрих Леопольдович, теснее прижав Варезкина, убеждал:

— Никаких отказов. Вы ставите меня в неловкое положение. Квартира имеет два этажа. Второй специально предназначен под мастерскую. К тому же ордер у меня в кармане. Можете въезжать хоть завтра. — Генрих Леопольдович достал конверт и вложил его в уже протянутую ладонь Варезкина.

После чего они отметили это счастливое событие.

Когда Варезкин в обнимку с хозяином дома вышел из кабинета, гости уже разошлись. Из гостиной выпорхнуло милое созданище со вздернутым носиком и пропелетало:

— Значит, завтра в двенадцать я тебя жду.

Варезкин утвердительно кивнул, затем подрулил к Катрин и поцеловал ее в макушку. После чего облобызал достопочтенную Терезу Аркадьевну и, вытирая одной рукой губы, другой похлопал по плечу сухопарого хозяина дома, проговорил по слогам: «А... р-ри-видерчи!» — и удалился.

Радость распирала Варезкина. Улица ходила ходуном. Фонари стукались лбами друг о друга, кошки шаркались по подворотням, дома отвечивали Варезкину поклоны, деревья плотнее смыкали ряды, звезды подмигивали. Варезкин, счастливый и окрыленный, шествовал по улицам родного города, распевая во все горло: «Любо, братцы, любо. Любо, братцы, жить». Он попытался петь еще громче, но что-то мешало ему. Савелий сообразил — галстук. Он тут же его сорвал и, приплясывая, выбросил в мусорник.

В заключение Варезкин остановил машину, вальяжно развалился на заднем сиденье и на вопрос: «Куда едем?» — выдохнул:

— К цыганам!

«Что-то знобко и сыро...» — подумал Варежкин и с трудом продрал глаза. Солнце уже входило в раж. Савелий сидел, прислонившись к сосенке, отчего спина сделалась деревянной и чужой. «Куда ж это меня занесло?» — зашевелилось в опухшем сознании Варежкина. Он огляделся. Вокруг безмолствовал лес. Савелий попытался встать, но пронизывающая головная боль повергла его на место. Ощупав голову и убедившись, что она на месте, что руки и ноги целы, Варежкин воспрянул духом. «Целы ли деньги?» — забеспокоился он и полез во внутренний карман, откуда извлек бумажник и конверт. Остаток денег был при нем. В конверте оказался ордер. Варежкин стал с трудом вспоминать минувшее. Картины прояснялись, но до чеканной формы не дозревали.

«Потом разберемся», — решил Варежкин и, преодолевая серьезные неполадки в организме, медленно побрел на просвет в деревьях. Шоссе оказалось совсем близко, что влило в Варежкина новые жизненные соки. «Эх, добраться бы до каморки, а там...» — размышлял Варежкин.

А там его уже спозаранку ждали.

У Варежкина полезли из орбит глаза, когда он увидел сидящего на кушетке мужчину, который спокойно чистил картошку.

— Выпучивай глаза, выпучивай — сказал незнакомец, продолжая чистить картошку.

— А кто вы, собственно, такой будете и что делаете тут, в моем официальном доме? — набычившись и с угрозой в голосе произнес Варежкин.

Незнакомец продолжал невозмутимо заниматься прежним делом.

— Я, кажется, вас спрашиваю? — Варежкин надвигался на сидящего.

— Садись, Варежкин, и посмотри хорошенько в зеркало, — незнакомец достал карманное зеркальце и протянул Варежкину, — а потом посмотри хорошенько на меня, и не грохнись в обморок. Я за водой не побегу.

Варежкин сел. «Уж не брат ли единоутробный? — сделал предположение Варежкин. — Такое в индийских фильмах бывает».

— Не пугайся, я — не привидение, я тоже Савелий Степанович Варезкин. Я — твой двойник. — Незнакомец бросил картофелину в ведро и положил нож. — Скоро двенадцать. Тебе надо вызывать машину.

— Какую машину?

— Ту, в которую сядет Катрин, с которой ты отправишься писать ее портрет в свою новую мастерскую, а в недалеком будущем — в свадебное путешествие, которая наплодит тебе детей, поможет написать картину «Гнев Провидца» и будет вить из тебя веревки. Но это начнется в двенадцать часов, когда сутки распадутся надвое, как распались и мы с тобой, там, за Магнитной Стеной, вчера после полуночи.

— Какой двойник? Какие двенадцать часов? Какая стена? Я — есмь Варезкин, а не самозванец. Я сейчас позову Мефодьича. Он-то сразу укажет кто есть кто! — распался Варезкин.

— Не надо старика понапрасну беспокоить. Я тебе объясню все, что произошло вчера после полуночи. Нас раздвоили. Тебя отпустили восвояси. Ты спокойно прошел сквозь Стену и очутился здесь. Ты — это я, но с одним «но». Ты — ремесленник. Ты сможешь писать картины, но дара фантазии у тебя нет. Ты — прилежный копиист. Тебе не важно, что писать и для кого. Ты делаешь все, что тебе скажут, но не более. Ты не увидишь звезду, впаянную в кусок льда. Ты не сможешь постичь суть предмета, разять его и создать нечто новое, неизвестное, но такое же реальное, как этот стол, это ведро, этот свет за окном. Не ты в этом виноват. Тебя таким выпустили оттуда — из-за Стены.

— Допустим, что все, что ты говоришь, — правда. Но ты как очутился здесь?

— Ты помнишь мальчика? Если бы не он, ты бы никогда не увидел меня здесь. Это он вывел меня.

— Но как?

— Его доброта, его сострадание оказались сильнее их чудовищных приборов. Энергия его доброты и сострадания проплавили ход в Стене, нарушили взаимосвязь частиц поля. Он оказался сильнее их.

— Но где же он?

Дверь открылась, и на пороге появилась Сухарева со своим сыном.

— Вот мы и пришли. — Карина зашла, взглянула на оторопевшего Варезкина и сказала: — Иди, Савелий Самозванец. Тебя заждались. Скоро двенадцать.

Самозванец нелепо попятился к двери и выскочил в коридор.

— Савушка, где у тебя тряпки? — спросила Карина.

— Где-то в углу валяются.

Карина нашла тряпки, достала разбавитель, сняла со стены картину, и они с сыном начали сводить еще свежую краску, из-под которой постепенно, но неудержимо стало появляться солнце и наполнять ослепительным светом тусклую каморку.

ЧУДО ДЛЯ ДРУГИХ

I

То, что бывает в детстве, остается навсегда.

Мальчиком он иногда видел странный сон. Снилось, что он идет по цветущему лугу. И на его пути высится НЕЧТО. Красота? Счастье? Он не мог объяснить наяву. Во сне он понимал ЭТО.

Стоит приблизиться и протянуть руку, ОНО исчезает, и мальчик остается один в бескрайней степи, жесткой, как звериная шкура, выдубленной звездными дождями и гулким пространством. От страха он просыпался и долго цеплялся потом за краешек уплывающего бесследно НЕЧТО.

Сон преследовал мальчика только во время тяжелых простуд, когда температура поднималась почти до сорока и его горячее тело словно бы никак не помещалось в душной постели, а мать ночами плакала от бессилия, сидя возле его кровати с кружкой морса.

Он вырос и забыл тот сон.

Что это было? Ведь, в сущности, нам ничего не известно о том, что такое наш сон. Что есть человек? Вернее, человеческий мозг?

Нам только кажется, будто мы знаем что-то о себе.

Мальчика звали Витей. Со временем он стал Виктором Терентьевым, студентом физико-математического факультета. Рассказ о его жизни следует начать со дня 28 июня 19... года, когда он сдал последний экзамен летней сессии за третий курс.

Зайдя домой, он набил ненужными отныне учебниками авоську и отправился в университетскую библиотеку. Там он сдал книги, сунул авоську в карман и вышел на

тенистую улицу, готовый к двум месяцам сплошного безоблачного отдыха.

Радости нужна бесцельность. Он бродил по городу просто так. Зашел в Старую Крепость, долго слонялся по узким запутанным улочкам; булыжная мостовая делала шаги неровными и ломкими.

На террасе летнего кафе, под полосатым тентом, он выпил чашку кофе и снова углубился в булыжные лабиринты, направляемый той спокойной и нетребовательной радостью, которая присуща отжившим свое людям, но посещает изредка и двадцатилетних. Через красный зев Львиных ворот он покинул крепость и по горбатуму мостику через крепостной ров вошел в Парк Победы. Миновал гранитный обелиск, обогнул цветник, пруд с лебедями и попал на свое излюбленное место — детскую площадку, где когда-то сам качался на качелях и копался в песке. Сюда он приходил только в минуты радости. Усаживался на скамейку и позволял себе не думать ровным счетом ни о чем.

И вот теперь Виктора объяла удивительная эйфория — просто оттого, что он есть. Он ощутил все свое тело, свое существование в мире и весь мир как бесконечно яркое, праздничное, как само по себе изумительно прекрасное целое...

Такое ощущение не могло окончиться ничем, не могло бесследно погаснуть.

Он смотрел на играющих в песочнице детей, и внезапно ему стало ясно, ЧТО должно произойти, ЧТО сделает он, Виктор.

Над песочницей пойдет дождь из апельсинов.

Покамест это самому Виктору казалось забавной шуткой. Подумать только, ДОЖДЬ ИЗ АПЕЛЬСИНОВ...

Он необычайно ярко представил себе огненные крупные апельсины, мягко, точно снежные хлопья, кружащиеся в воздухе и опускающиеся на изрытый песок. На какой-то миг они стали для него осязаемы, обрели плотность, вес, запах; казалось, он вместе с ними парит в солнечном воздухе.

И тут пространство скрутилось в черную длинную трубу, и по ней песочница с детьми ринулась навстречу Виктору.

В воздухе витали апельсины.

Он не слышал, как вскрикнули мамы, как могучий ветер рванул купы деревьев и затих. Он потерял сознание.

Беспмятство длилось считанные секунды. Очнулся Виктор от боли, которая яростно ввинчивалась в его затылок, чуть выше основания черепа.

Над песочницей стоял крик. Мама и бабушки ловили детей, вырывали у них из рук апельсины и поспешно швыряли на песок. Дети ревели в голос. Их хватали поперек туловища, в охапку и тащили прочь. Будто не фрукты, а бомбы или гадюки свалились в парк с неба.

На Виктора никто не обращал ни малейшего внимания.

Отовсюду сбегались люди. Вокруг усыпанной апельсинами песочницы образовалось потрясенное безмолвное скопище. Виктор встал и начал протискиваться сквозь парализованную толпу.

— Дайте пройти, граждане, — говорил он тоном человека, облеченного властью. — Посторонитесь, граждане. Дайте же пройти...

Перед ним расступались. Он подошел к песочнице и нагнулся, морщась от головной боли.

— Не трогайте! — испуганно крикнули сзади.

Виктор коснулся апельсина — нет, не апельсина: воздушный волчок крутнулся в песке, и пальцы окунулись в пустоту. Второй плод точно так же исчез, не давшись в руки и оставив после себя песчаную воронку.

Кто-то из толпы присел на корточки и опасливо потрогал апельсины. Они остались целы. Тогда человек взял один, подбросил на ладони.

— У одних лопаются, у других — нет, — зашумели в толпе.

Человек, подобравший апельсин, ногтями содрал брызнувшую ароматом корку и разделил плод на дольки. Поколебался и в полной тишине отправил одну в рот. В толпе ахнули. Человек прожевал дольку.

— Нормально, — сказал он. — Настоящий.

Тогда люди стали — так осторожно, словно у них были стеклянные руки, — подбирать апельсины.

Виктор ошалело выбрался из толпы. У него невыносимо ломило в затылке. Он шел по городу, как канатоходец. Оказавшись на его пути, прохожие сворачивали в сторону. Дома он почувствовал такую усталость, словно

разгрузил эшелон апельсинов. Еле добрался до кровати и сразу провалился в сон.

Разбудил его стук входной двери — с работы вернулся отец.

— Сдал? — спросил отец.

— Четыре.

— Ну и ладно. Отдыхай.

Он снова заснул и проснулся поздним вечером. Кое-как поужинав, Виктор уселся за письменный стол и попытался подробнейшим образом вспомнить все, предшествовавшее апельсиновому дождю. Мысленно шаг за шагом он восстановил свою прогулку по крепости, по парку, потом — до последних мелочей — то, что он почувствовал, сидя на скамье. Он сосредоточился, пытаясь сотворить хоть один апельсин. Безуспешно. Лишь когда он напрягся всем телом, всем разумом, на столе появился и сразу исчез туманный шар, с кулак величиной. Тут же предельная концентрация сменилась расслабленностью и безразличием. Решив, что на сегодня хватит, Виктор улегся в постель и моментально заснул. Нечто внутри него властно требовало сна, как можно больше сна.

А утром, проснувшись и щурясь на солнце, жарко пронзавшее тюлевую занавеску, Виктор сразу вспомнил вчерашнее и, уставившись на стол, всем своим существом приказал: «АПЕЛЬСИН».

Занавеска взметнулась к потолку. На столе появился апельсин. В голове Виктора жарко провернулась боль.

Он встал, подошел к столу, осмотрел апельсин. Потом тронул его пальцем, и плод исчез. От воздушного толчка занавеска пузырем вылетела в открытую форточку. Виктор вздрогнул. Несколько минут он стоял неподвижно, стараясь обрести способность к хладнокровному рассуждению. Затем попробовал сотворить обыкновенную спичку. Мигом она возникла на столе, вызвав у Виктора лишь слабый укол головной боли.

Еще несколько минут ушли на раздумья. Потом Виктор начал ставить опыты.

Как и следовало ожидать, в плотно закупоренной бутылке спичка не появлялась. Стоило вынуть пробку, внутри бутылки удавалось сотворить и спичку, и даже предметы покрупнее, не пролезавшие в горлышко.

В ванной, где отсутствовал прямой солнечный свет, чудеса не получались.

Все сотворенные предметы мгновенно превращались в воздух от одного прикосновения. Ни перчатки, ни пинцет не меняли дела.

Предмет, сотворенный на весу, незамедлительно подчинялся закону всемирного тяготения. Встретив на пути свободного падения руку Виктора, предмет исчезал.

С разламывающейся от боли головой Виктор повалился на кровать. Он уяснил, что обладает способностью творить любые предметы из солнечных лучей и воздуха.

Оставалась одна неясность — хотя это и маловероятно, но предметы могли попадать к нему откуда-то извне. Немного поразмыслив, Виктор подошел к столу и сотворил двухкопеечную монету из чистого золота. Сомнения отпали. Он не переносил вещи в пространстве, он их творил.

Виктор прилег, но сквозь узловатую боль, ворочающуюся в мозгу, до него дошло, что он может творить золото. А второй мыслью была та, что он не может взять в руки ничего сотворенного. Он вскочил и кинулся к столу.

Действительно, золотая монетка обратилась в ничто от одного его касания. Та же участь постигла и платиновое кольцо, и неподобный бриллиант, размером со спичечную коробку.

Но ведь люди в парке брали апельсины!

Наспех позавтракав, Виктор надел костюм и выбежал на улицу. Он выбрал для опыта безлюдный переулок и, стиснув зубы от боли, сотворил на тротуаре кошелек. Перешел на другую сторону, стал ждать. Первый же прохожий поднял кошелек, не нашел в нем ничего и бросил находку. А от прикосновения руки Виктора кошелек исчез.

Домой Виктор вернулся в полном разброде мыслей. Теперь он окончательно уяснил границы своего невероятного дара. Виктор мог творить любые предметы практически из ничего, силой своего воображения, но ни в малейшей мере не мог ими распоряжаться. Пользоваться сотворенным мог кто угодно, но никак не сам творец. Сотворение предметов причиняло Виктору физические мучения, возрастающие прямо пропорционально массе создаваемых вещей.

Все это весьма и весьма смахивало на сказку. На досуге Виктор охотно полистал бы такую забавную историю, да вот беда — он был ее главным героем...

Остаток дня Виктор провел в безнадежных раздумьях, к которым примешивалась непрестанная боль. Никакие таблетки не помогали. Единственным действенным средством был долгий сон.

Ночью пошел дождь, продолжавшийся целые сутки кряду. Творить Виктор не мог. Весь день он не выходил из дома, рассуждал над своим положением.

Дождь лил за окном, превращая стекло в текучую слепую пелену. Капли клевали подоконник. Виктор думал.

У него имелось три выхода. Первый — забыть о случившемся, вообще ничего не творить, а значит, не терзаться головной болью. Но человеку, который способен делать чудеса, не так-то легко отказаться от своего умения, пусть даже причиняющего муки.

Второй выход — бескорыстно творить чудеса для других. Еще совсем недавно это было бы для него естественным выбором. Но в последнее время Виктор все яснее замечал, что большинство окружающих его людей гораздо менее отзывчивы, чем он. Все больше он раздумывал над этим. А стоит человеку начать размышлять над собственной добротой, он сразу начинает ее утрачивать. Словом, Виктор стал разочаровываться в идеале бескорыстного служения другим. Теперь если он и проявлял благородство, то не от души, а скорее по инерции... И все же Виктор сознавал, что происходивший в нем перелом был несчастьем.

Чудо подстерегло его как раз в минуту выбора. Нынешняя ситуация казалась мрачной пародией на его прежний образ жизни, на юношеский альтруизм, с которым он только-только начал расставаться.

Что касается третьего выхода, то даже мысль о нем пахла нечистоплотностью. Выход состоял в том, чтобы найти посредника для тайной распродажи сотворяемых сокровищ. Это сулило наибольшую определенность и ясность действий. Рассудком нетрудно было оценить всю притягательность третьего пути — до тех пор, пока в силу не вступали нравственные тормоза. Виктор не умел торговать, тем более — собой и своими

мучениями. Даже через посредника он не продал бы и медного колечка.

Все-таки мысль о третьем выходе оказалась пугающе навязчивой. Что поделать, Виктора буквально лихорадило при мысли о том, какой роскоши и власти мог бы достичь более оборотистый и менее совестливый человек. Искушение исподволь подтачивало его волю.

Лишь перед сном Виктора осенило. Сосредоточившись на материальных делах, он совсем забыл о сфере духа. Он упустил из виду славу. Да, слава отыскала бы его с резвостью гончей собаки, но прежде требовалось изобрести способ возвестить миру о себе, не угодив прямоком в психиатрическую клинику. И кроме того, раскрыть такую тайну было бы слишком серьезным и необратимым шагом.

Проявись бессонницей полночи, обуреваемый жаждой хоть какого-нибудь действия, Виктор решил произвести в городе сенсацию. При этом сам он должен был оставаться в тени. Для начала пусть все поймут, что в городе творятся чудеса.

К утру дождь кончился, и засияло солнце.

Ровно в половине одиннадцатого Виктор уселся в сквере напротив драмтеатра и плотно оперся на спинку скамьи. Боясь, что боль окажется невыносимой, он медлил. Наконец решился и мысленно очертил контур дерева — от разлапистой кроны до мощных, уходящих в толщу земли корней. И когда боль знакомо въелась в затылок, он чуть расслабился и замедлил материализацию, балансируя на грани обморока. Из всех сил Виктор тормозил огромное, захлестывающее его сотворение, чтобы боль не достигла шоковой точки.

Он задыхался внутри черной трубы, высасывавшей его мозг, но воля не ослабевала. Впервые чудо происходило не мгновенно, и он отчетливо видел, как воздух гигантской воронкой ввинчивается в почву, сияет ярко-голубыми спиралями, и внутри твердеющего прозрачного смерча вверх и вниз скачут огненные змейки. Он весь переселился в дерево, сам стал им, бросив свое скрюченное болью тело на скамейке, и распрямился, чувствуя, как его корни уверенно и прочно вползают в землю, и пышная крона распаивается навстречу ветру...

А потом его словно пружиной рвануло назад, сквозь черную трубу, в беспамятство, и он очнулся, лежа навзничь на скамейке. Цепляясь трясущимися руками за ее спинку, он сел и огляделся. Вокруг высокой, стройной, тихо шелестящей пальмы собирались люди. Одни стояли на газоне широким кольцом, другие бежали туда, к центру всеобщего изумления, переходили на шаг, врезавшись в вязкую, тяжелую тишину, и замирали. Никто не заметил бледного, как кость, юношу, который встал со скамейки и, медленно передвигая ноги, пошел прочь.

Виктора невыносимо мутило; боль ворочалась в голове, точно ржавый ключ. Он еле добрался до дома и, свалившись на диван, заснул мертвым сном.

Его разбудила мама.

— Витя! Ты что — выпил?!

Он с трудом осознал, что лежит на диване одетый, что в комнате сумерки и что мама укрыла его ноги пледом.

— Нет, — пробормотал он. — Честное слово, не пил. Голова что-то заболела...

— Ну что это за привычка — спать днем? Иди скорей смотреть телевизор. Это что-то невероятное...

Он встал, ощущая во всем теле пустоту и дрожь, вошел в комнату родителей и сел на стул. Передавали сообщение городского телецентра. Мама и отец, не отрываясь, уставились в экран телевизора, где на фоне драмтеатра в сиянии солнца высилась великолепная пальма, окруженная со всех сторон толпой.

Диктор говорил взволнованно, быстро, словно спортивный комментатор. До Виктора смысл услышанного доходил не сразу. Все же он понял, что город ошеломлен случившимся, и появление пальмы среди бела дня, на глазах у многочисленных свидетелей, пока не могут объяснить ничем иным, кроме как вмешательством Пришельцев из космоса.

Пальму на экране сменили кудрявая дикторша и пожилой человек с бородкой и в очках, сидевшие в мягких креслах. Дикторша представила человека в очках, оказавшегося профессором-астрофизиком, и попросила его прокомментировать событие.

Профессор прежде всего поспешил успокоить зрителей. Да, в городе происходит необъяснимое: дождь из апельсинов, появление пальмы неизвестного науке вида

в сквере у драмтеатра. Специалисты склонны полагать, что это продукт деятельности космических Пришельцев. Но оснований для беспокойства нет. Даже ребенку понятно, что неземные существа ведут себя самым мирным образом. И это естественно, ведь высокоорганизованный разум — прежде всего неспособен причинить зло. Бульварные фантасты, пишущие о кровопролитных космических войнах, упускают из виду, что чем выше уровень развития цивилизации, тем меньше у нее необходимости воевать. Зло неразумно, оно вне логики, поэтому наделенные могущественным разумом Пришельцы безусловно добры. Они начинают знакомство не с бомб и лучей смерти, а с невинных чудес вроде апельсинов для детей или пальмы на газоне. Видимо, они хотят проверить нас, узнать, как земляне ведут себя при встрече со сверхъестественным. И заодно психологически подготовить нас к своему появлению, к долгожданному контакту после многолетних наблюдений с так называемых летающих тарелок.

— Как вы относитесь к тому, что некоторые жители стараются спешно выехать из города? — спросила дикторша.

Ученый пожал плечами.

— Они просто рискуют не увидеть воочию самое замечательное событие в истории человечества — первую встречу с братьями по разуму.

— Вы уверены, что Пришельцы настроены дружелюбно?

— Абсолютно. Если это враги, готовящие нападение, зачем им обнаруживать свое присутствие? Далее, посадка пальмы — безусловно дружеский жест и вполне понятный символ. Я прошу всех жителей города сохранять достоинство, выдержку и благоразумие. Мы ни в коем случае не должны выглядеть, как перепуганные дикари. В противном случае Контакт с Пришельцами может и не состояться. Помните, сейчас каждый из нас в ответе перед человечеством за Контакт. Благодарю за внимание.

Во весь экран появилась заставка с цифрами 563188.

— Уважаемые товарищи, запишите этот телефон, — послышался голос диктора. — Три часа назад был организован Комитет по неземным явлениям, в работе которого примут участие виднейшие ученые нашей

страны и всего мира. По телефону вы можете обратиться к нам в любое время, если столкнетесь с неземным явлением природы. Обо всем происходящем вы узнаете через час из следующего экстренного выпуска новостей. Всего вам доброго. Запомните телефон Комитета: 563188. Учтите, ложные звонки могут помешать работе Комитета и, возможно, Контакту.

На фоне цифр появилась цветная фотография пальмы.

Виктор встал и вышел в прихожую.

Сел возле телефона, снял трубку, набрал номер. Послышались гудки. Потом трубку сняла женщина.

— Алло?

— Алло, — торопливо заговорил Виктор. — Извините, пожалуйста, если поздно. Можно Зою к телефону?

— А кто ее спрашивает?

— Скажите, Витя. Если она не захочет говорить со мной, скажите, это очень важно. Вопрос жизни и смерти.

— Ну-ну... — Слышно было, как женщина сказала: «Это тебя. Вопрос жизни и смерти».

— Не умирайте, Витя, она сейчас подойдет.

— Спасибо, постараюсь.

В трубке послышались быстрые шаги Зои.

— Я слушаю.

— Здравствуй, Заяц. Извини, если поздно.

— Слушай, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты меня не называл этим дурацким прозвищем?

— Ну ладно, ну Зоя, ну Зоя Николаевна... Прости.

— И я удивляюсь, как ты еще можешь звонить...

— Очень просто. У меня дело. Потрясающей важности.

— Лучше позвони в Комитет неземных явлений, если так. Телефон знаешь?

— Они тоже никуда от меня не денутся. Но я хочу поговорить с тобой, и не по телефону. Лучше всего завтра, днем. Учти, я очень серьезно.

— Ну что ж. Завтра в два на ступеньках, идет?

— Хорошо. Спокойной ночи.

Он положил трубку.

Рано или поздно тайне становится тесно в человеке.

В ту ночь на всем земном шаре стучали телетайпы и надрывались телефоны. Газетные типографии спешно печатали экстренные выпуски с аршинными заголовками. Телекомпании выкладывали бешеные суммы за

одну минуту прямой трансляции из Большого Города. Со всех сторон в город неслись депеши, автомобили, самолеты спецрейсов с дипломатами и корреспондентами на борту. Мир лихорадило.

Винovníк вселенского переполюха мирно спал и видел во сне, что он идет по цветущему лугу и впереди высится НЕЧТО, может, Счастье, а может, Красота и, быть может, на этот раз ОНО не исчезнет, не оставит его одного в бескрайней степи...

2

...А солнце посылало свои лучи в черную бесконечность пространства, и ничтожнейшая их доля достигала Земли — голубой ягоды космоса, чья воздушная мякоть весит 5000000000000000 тонн.

Кому из нас известно, что такое солнце? Только ли колоссальный сгусток энергии? И кто из нас может сказать, из чего, из каких частичек, или волн, или пульсаций состоят воздух, апельсин, Вселенная?

Что такое мы? Одна из величайших загадок мира заключена в каждом из нас, за нашим лбом, в круглой костяной коробочке, и быть может, эта загадка еще не обрела свое подлинное предназначение.

Кто знает?

Казалось, весь город вышел на украшенные флагами улицы. Скорее всего, так оно и было. Ожесточенно гудящие машины медленно плыли по мостовым, подхваченные поводом толпы. Лимузины с белыми дипломатическими номерами. Микроавтобусы киностудий с кинооператорами, сидящими на крышах по-турецки. Громадные неповоротливые автофургоны цветного телевидения. Лимонные машины ГАИ с включенными мигалками, через мегафоны безуспешно требовавшие очистить проезжую часть. Сверкающие «Икарусы», до отказа набитые фотокорреспондентами. Военные регулировщики в аспидной форме и белых касках тщетно пытались освободить перекрестки. Милиционеров с мегафонами было так много, что их перестали замечать. Бессмысленно перемигивались светофоры. Пожалуй, никто в городе не мог бы толком объяснить, куда и зачем он идет.

За ночь на столбах установили серые груши громкоговорителей. Вовсю гремели бравурные марши. Время от времени музыка умолкала, и диктор начинал торжественную речь о Пришельцах, о Контакте, просил граждан соблюдать спокойствие и порядок. После каждого сообщения повторяли телефоны Комитета, основной и добавочный, снова и снова просили не обращаться в Комитет за справками, не звонить по любому поводу.

На крышах толпились люди с театральными и призматическими биноклями. Бурным всеобщим ликованием было встречено переданное по трансляции известие о замеченной где-то в штате Миннесота летающей тарелке.

На всем лежал отпечаток громадного ожидания.

В тот день, наверно, только Виктор вышел на улицу без фотоаппарата. Стоя высоко на ступеньках университета, он вглядывался в запруженный людьми бульвар, ища Зою. Она появилась в половине третьего — выскользнула из толпы и, не переводя дыхания, взбежала по ступенькам.

— Сумасшедший день, — сказала она вместо приветствия. — Думала, вообще не дойду...

Она держалась спокойно, на удивление спокойно, тем самым ясно давая Виктору понять, что, хотя она и согласилась прийти, это еще ровным счетом ничего не значит.

Они пробрались сквозь толпу на площадь перед Домом Лектора, обогнули его приземистое пряничное здание и попали в Парк Двоих. Как ни странно, им сразу удалось найти незанятую двухместную скамейку в нише сиреневых кустов.

Отсюда им видны были крыша университета, грузная твердыня Орловской башни, возвышавшаяся вдалеке над деревьями, и очередь, широкими зигзагами тянувшаяся от Дома Лектора в парк и почти достигавшая клумбы с римским фонтаном. По главной лиственной анфиладе парка поспешно шагали группки людей и впадали в безостановочно катящиеся по Петровскому бульвару толпы.

— Ну так что ты мне хочешь сказать? — спросила Зоя.

— Прежде всего то, что я был неправ.

— Согласна. Но понимаешь, Витя... — она подыскивала слова. — Что было, то было. Я не знаю, кто у кого

должен просить прощения. Скорее всего, мы оба. И давай не будем больше на эту тему.

Слова ее звучали не прощением, а отповедью. Но все-таки она пришла. Все-таки. Виктор промолчал.

— Выходит, ты позвал меня только для того, чтобы попросить прощения? Так?

— Будем думать, что так.

— Поздно, Витя. Просто поздно. И давай закончим этот разговор.

— Это твое последнее слово?

— Да. И поверь, я все-таки очень хорошо к тебе отношусь.

Нет ничего печальнее, чем когда девушка говорит, что она хорошо к тебе относится.

— Ладно, — сказал Виктор. Ее тон не вызывал никаких сомнений относительно того, что все кончено. Но так они могли поговорить и по телефону, ей вовсе незначем было приходить...

Виктор чуть подвинулся на скамейке, чтобы сирень не заслоняла ему солнца.

— Отодвигаешься? — насмешливо спросила Зоя.

Он не ответил. Немного помедлил, собираясь с духом.

— Протяни руку, — велел он.

— Ты разве не понял, что я сказала?

— Протяни не мне. Просто перед собой. Вот так, ладонью вверх.

В замешательстве она подставила солнцу ладонь.

— Ну и?..

Ветви сирени дрогнули. Вдохнул ветер, и в центре этого звука, на ладони Зои, возникло яблоко. Зоя вско-чила.

— Что это?!

— Яблоко. Попробуй, должно быть, сладкое.

Зоя онемело уставилась на Виктора.

— Ну да, это я его сотворил, — сказал он. — И яблоко, и пальму, и дождь из апельсинов. Все это я.

— Ты что, с ума сошел?..

— Нет. Вот оно, яблоко. Я мог бы вырастить еще одну пальму. В доказательство. Но от этого очень голова болит. Так что поверь на слово.

Зоя выронила яблоко, ойкнула, нагнулась за ним.

— Дай сюда, оно теперь немывтое, — приказал Виктор.

Их руки встретились, и яблоко пропало, дунув на прощание в ладони.

— Как же это... — Зоя растерянно огляделась, словно бы ища пропажу. — Это — ты?.. Как ты это делаешь?! И он рассказал ей все.

— Понимаешь, я совсем не подумал, что начнется вся эта суматоха с Пришельцами, — заключил он. — Хотя, конечно, как же иначе? Теперь, выходит, я разыграл весь мир. Даже неловко как-то признаваться. Ждали Пришельцев, а оказалось, просто студент Терентьев баловаться изволил.

— А ТЫ УВЕРЕН, ЧТО ЭТО НЕ ПРИШЕЛЬЦЫ? — спросила Зоя.

— Н-нет, — сказал он. — Не может быть.

— Подумай хорошенько.

— Нет. Зачем это им?

— Очень просто. Они испытывают землянина. Выясняют, как поведет себя всемогущий человек. Может, потому тебе ничего и не дается в руки? Может, такова программа испытания?

— Нет.

— Подумай. Тогда откуда это?

— Нет, — упрямо повторил Виктор. — Я сам.

Он был потрясен ее догадкой.

— В любом случае надо, чтобы тебя исследовали.

— Ты думаешь? А вот я еще не решил. Дай мне сначала самому во всем разобраться. Подопытным кроликом побыть всегда успею... — Он нервно засмеялся. — Я же и так все знаю. Я могу фокусировать энергию солнца и изменять структуру воздуха на уровне элементарных частиц. Понятно? Ничего тебе не понятно. Это же дает мне неограниченную власть над миром. То есть шире — над материей. Ясно?

— Да ты что?!

— Я ничего. Пока я ничего не решил.

— Неужели ты будешь держать это в тайне?

— Почему бы и нет?

-- Тогда я сейчас же позвоню в Комитет...

— И что скажешь? Брось. Ты же попадешь в сумасшедший дом, только и всего.

Зоя замолчала, впившись глазами в лицо Виктора.

— Послушай, — сказал он, меняя тон. — Я понимаю, я говорю дикие вещи. Страшные. Но представь себя в моей шкуре. Помоги, Зоя. Честное слово, я боюсь свихнуться от всего этого. Если еще не свихнулся.

— Похоже, что так оно и есть.

— Ну извини, извини... Я же не в себе.

Зоя задумалась.

— Ты понимаешь, сколько всего ты можешь сделать? — спросила она.

— Чего?

— Да все, что угодно. Мало ли в чем нуждаются люди...

Виктор сцепил руки на коленях и глубоко вздохнул.

— Так, — сказал он. — Теперь послушай. Начнем с того, что, в принципе, я могу завалить весь мир хлебом. Или золотом. Чем угодно. Вообще — представим, что у людей будет все. Любые вещи. Разве главное в этом? Тогда в чем оно? Ну ладно, я устрою золотой век. А не станут люди стадом поросят вокруг дармовой кормушки? А? Ну ладно, ладно, я переборщил... Или, представь, я завалю всю планету золотом. Так оно же просто обесценится. Найдется другой эквивалент. Люди же не могут без ценностей. Не те, так эти ценности, кому какие по душе. Деньги, слава и все такое... А я вот пришел и отнял все эти побрякушки. Оно ведь обидится, человечество-то, оно ребенок еще...

— Противно, — сказала Зоя. — Ух, как ты противно кривляешься. Эх ты, пальмовод несчастный. Иди! Иди — вон, видишь, старуха плетется? У нее пенсия меньше твоих карманных денег. Набей ей кошелку колбасой! А чтоб голова не болела, выпей анальгину. Вот так. Понял?

— Анальгин не помогает. Если б ты знала, какая это боль. Словно раскаленный кол всаживают в загривок. Правда, чем меньше предмет, чем легче.

— Как же ты пальму сажал, герой? Хоть соображаешь, что за кашу ты заварил?

— Да мне плевать на это! Я же все могу, все! Но мне что за это будет, мне-то самому, мне-е?! Что, кроме головной боли?!

— Какая же ты скотина, оказывается, — тихо ахнула Зоя.

— Пускай скотина. Я могу делать даром, в конце концов. Но все, всегда, всю жизнь, все другим, а себе — шиш, это ты понимаешь?! Ну что — памятник поставят? Да? Памятник?!

Его лицо страшно искривилось. Глаза расширились и с нечеловеческим иступлением вперились в газон. Ветер рухнул на парк, как гора. Виктор скорчился, повалился со скамейки.

Зоя вскрикнула. Бросилась к нему, перевернула на спину. Виктор жалобно застонал и открыл глаза.

— Помоги, — проговорил он.

Зоя с трудом подняла его и усадила на скамейку.

Перед ними на газоне возвышалась сияющая статуя Виктора в полный рост. На ее блеск больно было глядеть.

— Кристаллический углерод, — сказал Виктор, кривясь от боли. — То есть алмаз. Памятник из бриллианта чистой воды.

К газону сбегались люди.

— Тебе больно? — спросила Зоя.

— Не то слово. Ох...

Толпа захлестнула газон. Слышались возгласы: «Что это?! Живой?.. В скафандре?. Какая статуя?..»

Вдруг какой-то человек в полосатой рубашке навывпуск, с болтающимся на груди «ФЭДом» задрал голову и, сложив ладони рупором, крикнул в небо:

— Э-эй!

Наступила мертвая тишина.

— Э-эй, где вы-ы?..

Кто-то не вынес напряжения и хихикнул.

Зоя сидела, сжав губы.

— Дурость, — наконец сказала она, — Никак от тебя не ожидала.

— Да, глупо, — покорно согласился Виктор. — Подожди.

Он встал и, пошатываясь, пошел к толпе.

— Это я! — крикнул он.

Все обернулись в изумлении.

— Я сидел здесь! И вдруг — моя статуя! Из ничего...

Вспыхнул блиц. «Правда, это он... Прямо копия... Дайте же посмотреть, не вижу... Не толкайтесь...»

Люди расступались, пропуская Виктора к памятнику. Рука его протянулась к ослепительной поверхности и

уткнулась в пустоту, в яростный порыв ветра, как бревно, прокатившийся по стриженной траве.

Послышались испуганные крики. Никто не пострадал, но случившееся было слишком непостижимо.

— Скорее звоните в Комитет! — закричал кто-то.

Несколько добровольцев рысью бросились по аллее. Виктор пошел назад, к Зое.

— Эй, куда вы?

— Звонить, — через плечо ответил он.

— 563188!

— Спасибо, я помню.

Зоя поднялась со скамейки ему навстречу. Быстрым шагом они пошли через парк в сторону аэровокзала.

— Мальчишество, идиотство... — бормотал Виктор. — Прости. Затмение какое-то нашло...

— Ты ведешь себя, как дитя, — сказала Зоя. — Тоже мне, Христос, Наполеон и Терентьев, теплая компания. Я тебя просто не узнаю.

— Я сам себя не узнаю. Погоди, мне плохо.

Они остановились.

— Знаешь, — заговорил Виктор, — все это я сгоряча. Я буду делать добро. Иначе просто нельзя, не могу. Только вот — как, с какого боку?.. А то, что я наговорил, — просто голова закружилась. Знаешь, в каждом сидит свой личный ангел-подонок. У кого большой, у кого маленький. Главное, вовремя взять его за глотку...

— Болит? — спросила Зоя, трогая его за рукав.

— Уже легче. С пальмой хуже было. Может, привык?

— А что с ногами?

— Слабость просто. Знаешь, я сяду.

Виктор постелил пиджак прямо на травяной обочине дорожки и сел.

— Садись, — пригласил он Зою.

Она помедлила и села рядом.

— Вот что я хочу сказать, — начал Виктор. — Пожалуйста, пойми. Я никогда не был корыстным. Вообще-то о себе такое не говорят, но ты же не дашь соврать. Я всегда помогал, чем мог, — тебе, друзьям, всем. Мне не в чем себя упрекнуть. И вот однажды мне все просто опостылело, обидно стало — все раздавать, себя раздавать, и никто, понимаешь, никому нет дела до тебя. А ведь мне тоже надо что-то. Меня же звали, только если плохо. А когда мне было невмоготу, я терпел в оди-

ночку — из гордости. Но нельзя же вот так, вечно поступать собой. Рано или поздно сломаешься. И у нас с тобой вышло именно так...

— Да.

— Когда люди вдвоем, один из них должен все время отдавать, уступать, подчиняться... Себя терять ради другого. И я устал от этой роли. Мне стало не под силу. И я захотел, чтобы мне тоже хоть что-то, хоть капельку дали... Ты понимаешь?

— Да.

— Не денег, не славы, не власти — тепла хочу, обыкновенного людского тепла, даже не благодарности, просто так... Я не озлобился, я просто надорвался... Что ты говоришь?

— Я говорю, тебе будет благодарен весь мир.

— Но что будут любить — мои благодеяния или меня?

— Ты и есть твои благодеяния.

— Думаешь? Нет, подарку не нужно ответное тепло. Оно нужно дарителю. Только глупо это тепло требовать, вот в чем вся штука. Получается не доброта, а купля-продажа какая-то... И выходит, что дарителю никто ничего не должен...

— Каждый должен столько, сколько может. А ты можешь все.

— Я вещи могу, — ответил Виктор. — Одни только вещи. А как же все остальное?

Они помолчали.

— Какой ты был добрый... — сказала Зоя. — Я сейчас вспоминаю, какой ты был добрый... Я спросить хочу — ты не обидишься?

— Нет.

— По-моему, ты говоришь правду. Но, извини, чуточку это похоже на театр. Витя, ты только не обижайся. Скажи, ты правда не позировешь передо мной?

— Позировать? — Он посмотрел ей в глаза. — Зачем?

И в его взгляде Зоя увидела одиночество, равное смерти. Простота и безнадежность космоса, горькая, непосильная для человека.

— Прости.

— Ничего. Ты спросила, я ответил.

— Нет, я о другом. Я никогда ведь не думала, что у тебя творится в душе. Ну добрый он добрый и есть.

— Просто мы разные люди.

— Нет, — сказала Зоя. — В основе, в глубине все люди одинаковы. Разве нет?

— Может быть.

Зоя, сощурилась, смотрела на солнце.

— Наверное, я ожесточился, — сказал Виктор.

— Ты говорил, надо очень сильно сосредоточиться? — вдруг спросила Зоя.

— Да. Предельно.

— Протяни руку.

Оба замерли в предчувствии того, что должно было произойти. Не могло не произойти.

Словно невидимая птица порхнула между ними. Мгновение вздохнуло, напряглось и разрешилось большим спелым яблоком. Виктор стиснул его пальцами.

— Вот, — сказала Зоя.

НОЧЬ В ИНОМ ИЗМЕРЕНИИ

От злости двоилось в глазах. Он нарочно пошел домой пешком, чтобы остыть и успокоиться, но это не удавалось. Дрожал каждый нерв. Как опостылевшая, заезженная пластинка, которую без конца крутит сосед за стеной, в бесчисленный раз повторялся в памяти Кудашова разговор с Дробининым. Руководитель в открытую потешался, и противоречить его издевательским доводам было бесполезно и бессмысленно, но Кудашов унизился до спора и теперь страдал.

Два года отсидел он за чертежами, чтобы однажды с победным видом явиться в кабинет Дробинина, придержать того, вечно куда-то убегающего, за рукав и развернуть чертеж.

Дробинин быстрым, смекалистым взглядом скользнул по листу. Конечно, он сразу догадался, какую штуку выдумал Кудашов. Но криков восторга не раздалось. Лицо руководителя вмиг сделалось скучным, даже досадливым. Чуть помедлив, он утомленно спросил:

— Что это?

Кудашов опешил. Он еще надеялся, что Дробинин его разыгрывает. Когда они учились в институте, шутки друга делались достоянием факультета. Но Косте Кудашову сейчас было не до острот. Он ответил пламенными восклицаниями:

— Установка! Пятая линия потока! Безупречная точность! Освобождается целая бригада! А качество?

Дробинин уселся за стол, скорбно подпер рукой массивную голову и посмотрел на Константина с соболезнованием:

— Долго — ковырялся-то?

— Ночами сидел, — похвастал тот.

— Ночами... — вздохнул Дробинин. — Спать надо по ночам.

— Может быть, ближе к делу? — дружелюбно намекнул Кудашов.

— А нет никакого дела, — иронически отозвался Дробинин. — Славенький автоматик. Придуманно хитро. Да ведь я и не сомневался, что ты у нас — башка!

У Константина был порыв скрепить успех рукопожатием. Однако Дробинин руки не подал. Не поднимая лобастой головы, он выбрался из-за стола и принялся в томлении прогуливаться по ковровой дорожке. Вид у него был глубокомысленный и даже как будто огорченный.

— Значит, монтируем? — напомнил о себе Кудашов.

— Что монтировать? — изрек Дробинин мрачно. — Рабочий день кончился, этаж пустовал, голос руководителя раздавался в неживой тишине. — Ставить-то, родимый, нечего. Чертеж к потоку не прикрепишь. Из пластилина сей мудрый автомат тоже не вылепишь. Его, мил друг, где-то изготовить надо. Тут я вижу детали, которых ни один завод не выпускает. Так что тащи чертеж домой. Когда обзаведешься детишками, будешь показывать им, какой у них отец изобретатель.

Напрасно Кудашов метался у стола, выразительно взмахивая руками над чертежом, убеждал заказать автомат в экспериментальном цехе другого завода.

— А меня оттуда — в шею! — подзадоривал Дробинин.

— Попробуем у себя — в ремонтных мастерских! — горячился Кудашов.

— Ха! Будто ты не знаешь наших мастерских! Два верстака и станок токарный, а тут — точное литье!

— Сам формы сделаю, — клялся Кудашов. — Дашь командировку на литейный завод?

— Прыткий ты, батенька! По какой же это статье расхода я тебя в металлургию командирую? По обмену опытом? — резвился Дробинин и так же иронически предлагал: — Ты в общество изобретателей обратись. Авось, там помогут.

— И обращусь! — возмутился Кудашов.

— На здоровье. Только не в рабочее время, пожалуйста. Не в ущерб дисциплине, так сказать. Я ведь тебя за добросовестность ценю в первую очередь. Так что —

пользуясь почтовой перепиской. Это очень удобно и времени отнимает меньше.

Кудашов стал заискивать:

— Нам рабочие на комбинат требуются? Требуются! А тут целая бригада на потоке высвобождается, а? В другом цехе она, может, нужнее.

— Бригада мне погоды не сделает, — возражал Дробинин. — Зачем ее высвобождать? Люди привыкли. Операции за считанные секунды выполняют. Совсем незачем их с места на место переставлять.

— Качество! — застонал Кудашов.

— Ну, милый! Качеством нас пока не попрекали. Вот укажут — тогда приструним кого надо. Всего и делов!

Кудашов негодовал. Он сворачивал чертеж в тугую трубку с таким выражением, будто душил змею. Не протысясь, выскочил вон. Он жалел себя. Жалел до омерзения. Мысли о собственной наивности, о напрасном подвижничестве были неотчетливыми и почему-то путались с воспоминаниями о том, как ночами, пока он возился с расчетами, за стеной переливался упительный смех соседки Алины Ланской, рокотал незнакомый мужской голос. Вскоре в комнате Ланской стал кричать по ночам младенец. Плач ребенка отвлекал Кудашова. Иногда он печально задумывался, отчего его самого так упорно минуют немудреные радости быта: семья, дети, достаток... Чтобы отогнать грусть, он мыслил о своем особом предназначении. Отдаленно видел себя ведущим инженером, признанным изобретателем. Что ни говори, а надоело жить безликим. День за днем барахтаться в мелких производственных неурядицах. В душе вызрела потребность преобразований. Он вдохновенно взялся конструировать автомат... Теперь ему хотелось растерзать злополучное изобретение в клочья. Но утолять ярость на глазах прохожих Константин позволить себе не мог. На него и так поглядывали с опаской. Он шел в распахнутом пальто, галстук ветром закинуло на плечо, верхние пуговицы рубашки он оборвал еще в кабинете Дробинина, а кепку и перчатки забыл в гардеробе. Мокрый ветер ранней весны трепал его волосы, поднимал их дыбом над сухошавым костистым лицом. Крупные серые глаза от отчаяния и злости светились серебром, как лунные осколки. Чертеж рвался из рук. Картон грохотал, как жесть.

Кудашову казалось, что под напорами ветра весь город колеблется, будто отраженный в воде. Плавный танец исполняли стволы на бульваре, шевелился асфальт, едва уловимыми волнами колыхались каменные громады зданий. Силуэты прохожих дрожали и множились, как тугие потревоженные струны. Собственное тело тоже ощущалось трепетным и непрочным: не то вот-вот растечется клейким пятном по тротуару, не то ветер разнесет его, как водянистую пыль.

Пляску предметов вокруг и это незнакомое чувство телесной непрочности Кудашов объяснял крайним возбуждением нервов. Всерьез пугало его другое: по времени давно должны были сомкнуться весенние сумерки, а между тем пламенел золотисто-оранжевый, невероятно резкий свет. Кудашов озираясь, стараясь сообразить, откуда льются удивительные лучи. Недалеко от его дома в просвете между зданиями открылся незастроенный пустырь. Над ним ветер сдвинул поле облаков — и там полыхало слишком косматое для закатного часа незнакомое солнце. Небо по сторонам сделалось изумрудным. В пожарном полыхании возмущенного светила Кудашов, изрядно напуганный, заметил, что шаткие контуры его города пересечены недвижными очертаниями каких-то чужих строений. У Кудашова захватило дух от их великолепия, даже страх растворился перед дивной, призрачной красотой. Будто вырубленные из малахитовых и лазуритовых скал, стояли высокие дворцы. Фасады украшали мраморные барельефы, литые бронзовые орнаменты, статуи цвета слоновой кости. Туманно тая, еще чернел перед глазами Кудашова ряд голых лип на бульваре, но статные, в глянцевой зелени деревья, пестрые травы газонов уже окружали его. Теперь неподдельные настолько, что к ним можно было прикоснуться.

Происходило нечто, сильно и недвусмысленно сходное с безумием. Однако если Кудашов еще сознавал себя, значит с ума он все-таки не сошел или сошел, но не окончательно.

— Спокойствие... — забормотал он вслух, овладевая собой. — Вероятнее всего, я вижу сон. Наверное, сел в трамвай и заснул. Бывает. Но я не садился в трамвай! Так... Восстановим события. Я расстался с Дробининым, вышел за проходную. Было сумеречно, ветрено, сыро...

Пошел пешком, чтобы остыть... Все понятно! Нервное перевозбуждение, сердечные спазмы — я рухнул в обморок на бульваре — и это обморочные видения.

Тем временем Кудашов брел вдоль изумительных зданий. Свежая листва деревьев пахла каким-то терпким соком. Он улавливал щебет, посвистывание: это, скрытые в кронах, раскричались вокруг него птицы.

«Нет, со мной не обморок, — безо всякого отчаяния, а скорее даже удовлетворенно подумал Кудашов. — Никак не обморок. Вокруг все так явно. Может быть, я умер? Мозг еще не угас, и это предсмертный всплеск воображения...» — мысль прервалась: Кудашов снова увидел солнце. То самое солнце, что открылось ему в последние мгновения над пустырем вблизи родного дома. Теперь диковинное светило всходило над незнакомой местностью, над шатровыми куполами, острыми башнями, наклонными кровлями. Золотые блики оживили гордые лица статуй. И над фонтаном, плещущим в пустом саду, образовалась крохотная радуга. А солнце ярилось, как буйный костер, разбрасывало змеистые лучи-протуберанцы. Однако зноя не было. Кудашов даже поеживался от рассветной прохлады, а может, его просто бил нервный озноб. Удивительным показалось ему, что, померев, он не забыл захватить в потусторонний мир чертеж и тот белой трубой торчал под мышкой.

«Нет, я не умер, — на сей раз обреченно вздохнул он. — Обыкновенные галлюцинации сумасшедшего. Я сошел с ума, вот и все. С чем себя и поздравляю, Доизобретался!»

Он никак не мог ни объяснить, ни ощутить: сколько времени прошло с тех пор, как он погрузился в странные видения. Время сделалось условным, а вернее — исчезло вовсе, как это бывает во сне, когда оно измеряется чередованием событий и картин, порожденных воображением спящего. И, как во сне, Кудашов вдруг стал чувствовать, что он не один среди торжественных красот города.

Едва он угадал чью-то близость, как неведомое одушевленное существо стало проявляться. Сперва белесым призраком, подвижным, ускользающим. Потом туманное реяние замедлилось, вылепился человеческий силуэт. Кудашов близоруко всмотрелся: навстречу ему выступила женщина, рослая, смуглая, в длинном складчатом одеянии. Она бесстрашно приблизилась.

Большие, с лиловым отливом глаза светились лаской, покоем и грустью. Овал лица был узковат, а черты так нежны, что боязно становилось дышать — вдруг они снова обратятся в трепетный туман. Высоко уложенные бронзовые волосы делали голову царственной. В одну секунду пронзило Кудашова отчаянное желание не расставаться с ней... Если бы она не была сном. Но незнакомка заговорила. Голос ее переливался, словно в оперном речитативе. Он различил слово: «Рола», «Рола», которое повторялось часто.

Кудашов беспомощно улыбнулся, покачал головой. Женщина будто насторожилась, потом взгляд ее прояснился снова. Она сомкнула узкую ладонь на запястье Кудашова, возобновились переливы ее музыкального голоса. Теперь он все понимал, будто слова возникали в его собственном сознании.

— Кто ты? — спрашивала она. — Твой вид странный. Меня пробудили и вывели навстречу волны отчаяния, исходящие от тебя. Откуда ты?

— Не знаю, — признался Кудашов. — Кажется, я болен.

— Ты, верно, несовершенно? Я тоже несовершенно, потому что тоскую, а дух должен быть уравновешен. Весь наш мир пребывает в равновесии. — Она улыбнулась утешительно. — Но меня исцелит Рэй. Он и тебе поможет. Он знает тайну полей и секрет измерений. Пойдем к нему. Как зовут тебя?

Кудашов назвал.

— Твое странное имя, как шелест или как стук детских игральных шаров... У нас нет таких имен. Я — Рола. Рэй — наисовершенный из нас. Он умеет править духом. Он поможет.

«Рола, Рола», — повторял про себя Кудашов и не мог избавиться от чувства, что где-то слышал это имя. Может быть, сам придумал в детстве.

Они двинулись. Неистовое солнце поднималось все выше. В ветвях восторженно горланили птицы. Не без страха Кудашов заметил, что дикий город наполняется людьми. Они выходили из резных дворцовых ворот, певуче приветствовали друг друга, спешили или неторопливо прогуливались. Становилось многолюдно. Кудашову все же продолжало мерещиться, будто инопланетники обретают плоть неожиданно, тем же чудесным

способом, что и Рола — выступая из полупрозрачного тумана.

Эти люди не отличались от земных обитателей, но представляли здоровое, сильное племя. Мужчины и женщины были стройны, смуглы, моложавы. Женщины были в длинных платьях. Мужчины носили костюмы фехтовальщиков. Преобладали серебристые и алые цвета, выразительно оттенявшие загорелые лица. Бледный, с воспаленными глазами, в тяжелом расстегнутом пальто, Кудашов выглядел среди этих артистичных личностей весьма нелепо, но неизвестные люди разглядывали его без смеха и страха, с доброжелательным любопытством. Даже черноволосые, в коротких костюмчиках дети прекращали беготню и простодушно рассматривали странного пришельца. Некоторые в раздумье носасывали указательный палец, но испуга Кудашов не заметил и на детских лицах. Он же невольно прикидывал, сможет ли защититься, если на него вдруг ополчатся, и озирался с животной осторожностью.

Когда его охватывал страх, Рола крепче сжимала его запястье, будто боль передавалась ей, и торопливо приговаривала:

— Не бойся, не бойся. Рэй поможет. Мы уже близко.

Кончились зеленые, как лесные просеки, улицы. Распахнулась мощенная голубыми плитами площадь. Здания, замыкавшие ее непорочный круг, чем-то отдаленно напомнили Кудашову современные строения: лаконичная архитектура, фасады сплошь из стекла. Правда, на плоских крышах пузырились огромные прозрачные шары и колбы разных форм, назначения которых Кудашов разгадать не мог.

В один из этих домов Рола ввела робеющего Кудашова. Он увидел винтовую лестницу из светлого металла, что опоясывала громадный, как в нефтехранилище, цилиндр с люками и яйцеобразными выпуклыми окнами.

Рола уловила его недоумение.

— Это Ладыя Обзора. Рэй проникает в ней за грань измерений.

«Инопланетный корабль? — силился сообразить Кудашов. — Летающая тарелка? Нет, не может быть! Просто я подгоняю факты под известное».

Когда ступили на серебристый трап, ладонь Рола ненароком соскользнула с запястья Кудашова. От неожи-

данности он пошатнулся, шагнул вперед, но разглядеть уже ничего не мог. Перед глазами, слепя, закружились яркие, пестрые пятна. Издалека он слышал зов Ролы, скорее угаданный, чем различимый. Когда же вскоре вернулось зрение, сбитый с толку, Кудашов узнал годами не мытую, в пятнах кошачьей мочи лестницу собственного дома. Знакомо пахло затхлостью. Возврат можно было считать выздоровлением, если бы Константин не ступал, как по вате, а замызганные стены знакомого подъезда не светились зеленоватым водянистым светом, как в иллюзорном здании, где хранилась Ладья Обзора.

Кудашов услышал торопливый топот. С верхней лестничной площадки к нему спускалась соседка Алина Ланская. Кудашов пошатнулся — у Алины было лицо Ролы. То — и не то, будто Ролу переодели в Алину: шапка ручной вязки скрывала гордый лоб, под подбородком топорщился шарф, худенькую фигурку портило пальто из «Детского мира» наивного фасона, поношенное.

— Тебе плохо, Костя? — Алина приостановилась. Кудашов рассмотрел ее глаза: нет, не Рола. Во взгляде Ланской — безнадежный покой подавленной тоски. Это осталось от любви. Ласковый лепет за стеной смолк слишком скоро. Кудашов мигом припомнил наступившую потом тишину. Сын Ланской родился после бегства отца. Теперь Алина подрабатывала где-то уборщицей, потому что не могла устроить сына в ясли, пока тому не исполнится год. На два-три часа она оставляла ребенка со старухой Рикардовой из их же квартиры, которая с удовольствием называла возлюбленного Алины проходимцем и брала с нее за услуги пятнадцать рублей в месяц.

— Костя! — снова окликнула Алина.

Он что-то ответил, отвел глаза и содрогнулся: вверху, на лестничной площадке, как бы в цветных кругах театрального света, стояла прекрасная Рола с простертой к нему, манящей рукой. Он зажмурился. Ланская уплывала вниз, растворяясь в безостановочном скольжении. Он опять почувствовал дрожь каждой клетки своего тела. И хоть вернулся в Ладью Обзора, вновь обретенное видение было уже не столь чистым. Рука об руку с Ролой они поднимались к верхнему ярусу цилиндра, а по сторонам возникали и уносились знакомые

двери квартир многоэтажного дома, изредка распахивалась пропасть лестничного пролета, огороженного сеткой, но без лифта, мелькнула вдруг надпись, процарапанная по штукатурке еще кем-то из школьных товарищей: «Кудашов — осел».

Квартира, где он жил с младенчества, находилась в верхнем этаже. Кудашов узнал прихожую, но дальше пространство раздвигалось и открывался зал, похожий на зеленый кафельный бассейн без воды. Как на выставке, вразброс стояли здесь какие-то компактные устройства, по виду сходные с причудливыми скульптурами модернистов. Подле каждой небольшой пульт с клавиатурой. Вдруг Кудашов узнал среди устройств обшарпанный ларь соседки, где она складировала старье, отравляя коридорный воздух мерзким запахом нафталина. Тут же виднелись вешалки с охापками пальто, допотопный холодильник самого Кудашова, который не помещался в комнате. Словом, видения по-прежнему смешивались, путались...

— Я дома? — спросил он болезненно.

— Сейчас, сейчас, — успокоила Рола. — Ты достоин высокого сострадания, а высокое сострадание — это и есть любовь.

— Ты останешься со мной? Мы будем жить здесь вместе! — воскликнул он в бессмысленной надежде.

— Меня нет. И тебя нет. Но мы есть. Ты сейчас поймешь. — Ее утешительный шепот прервала реальная трель дверного звонка. Звонили три раза, — значит, к Кудашову. Он непроизвольно рванулся открывать и выпустил руку Рола. Будто отделясь от каменной стены, к нему двигались двое — Дробинин и горбоносый статный старик с антрацитовыми глазами. Дробинин нес портфель, где звякали бутылки. Старец был одет в пурпурное трико. Шекспировский серебристый воротник подпирал гордую голову. За плечами развеивалась короткая накидка, искрясь, как свежий снег. Наряд его горел, притягивая взор, и Кудашов сразу потерял из виду Дробинина.

— Рэй, — проговорила Рола откуда-то из-за спины Кудашова. — Этот человек потерял себя. Он не уразумел обстоятельств, и они играют им. Он испытывает недоумение и страх. Помогите ему, Рэй!

Музыка женского голоса стихла. Кудашов услышал вполне земную, ворчливую речь Рэя.

— Я тоже в недоуменье, — произнес старец, мерцаая антрацитовыми глазами, — неужели поле нравственной энергии тебе подобных столь расчлениваемо, что от незначительного столкновения мнений приходит в полное расстройство, выводит из себя и даже, как показывает твой пример, заставляет блуждать в тех измерениях, которые по нормам вашего разума могут только поместиться.

— Я так и знал! — застонал Кудашов.

— Не тревожься! — прервал Рэй. — Ты не повредился разумом. Нынче день совпадения светил в пространстве — и ты случайно трансформировался в нашу цивилизацию.

— Понимаю. Вы из будущего!

Рэй хранил спокойствие, но, кажется, все больше пропитывался презрением. Бесстрастным презрением мудреца к невежде.

— Не горячись, — посоветовал он, — рассуди! Ну в какое же такое будущее может переместиться этот безобразный сундук с хламом из коридора вашей квартиры? И, наконец, Дробинин, который накупил алкоголя, чтобы объясниться с тобой? Он ведь и теперь здесь, но вы взаимно невидимы. Я притянул твое поле целиком — и Дробинин думает, что тебя еще нет дома. Сидит и попивает в одиночку, дожидаясь твоего возвращения.

— А Рола? Где Рола? — спохватился Кудашов.

— Она тоже вне тебя. Я скрыл ее, потому что ты стал проникаться к ней той вашей любовью, которая строится на желании обладать, подчинить и тешиться властью над любимым существом, ненавидя его за то, что и ты ему в известной степени подчинен. И так до тех пор, пока вам не надоеет и собственная власть, и собственная зависимость. Нерасторжимость душ в любви познали очень редкие из вас. Вы считаете их великими. А Рола молода, несовершенна — вдруг она проникнется уродством ваших чувств? Однако я заговорился, хотя сконцентрировался в твоём сознании лишь для того, чтобы вернуть тебя за грань нашего измерения.

— Выходит, я в другом измерении? В каком же? В пятом?

— Пятое измерение предположили самые прозорливые из вас, но и они несколько не угадали истину. Измерения не пронумерованы, их бессчетное множество. От вашей трехмерности до непостигнутых вами субстанций духовной энергии. Пласты энергии материализуются каждый на своем уровне, и мы существуем подле вас, вам недоступные. Ладья Обзора стоит, грубо говоря, на том же месте, что и твой дом. Только и всего.

— Мне надо присесть, — попросил Кудашов. — Я ослаб. От непостижимости, должно быть... Впрочем, сойдя с ума, уразуметь кое-что можно. А со мной, вероятно, это и случилось. Простите, я не то хотел сказать... Почему у Ланской лицо Ролю?

— Случайный слепок творца, — безразлично пояснил Рэй. — Разве ты сам ненароком не повторялся в поступках? В разговорах?

Кудашов признал сказанное справедливым. Охваченный усталостью, он все же присел на одну из «скульптур модернистов», повторявшую очертания сидящего человека. Пестрая клавиатура оказалась по правую руку.

— Не играй пока кнопками, — предупредил его иноплеменник. Кудашов боязливо отдернул руку. Запрокинув голову, он вновь встретил антрацитовый взор и удивился неопишуемой, мглистой яркости этих глаз. Они источали два черных луча. Рэй разместился напротив, за пультом, похожим на фисгармонию.

— Отчего ты не спросишь, кто творец? Ведь это тебя занимает.

— Бог какой-нибудь... — пробормотал Кудашов, чего-то устыдившийся.

Рэй будто предвидел такой ответ:

— Ваше человечество сочиняло толпы богов, недолго временно чтит их и опровергало, чтобы с тем же упоением придумывать новых. Но тебя я успокою: ни многобожия, ни единого бога нет. Творец — Космос. Запомни: Космос разумен и деятелен. Мы в своем пласте сотворены Космосом, так же как и вы.

Долгие потрясения не бывают безрезультатны — Кудашов начал прозревать. К тому же ему стало стыдно без конца осыпать собеседника вопросами. Известно: глупцу всегда легче спрашивать, нежели умному отвечать. Кудашов решил порассуждать в свой черед, опи-

раясь на те сведения о мистическом, что почерпнул в свое время из редких книг и случайных разговоров, которые в юношеские годы вызывали у него насмешливое, ненастойчивое любопытство.

— Так, так... Понятно... — проговорил он. — Толки о потустороннем мире произошли, вероятно, из-за вашего существования. Сказки о привидениях — тоже. Не мне же одному, в конце концов, в земной истории посчастливилось перескочить за грань так называемого бытия. Я вообще не догадываюсь, чему обязан. Неужто застарелой неврастении, которую ощутил еще в студенчестве? Были же на земле люди гениальные или хотя бы чем-то выдающиеся, они наверняка вступали в контакт с вами, раз уж разумный Космос обрек нас совместно топтать одно небесное тело.

Рэй слушал иронически и оттого чем-то неуловимо смахивал на Дробинина, вернее — вызывал воспоминания о нем, не совсем приятные Кудашову. Молчание мудреца начинало его раздражать. Скорее всего, он подсознательно чувствовал, что говорит глупости, но не собирался признаваться в этом, и в голосе его прибавлялось упрямства и страсти:

— Из-за вас! Да, из-за вас возникли на земле разные боги, боязливое поклонение силам небесным. Из-за вас — фантазии о всевозможных машинах времени. Наконец, спиритизм! Телепатия — тоже штучка сомнительная, но в нее я теперь-то уверовал... — Кудашов волновался и путался. — Наше собеседование ведь тоже телепатия, не так ли?

— Наше собеседование — разговор на разных языках, — спокойно поправил его Рэй. — Проще говоря, жонглирование словами, потому что люди с разными представлениями, будь они хоть братьями родными, никогда друг друга не поймут. Но я еще надеюсь... Прежде всего усвой: мы не топчем «одно небесное тело», как ты образно выразился. Совместимы пространства пребывания, но не грубая материя. Мог бы заметить, что у нас другой климат, другое светило. Мы существуем при вечном свете, а по вашим часам, насколько мне известно, наступила ночь. Вы довольно условно отсчитываете свое время чередованием тьмы и света. А мы уже давно пришли к тому, что время неподвижно. Просто разумные существа перемещаются в своем бытии

относительно неподвижного времени. Их собственная деятельность принимается ими за течение времени.

— Да, но... — не удержался Кудашов. — Человек стареет, деревья вырастают, камень разрушается... Со временем меняются все формы.

— Формы меняет деятельность. Деятельность клеток животного организма, древесных корней и даже атомов неподвижного камня. Я уж не говорю о развитии мозга, возможном исключительно в направленной деятельности. Надо ли напоминать, что само собой разумеется и взаимодействие внешних сил, их влияние на всякую индивидуальную деятельность. Мог же твой начальник по смехотворно ничтожному поводу привести в трепет все клетки твоего тела и даже поколебать энергетическое поле. — Рэй усмехнулся. — Ущипни себя на всякий случай за руку.

Кудашов внял совету и почувствовал боль.

— Вот видишь, — нравоучительно заметил Рэй, — а между тем тебя по-прежнему нет на земле. Для живущих там ты исчез.

— Самолет!!! — в озаренье вскричал Кудашов, вскакивая. Он торопился объясниться, уверенный, что собеседник не разгадает его порыва, но тот подхватил с радостью и очевидным облегчением:

— Именно самолет! Тот самый, пропавший на десять минут над Бермудским треугольником, как вы его называете. Машина попала в точку сочленения пространств...

— Я читал! — не мог успокоиться Кудашов. — Перед посадкой самолет вдруг пропал с экранов локаторов. Прошло десять минут. Пассажиры побывали как бы в небытии. Потом самолет возник. У летевших на десять минут отстали часы!

— Наконец-то мы хоть на ошупь пришли к общим представлениям. Возможно, наступит и понимание. На абсолютное я, конечно, не рассчитываю, все-таки вы изрядно отстаете...

— В технике? — приободренный похвалой, Кудашов стал смелее. Разговор, наконец, захватил его настолько, что он перестал думать о том, где находится и навсегда ли унесло его с Земли нервное перевозбуждение, вызванное откровенным издевательством Дробинина над изобретением. Впрочем, о злополучном автомате Кудашов сейчас не вспоминал, увлеченный новизной своего поло-

жения. Если и проносились в его уме мысли, непричастные к разговору, то касались они скорее Ролы, чем остального. Причем, всякий раз, когда образ ее возникал в сознании Кудашова. Рэй, похоже, усмехался понимающе, но мрачновато. Теперь он тоже глянул на Кудашова с некоторою досадой.

— Наши миры развивались совершенно разными путями. Вы чуть ли не с пещерных времен уповали на технический прогресс. И он бы несомненно более плодотворно сопутствовал вам, если бы не случались на Земле затяжные периоды, когда вы решительно забывали о нравственном совершенствовании. А без этого так называемый технический прогресс приносит едва ли не больше вреда, чем пользы. В частности, приводит к истреблению природы и убийству себе подобных в смертоносных войнах. Но что парадоксально: безнравственность оборачивается и против самого технического прогресса. Она его замедляет. Из зависти, подлости, тупости или лени затираются великие открытия. К примеру, твое изобретение. Эпоху оно, конечно, вперед не двинуло бы, но пользу принесло бы несомненно. Увы! Зависть, страх за свой авторитет, дума о себе, а не о деле сработали и здесь. Дробинин твой давний товарищ. Чего же ждать от чужих? А сколько высочайших плодов гения обращаются у вас во вред, неожиданно вооружая бездуховных злобных индивидов! И тем только умножается безнравственность. Вооруженная, она родит страх. В страхе искривляется разум. Перед неразумными разверзается бездна гибели.

— А вам это не грозит? — недоверчиво усмехнулся Кудашов. — У вас вместо крови дистиллированная вода и все разумны до тошноты?

— Наши противоречия высшего порядка. Каждый из нас ежедневно одолевает себя вчерашнего. Воплотив, например, замысел, тут же смело признает его несовершенство и продолжает поиск. Заметь! Не бьет ближнего, чтобы выделиться, а борется с собой. И так всюду — в науке, искусстве, ремеслах... Потому мы ценим своих соперников. Для нас сильный, умный соперник — ценнейшее достояние. Ведь невелика честь одолеть слабого, не много таланта надо, чтобы сверкать среди серости. Мы не скрываем друг от друга достижений и научных секретов, чтобы укрепить соперника и тем стать сильнее

самому. А ваша сила груба и жестока. Она возрастает на слабости ближнего.

— Пусть так, — остановил его Кудашов, — Но позвольте поинтересоваться, откуда вам известны подробности нашего бытия? Или это рассуждения от противного?

— Мы очень тщательно наблюдаем вас. Нам дано внедряться в сознание землян и совершать обзоры всей планеты. Правда, наши полеты не остались незамеченными. Вспомни толки о неизвестных летающих объектах.

— Я и сам так подумал! Непостижимо! Ваша цивилизация старше?

— Незначительно. Но мы развивались иначе. Вы зачастую чтили исторических деятелей пропорционально размерам учиненного ими кровопролития. Нашим мерилom был мир. Смену эпох вызывал накопленный заряд духовной энергии. Безо всякого насилия. Технический прогресс следовал за нравственным, а не наоборот.

— Но как же возможно? — не поверил Кудашов. — Ведь люди столь различны — невежество, консерватизм, воинственность, мания величия...

— Мы изначально черпали энергию у разумного Космоса, развиваясь на преодолении пороков. А что касается консерватизма и агрессии, лучшими умами нашей цивилизации первоначально был открыт способ уничтожить или обезружить вредную личность морально, то есть погасить негативную энергию, направить силы личности на добро. Для преобразования мира совсем необязательно с натугой и издержками изобретать убийственные бомбы. Достаточно научиться управлять энергией, скрытой в каждом из нас.

— Разве ее можно выявить? — озадачился Кудашов.

— Об электричестве вы тоже поначалу понятия не имели, — напомнил Рэй. — Не говорю уж о расщеплении атомного ядра.

— Вам все известно. — Взгляд Кудашова стал пристальным и даже как будто враждебным. Мысленно он постиг, насколько во власти этих всемогущих инопланетников его родная сумасбродная планета.

— Не беспокойтесь, — утешил его тревогу Рэй. — Мы отчасти спасаем вас от самоуничтожения. Старшие обязаны следить, чтобы дети не играли с огнем.

— Фу-ты, дышать легче стало! — засмеялся Кудашов. — Выходит, при всей нашей отсталости мы в безопасности!

— Не совсем. Мы не всесильны. Если вы в своем одичании возмутите разумный Космос, он избавится от вас, как от нарыва. И тут не поможет ничто. Вы уничтожите себя своими же руками.

Пришел черед молчания. Рэй сосредоточился на каких-то собственных мыслях. Кудашов оставался в замешательстве, стараясь определить, бред или истина то, что он слышал от пурпурного человека, глаза которого по-прежнему источали пронзительные черные лучи. Несмотря на видимость согласия, он и теперь охотнее принял бы присутствие Рэя за галлюцинацию, за собеседника, рожденного собственным воображением.

— Допустим, — пробормотал Кудашов, которому пришла в голову новая мысль. — Но должен же быть механизм, двигатель нравственности... Где он? Что это?

— Совесть, — отозвался Рэй и повторил: — Совесть. Странно, что главный закон совести известен и вам, и нам. Но у нас он возведен в непреложное общественное правило, а у вас затерялся в философских фолиантах и в произведениях изящной словесности.

— Неужели известен? — чуть иронически переспросил Кудашов. На сей раз он просто не поверил Рэю, решив, что тот с высот своих познаний упрощает сложности.

— Закон выражен просто: не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы поступили с тобой.

Немудрящий ответ слегка разочаровал Кудашова. Ему показалось, что торжественная истина, которой он ждал с такой надеждой, подразнив, скользнула стороной. Простота его не устраивала. Вспомнился грустный взгляд Ролы, ее признания в несовершенстве и чуть пугливое благоговение перед Рэем.

— А любовь? — спросил он старика. — Разве вас не мучит любовь? Или и для нее существует свое незамысловатое правило?

— Незамысловатое?! — сверкнул глазами Рэй. — Известно ли тебе, что изначально душа человека разделена. Он обречен тосковать по отнятой части. Целостность вновь обретается в любви.

— У вас, разумеется, каждый без труда находит

родственную половину и, обрета оную, благоденствует далее, — горько подхватил Кудашов.

— Ты думаешь о Роле, — разгадал мудрец. — Не обольщайся. Ее душа еще не вызрела для созвучия. Излишняя фантазия мешает ей обрести себя. Она тоскует по несуществующему, не сознает своих влечений. Но это исцелимо. Я нашел ключ и сумею придать направленность ее сознанию. Ты насмешливо высказался о нашей любви, но в ней не все безоблачно. У иных из нас души так многомерны, что им нет созвучных. Такие люди творят искусство и властвуют над тысячей сердец, оставаясь в святом одиночестве.

— Странно, странно... — пробормотал Кудашов.

— Пора совершить облет нашей планеты, — примирительно сказал Рэй. — Ты, наконец, согласишься, что не бредовый двойник, как у вас часто выдумывают поэты, беседовал с тобой, а человек, хоть из иного, но вполне реального мира.

Сколько длился облет, Кудашов определить не мог. Времени по-прежнему не существовало. Заключенные в продолговатую капсулу, которая поднялась с Ладьи Обзора, собеседники неспешно скользили над скоплениями дворцов, иногда снижались, чтобы Кудашов мог получше разглядеть гармоничные строения. Капсула вольно кружила над ухоженными пашнями, над плодовыми рощами, прудами, где разводили промысловую рыбу. Изредка в стороне проплывали такие же капсулы, похожие на мыльные пузыри. Внутри, как зародыши в созревшей икре, шевелились пассажиры.

Кудашов полюбопытствовал, остался ли у иноплеменников хоть клочок нетронутой природы, и капсула, чуть прибавив скорость, приблизилась к заповедным лесам, где обитали звери. В зарослях сверкали чистые реки и озера. Рэй часто повторял, что природа не терпит насилия и давал другие пояснения, но сознание Кудашова было уже достаточно перегружено. Он не мог слушать внимательно, захваченный дивным зрелищем незнакомых пейзажей. И чем дольше он смотрел, тем острее и настойчивее пронзала его, похожая на сострадание тоска по своей скромной земле, где сейчас зябнут на ветру голые весенние деревья.

Трижды капсула попадала в непроницаемый, клубами дымящийся туман, чуть подсвеченный лиловыми и

синими лучами. Со слов Рэя Кудашов знал, что это зоны сочленения пространства, загадочные для землян. И снова едва ли не до слез трогала Кудашова грусть по своей неразумной, беспокойной планете.

— У меня ностальгия, Рэй, — признался он.

Тот посмотрел на него одобрительно.

— Не тужи! Тебя трансформировать не сложно. Ты все же не самолет с пассажирами и не военный крейсер, застрявший на стыке пространства. На тебя достаточно воздействовать психически — и поле вновь переместится.

Капсула вернулась на плоскую крышу Ладьи Обзора, приземлясь с легким звоном возле других прозрачных летающих устройств. Навстречу из сверкающей стеклянной чаши вдруг вышла Рола. Рэй нахмурился.

— Не вини меня, — потупилась она. — Я улавливаю тоску пришельца и появляюсь против воли. Может быть, он — мой сон? — спросила она, искательно заглядывая в глаза старца. — Какой, однако, мучительный и сладостный сон! Что-то внутри трепещет и томит. Я исчезаю, но остаюсь живой...

— Нет, он не сон твой, — твердо оборвал Рэй. — Ты зря отзываешься на его тоску. Он грустит о своем мире, где уже встретил твое подобье. А вам не суждено соединиться. Грань между мечтой и грубой материей непреодолима, хотя порой и кажется зыбкой. Ступив за эту грань, ты погибнешь. Потому оставь свою пустую печаль. Она от несовершенства. Ты трудное дитя, Рола. Для нас — не от мира сего, и для них — не от мира сего. Давай-ка опустимся в зал регулировки полей и достойно проводим нашего заблудшего гостя.

Втроем они спустились в бассейновую чашу зеленого зала к аппаратам, властным над полями душ. Кудашов был подавлен, Рола как будто спокойна, но отрешенность ее прежде выразительных глаз вызывала неопределенные опасения. Все расселись у пультов лицом друг к другу. По выражению Рэя можно было догадаться, что он готовится сказать напутствие, некий ученый завет отлетающему в свой отсталый мир Кудашову.

— Отправь меня с ним, Рэй! — вдруг поднялась с места Рола. Голос ее звенел необыкновенной мощью, словно эхо каменных сводов усиливало его. — Я знаю, моя тоска струится из того мира.

— Безумная! Там небытие! — бросил Рэй сердито,

— Пусты! — Она вскинула руки: не то молила простить, не то давала клятву неведомым небесам чужой земли.

— Не смей! — крикнул Рэй, теряя свое величие. Но женщина успела коснуться роковой клавиши на пульте. Это было как внезапный шаг в пропасть. Напрасно с воплем рванулся к ней Рэй, напрасно исступленно бил пальцами по пульту. Сотни несоединенных красочных мазков дрожали там, где только что стояла она. Кудашов онемел. Настала неживая тишина, которую внезапно и нелепо потревожило издавна знакомое Кудашову шарканье суконных тапок соседки Рикардовой. Он широко раскрыл глаза. Дряхлая старуха пересекала белый зал, с натугой держа в ревматических руках продолговатую, величиной в человеческий рост картину, скромно обрамленную черным деревом. На полотне застыла Рола с воздетыми руками, на ее лице читалось горькое торжество.

— Конец, — вымолвил Рэй. Глаза его погасли, превратились в черные провалы на бескровном лице. Пуст был и темный, искривленный мукой рот. Гордый лик мудреца стал трагической маской.

До Кудашова донесся гулкий, словно с высоты, голос:

— Дух самоотвержения возобладав в ней. Им она маялась среди нашего равновесия. О! Я распознал это поздно. Как дурной доктор, поставил диагноз после смерти. Рола стала нетленным творением в тленном мире. Но ты, пришелец, не торжествуй. Ты обречен любить мечту, как я скорбеть об утрате. Ступай!

Раскаты его голоса вызвали у Кудашова болезненные судороги. Потом тело сделалось будто чугунным, а взгляд слепым, словно он попал в ящик, обшитый черной тканью. Воздух иссяк — началось удушье. Он закричал, сопротивляясь смерти.

— Э! Да ты здесь! — Деревянная стена раскололась, проем залило мутное электричество. В полосе света стоял толстый Дробинин, изумленно тараща нетрезвые глаза: — Что это тебе вздумалось прятаться от меня в шкафу? Во псих! Ведь задохнуться мог.

Теперь уж мир был реален донельзя. Кудашов действительно, скорчась, сидел в собственном шкафу, а подвыпивший Дробинин перед открытой дверцей ждал объясне-

ний и надо было прилично солгать, чтоб не прослыть рехнувшимся идиотом.

— Детство вспомнилось, — забурчал, выбираясь из ловушки, Кудашов. — Как услышал тебя в прихожей, взял и спрятался. Думал, смоешься, не застав. Да от тебя, видно, не так легко отделаться. Расположился, понимаешь, как у себя дома. Я ждал, ждал, да и заснул.

Произнося этот вздор, Константин уже стоял напротив Дробинина, надменно вскинув голову и выпрямив плечи, будто собрался драться.

— Не бранись, Костя! Не бранись! — уговаривал Дробинин. — В самом деле, какой-то психоватый стал. А в институте слыл за добряка. Из-за установки взъелся? Так я же совсем не против. Тоже мне! Товарищеских шуток не понимаешь!

— Катись ты к свиньям со своими шутками! Думаешь, не знаю, что просто позавидовал. Как же! Рядовой инженер вставил фитиль руководящему Дробинину. Даже за кресло свое испугался. Да мне сто лет твоего паршивого кресла не надо. Звать будут — не соглашусь. Мне мои бессонные ночи дороже. А ты коли помочь не можешь, так хоть не мешай. Зажимщик!

— Костя, я каюсь, — умирал друга Дробинин. — Объясниться пришел. Коньячку хочешь?

— Ничего я от тебя не хочу! Вообще плевал я на тебя! Завтра же подам на увольнение. Работа найдется. Любой завод с руками оторвет. А ты — валяй, разводи стоячее болото! Все равно рано или поздно скинут за бездарность. Лучше пораньше! Поменьше навредишь.

Дробинин будто не слышал оскорблений — хлопотал у стола, где высилась початая бутылка коньяка и лежала закуска на газетке.

— Так не станешь пить? — мирно спросил он. — И правильно! Коньяк какой-то дурацкий. Я хлебнул всего ничего и — представляешь? — померещился красный фехтовальщик почему-то с твоим чертежом.

— Чертеж! — ахнул Кудашов. — Я оставил там чертеж!

— Успокойся, здесь твой чертеж. Вон расстелен на диване. Я еще раз изучил его внимательно. Ты гениален, как Леонардо.

— Не лъсти, Дробинин! — с угрозой предупредил Кудашов.

— Помилуй, Костя, какая лесть! Я завтра же пишу отношение на завод технологической оснастки. Можно и в тяжелое машиностроение обратиться. Сделаем заказ...

Речь Дробинина прервал стук в дверь. Затем кто-то толкнулся с другой стороны — и в комнату вплыл портрет Ролы: она стояла, воздев руки, в складчатом одеянии. Горькое торжество одухотворяло лицо Ролы как в ту, последнюю, минуту. Из-под картины торчали костлявые ноги Рикардовой, обутые в суконные тапки.

— Костик дома? — сипло спросила она, невидимая за полотном.

— Проходите, пожалуйста, проходите! Костик дома, только он немножечко не в духе. Но это из-за меня, — добавил Дробинин, избавляя старуху от ноши. — Какая картиночка чудненькая! Прямо шедевр! Влюбиться можно в такую красавицу!

Он прислонил портрет к шкафу и отступил, наигранно любуясь полотном. Кудашов с трудом оправился. Поза Дробинина показалась ему надругательством. Непослушной рукой он нашарил простыню, бросился, оттолкнул Дробинина плечом и накинул ткань на портрет, издав какой-то хрип.

— Узнаю дедовскую кровь, — изрекла, наблюдая за ним, Рикардова.

Кудашов в недоуменье обернулся.

— Это мой портрет, — сообщила старуха. — Я в роли Эвридики. Твой дед влюбился в меня в этой роли и заказал мой портрет известному мастеру. Любовь взаимной не была. Но, как говорится, поздно сожалеть. Мы расстались, а тридцать лет спустя, уже обремененный семьей, твой дед разыскал меня здесь, в этом городе, в этой квартире. Устроил обмен и поселился по соседству. Тогда и подарил портрет. Как он сберег его в странствиях и войнах — не представляю!

— Почему вы принесли его сюда? Ночью? — не владея голосом, с усилием вымолвил Кудашов. Дробинина событие тоже весьма заинтересовало.

— Принесла передать тебе. В дар. Мне девяносто лет. Глядишь, помру скоро. По ночам уж видится она, смерть-избавительница. Сегодня вот чьи-то угольные глаза жгли... Черные, а светятся. Потом вдруг ты за окном пролетел в громадной колбе и рыжий огонь вокруг. Я

в тебе деда узнала. Ты похож на него очень, прям как моя Алина на меня.

— Ланская вам внучка? — Кудашов слышал об этом впервые. Квартирные связи его никогда не интересовали.

— Троюродная. Седьмая вода на киселе. Случайное сходство. Сама я без семьи прожила. Вся в искусстве. Ну да хватит вспоминать! Береги портрет. А я пойду, лягу... С постреленком Алинкиным напрыгалась, ног не чувую...

— Зачем вы с нее деньги берете? — невпопад спросил Кудашов, провожая старуху.

— На похороны себе откладываю. Все равно ж ей меня хоронить придется. Родственница! — значительно произнесла Рикардова.

Проскрипела, затворяясь, дверь.

— Зловещая какая-то баба... — проворчал Дробинин. — Давай-ка рассмотрим портрет. Интересно! — Он протянул руку к простыне.

— Не трожь! — остановил Кудашов. — По-человечески прошу... — Обессиленный его голос походил скорее на шелест. Он по-прежнему, сутулясь, сидел на диване, понурый, подавленный.

— Да не заболел ли ты? — всерьез встревожился друг. — Взбодрись, Костя! Смонтируем установку. Старшим инженером станешь. Сбудется твоя мечта.

— Мечта? — с усмешкой переспросил Кудашов. — Мечта — это безостановочный бег за горизонт, Дробинин. За грань, которой нет.

ПЛАТИНОВЫЙ ОБРУЧ

Фантастическая повесть

Есть такое древнее слово «суетство». Оно-то и приходит на ум, когда слышишь и справа и слева об этих амиконтактах и хостиконтактах, то есть, стало быть, дружных и недружных отношениях с ино-гостями. Не дает теперь людям покоя небезызвестная Н-6813! Планета — не планета, искусственная — естественная, и откуда она взялась в нашей системе, и кто такие «ноблы», заселяющие ее, и почему «ноблы», и что им от нас надо. Дискуссии, гипотезы... Дело бы гражданам заниматься, а не суетствоваться. Но делом, выходит, заниматься и некогда — прежде надо, видите ли, о понятиях и названиях договориться... Господи! Да подешевеют ли штаны в магазине, если они не «ноблы», а «барбы», черти, дьяволы...

И болтают ведь — кому не лень, лишь бы выставиться: мы, дескать, тоже в фарватере, не чуждо нам «последнее слово». Ну этих-то и принимать во внимание не стоило бы — им бы звон да внешность. Но те-то, двигатели прогресса, светила и поборники, они разве не у той же моды, не у того же суетства под каблучишком, под шпилькой этой лакированной, что цокает себе и цокает по тротуарам, передохнет поколение и — опять цокать, как цокала и век и два назад?.. Ученые мужи, уважаемые и видные, — а если разобраться, то сплошная игра в слова, как у малых детей. Не полезнее ли, позвольте спросить, придумать формулу, чтобы, например, соседи в мире жили?

Нет, я не против научно-технической революции или там прогресса, бог с ним, — пускай себе мудрецы открывают разные частицы, а светила выводят закономерности и читают головограммы. Но вряд ли, вряд ли как

раз это — наиважнейший показатель уровня бытия нашего. Я — простой, средний гражданин, обыкновенный член общества, и разве мое самочувствие, мои ощущения такой уж второстепенный звук в оркестре жизни?

Назовите это лирическим отступлением — да-да, так и считайте: начал с лирического отступления. Дело ваше. Не много я их себе тут позволил. Потому что я — всего лишь излагатель, и все нижеследующее — не более как изложение, которого я не мог не написать, так как весьма уважаю Посвященного, этого достойного и заслуженного человека и ученого, чьи «Записки» мне повезло держать в руках. Не будь его «Записок», не было бы и данного изложения. Но должен заявить, что его не было бы и в том случае, если бы ревнители так называемого амиконтакта не поспешили провозгласить в один голос, что «Записки» — вода на их мельницу.

Читали «Записки» немногие — многим и недоступно: тиражик весь ушел на этот их симпозиум (мне экземплярец добыли); потому-то больше звона, чем понятия — в основном судят понаслышке.

Диву даешься, сколько досужих хлопот у человека! А спроси, «для чего тебе это нужно», — и ответить ему нечего. «Все, мол... Ну, и я...» Или начнет что-нибудь про передний край науки. Нужен он ему, этот передний край...

Повторяю: я уважаю Посвященного. Он — человек солидный, авторитетный, ему вон редкими приборами позволяют пользоваться. И не мне, конечно, толковать и комментировать его слово. Но на изложение, пускай и с лирическими отступлениями, я все же решился. Затем, чтобы, с одной стороны, прекратились пересуды, а с другой, — охладился пыл почитателей разных легкомысленных амиконтактов.

Амиконтакт, понимаете ли, вселенская любовь... А ноблы, между прочим, к нам практикантов засылают...

II

Так вот, в этой истории с дафниями замешаны именно ноблы, и тем полезны «Записки» Посвященного, что как раз и показывают, кто они такие и чем любят заниматься.

Что мы знали?

Мы знали, что планету (или что оно там) занесло к нам в соседни лет шестьдесят назад, что она, видимо, управляема, что на сигналы не отвечает и сама молчит, ну и еще две-три мелочи. А знаем ли мы, почему, с какой целью она появилась в нашей системе? А знаем ли, на что нам надеяться, если они вздумают высадить эскадрилью? А понятно ли им будет, что мы гуманоиды?.. Ничего мы не знаем!

Вон наша Служба Наблюдения в своем бюллетене пишет: «Н-6813 приближается к нам и отходит, пропадая вовсе из поля досягаемости с периодичностью от двух до шести месяцев». А между прочим, тот же бюллетень в 2036 году писал, что Н-6813 «отсутствовала» целых десять месяцев. Вот вам и четкая периодичность.

Посвященный доказывает, что ноблы прекрасно о нас информированы и намерения их, как он считает, «однозначно определить невозможно». При всем почтении, признаться, не все мне тут понятно, не ко всему, рассказанному этим ученым мужем, лежит мое сердце, а иные выводы, прямо скажу, омрачают душу. По данной причине фразу о намерениях ноблов, которые «однозначно определить невозможно», я толкую для себя как серьезное предостережение.

Посвященный видел их не раз еще до той кутерьмы с дафниями, кутерьмы дикой и неправдоподобной, на основе которой разные умники, любители словечек, тут же поторопились построить идею об «орбэволюции» (развитии по кругу) в противовес старой «гелэволюции» (развитию по спирали). Посвященный пишет, что хотя они похожи на нас решительно всем, он умеет распознать нобла среди сотни человекоподобных. Перед их знаниями он, похоже, стоит навтыжку (да не примут за непочтительность по отношению к уважаемому Посвященному). А мне ясно одно: планета их перегружена, им нужно куда-то расселяться, а условия у нас и на Н-6813 почти одинаковые. Вот и судите, с какими намерениями они вертятся вокруг нас и даже отваживаются на экскурсии сюда и, притом, чувствуют себя тут очень даже уверенно.

В том-то и дело, что не только Посвященный их видел. Просмотрите-ка хорошенько прессу последних лет, потрудитесь, полистайте — такая примечательная картиночка откроется!

III

То ли уж у Посвященного какой-то там свой метод, то ли сверхточные расчеты, то ли особый нюх, — как бы оно ни было, а именно он стал свидетелем того, как в один прекрасный день на благословенном юге, на поляне среди джунглей, в тихий утренний час произошло некоторое сгущение воздуха, поднялось легкое облачко пыли, и вот — откуда ни возьмись — на траве объявляется этакое небольшое устройство калачеобразной формы, и из люка вылазят двое.

Надо отметить, что странный их корабль появился именно бесшумно и незаметно: то есть они приземлились, и только потом их стало видно. Вот какова техника-то, обскурация эта самая, позволяющая делаться как бы отсутствующим, когда ты на самом деле есть. Имеющий глаза да видит.

Значит, они приземлились, обнаружили и начали оглядываться. А уже к ним с опушки леса спешит третий, и одет он, не в пример этим, в сверкающих комбинезонах, а совсем как человек в той стороне: соломенная шляпа воронкой, закатанные по колена штаны, платочек на шее. И еще издали стали они говорить, но так по-чуждому, что Посвященному пришлось, само собой, включить свой транскоммуникатор (аппарат, выдающийся, между прочим, по особому разрешению), и только тогда он стал понимать их тарабарщину.

Однако дадим слово самому Посвященному.

* * *

«Они приветствовали друг друга, — пишет он, — сдержанно, даже сухо, но на лицах было удовольствие от встречи. Прибывшие были очень молоды, а встретивший — средних лет.

— Приветствуем Наставника, — сказали юноши, и старший ответил:

— Приветствую посланцев Студии Прогнозов.

Студизосусы принялись неимоверно суетиться, словно им тотчас надлежало приступить к не терпящему отлагательства делу; старший же сдерживал их деликатно, приглашая вначале сесть и выслушать его, а уж затем приниматься за то, ради чего они прибыли.

Каковы были их намерения, я в первые минуты не мог догадаться. Однако скоро понял: юные посланцы Студии Прогнозов Н-6813 — своего рода практиканты, говоря нашим языком, и направлены на Землю для сбора определенных сведений, чем чрезвычайно гордились; а Наставник, также понял я, живет здесь уже изрядно, знает о нас все, и был помещен среди нас, вернее всего, с целью освоиться, чтобы затем принимать практикантов. Не подлежит сомнению, что их Студия Прогнозов готовит специалистов по Земле, коих им, несмотря на разностороннюю о нас информацию, тем не менее не достает. Возможно, понятия «исчерпывающая информация» у них и у нас не совпадают.

Наставник усадил, наконец, своих подопечных, и они водрузили на головы сверкающие обручи (приборы для быстрого и глубокого усвоения, как я догадался), и таким образом начался для них первый урок по Земле уже непосредственно на Земле.

Трудно передать, что я пережил, наблюдая этот урок. Изумление? Смятение? Восторг?.. Учитель мало говорил, скупыми и насыщенными фразами-формулами отмечая лишь некие вехи, обобщения; зато его мимика, бурно меняющееся выражение глаз были настолько многообразны и богаты и несли, по всей видимости, такое обилие информации и с такой интенсивностью, что мой транскоммуникатор сразу же перегрелся, я уже ничего не понимал и вынужден был отключить машину. Ибо было очевидно: преподавателем Наставник является уникальным и предмет знает, разумеется, преотлично, на зависть любому из нас.

Они сняли свои обручи, урок закончился, начался спор.

А тут и мой транскоммуникатор успел остыть, и я включил его и опять стал понимать их разговор.

Прибывших, оказывается, интересовало разумное существо данной планеты, которую они, между прочим, называли «Хи», что в переводе с их языка означает «яйцо». Таково было их задание — они желали немедленно увидеть это разумное существо, проследить при помощи специальных приборов его эволюцию, а также рассчитать, как она закончится. Следует сказать, что самым изумительным из их изумительного снаряжения был эвольвентор, то есть развертыватель, воспроизводитель

чего-либо от начала до конца, пусть это «что-либо» началось даже миллион лет назад. К эвольвентору подключался декуртор, или сокращатель, сжиматель процесса, а также — омнивизор, с помощью которого появляется возможность все четко наблюдать — назначение всех этих аппаратов я понял позднее. Словом, вооружены они были сказочно, и не терпелось им свое вооружение испытывать на деле. Но Наставник просил не спешить, освоиться, изучить для начала хотя бы флору и фауну этой вот поляны. И они оставили свои грозные аппараты и разбрелись, а учитель их сидел, и все то же нежно-грустное выражение проходило по его лицу.

А мне было любопытно наблюдать, как молодые передвигаются по поляне, то и дело совершая внушительные прыжки (эту особенность ноблов я знал еще с первой встречи с ними восемнадцать лет назад), каковым позавидовали бы самые наши прославленные спортсмены.

И вот один из них, который был повыше и которого мы в дальнейшем будем именовать «Первый», наткнулся на одинокий пенёк, увидел лужу под ним, зачерпнул ладонью, пригляделся и удивленно произнес:

— Лон!

— Да, — сказал Наставник. — По-местному будет «дафния».

— Как здесь оказался наш лон? И такой мелкий! И почему он плавает?

— Здесь живут также сухопутные и прыгучие лоны, — отозвался Наставник. — Они также мелки. И паразитируют на живых.

— И разумных? — спросил подходя Второй.

— И разумных.

— Наши в сто один раз больше.

— В сто один и шестнадцать сотых, — поправил Наставник. — И наши на нас не паразитируют.

— Это и невозможно, — засмеялся Второй.

— Ты веришь в тот старый примитив? — нахмурился Первый.

— Теория Спиу не примитив, — со спокойной улыбкой сказал Наставник. — Она была стройна.

И они снова заспорили, и из их спора я заключил, что некий их мудрец Спиу в свое время разработал теорию, в которой доказывалось, что ноблы произошли от «ло-

нов», то есть от их дафний: свидетельством тому некоторые их старые эмблемы, статуэтки, культ насекомых у предков, а также умение ноблов великолепно прыгать. Далее я уяснил, что теория их мудреца была со временем отринута, объявлена лженаучной и предана забвению, а новая гласила, что ноблы произошли от ноблов, и это теперь считалось настолько аксиоматичным, что даже имея на вооружении такие умные машины, как эвольвентор, омнивизор и прочие, с помощью которых можно было бы в кратчайшие сроки восстановить и проследить на экране их эволюцию, они отказывались от такого опыта, ибо подобное расценивалось как поступок невежественный, а то и безнравственный, а посему провести такой опыт попросту никому не приходило в голову. Ноблы произошли от ноблов — это ясно было и ребенку, это был абсолют.

Однако вот на Земле, вдали от своих, они себе позволяли порассуждать, как видим, на темы, предосудительные дома, и даже спорили. Первый что-то уж очень упорно повторял о примитивности и лженаучности старой теории, а Второй, исповедуя, конечно же, общепринятую точку зрения, посмеивался тем не менее, пошучивал над своим приятелем, словно любуясь его упорством и убежденностью. Наставник опять же вежливо и тонко наводил на мысль, что любую точку зрения правильнее было бы, в общем-то, уважать, — естественно, без ущерба для доминирующей, — оттого что раз уж она, эта точка зрения, пленила в свое время умы, то, надо полагать, не случайно: она, следует думать, была доказательной и развязывала многие узлы. Он напомнил молодым пришельцам, что миссия их пока что сугубо учебная, и в этих условиях всякое пополнение знаний похвально, а стало быть, до того как приступить к основному эксперименту, они могут провести несколько подготовительных, и почему бы, например, не заняться теми же дафниями: такой бы опыт мог быть поучительным.

— Наставник! — проговорил Первый. — Мы никогда не экспериментировали над лонами. Это считается...

— Глупым, — перебил Второй весело. — Но как хочется отдохнуть на этой удобной Хи и позаниматься глупостями.

— Это лишено смысла, — сказал Первый.

— Кто сказал, что лоны и дафнии — одного рода существа? — спросил Наставник. — Разве вас не учили, что подобие формы не всегда предполагает подобие содержания?

Да, он убедил их! Они начали готовиться к эксперименту, и они провели его — эксперимент невиданный, невообразимый, и я благодарен судьбе, что стал тому свидетелем.

Они настроили свое снаряжение. Возле пня были установлены эвольвентор, декуртор, омнивизор и другие аппараты, которым пока и названия нет на человеческом языке. И когда все было готово, Наставник сказал:

— Не забудьте о стимуляторе, рассчитайте время подключения.

О, то уже не были прежние прыткие, ребячливые юноши, энергия которых делала их такими похожими на наших земных; то были суровые, собранные существа с сосредоточенными лицами.

— Обскуратором управляю я, — сказал Наставник. И эксперимент начался...»

* * *

Как не позавидовать Посвященному, увидевшему такое? И жаль, что «Записки» полны пробелов. Знал ли этот «Наставник» о присутствии нашего Посвященного? Да как не знать, трудно ведь и вообразить, что не знал, если он способен прозревать, как говорится, толщи времен. А тут — всего-то каких метров сто. Ну да — кусты. Но что такое кусты для проклятого нобла, повелевающего эвольвенторами... Знал, как мы увидим, отлично знал. Но, поди ж ты, допустил присутствие чужака, дозволил ему. Правда, с купюрами — не все, значит, считал возможным открыть, не все секреты свои обнаружить. Но частично-то все-таки обнаружил! Зачем?.. Посвященный, конечно, объясняет...

А чертовы ноблы, видно, и в самом деле ушли далеко от нас, если на такое мероприятие юнцов отправили и еще называют это учебной практикой. Что же у них тогда «не практика»; что серьезное дело? Подумать страшно, не подлежит воображению!

Но предоставим действию идти дальше и, как можем, перескажем «Записки» Посвященного, чтобы было короче.

Значит, они начали свое дело...

IV

Посреди леса в маленьком болотце жила Маленькая Дафния. Это было уже и не болотце, а всего-навсего крохотное старое окно под старым пнем, лужа, водоемчик, одним словом, а болото давно высохло и заросло. Под пнем-то и жила та Дафния.

Солнце туда почти не проникало, только тоненькие лучики прорывались иногда сквозь заросли и корни, и тогда под пнем становилось светло и приятно, все оживало и начинало двигаться. Маленькая Дафния никогда не пропускала такого случая. Она выплывала из тени прямо на луч, замирала и грелась. Она даже засыпала ненадолго — так ей было хорошо. Вокруг в том же луче висели и дремали другие дафнии и тоже передвигались вслед за солнцем. Не спали только сторожа; они располагались кругом и следили, не появится ли вдруг опасность.

Молодежь недоумевала: какая опасность? откуда? эти сказки про Черного Жука? Вечно старики преувеличивают, верят во всякую чушь...

Потом луч уходил, становилось сумрачно. И тогда дафнии почти не встречались друг с другом, так как каждая обитала в своем углу; а если кто-то кому-то и попадался на пути во время охоты, то тут же шарахался прочь: ведь в темноте трудно узнать, друг встретился или враг, а потому избежать общения всегда надежнее. Был и у Маленькой Дафнии свой угол: в самой темени под толстым корнем. Там она спала, там же съестные припасы держала, и на промысел за амебами и хлореллами отплывала недалеко. Ей жилось хорошо: никто не тревожил, пищи было вдоволь, а темнота — что ж! — луч скоро опять придет и света будет достаточно.

В один из пасмурных дней под корнем вдруг появилась чья-то тень. Она вползала в чужой дом бесшумно и медленно, как смертельно усталое существо или коварный грабитель. Маленькая Дафния вначале испугалась и затаилась в расщелине корня, но потом разглядела, что

это не чужеземец и не грабитель, а всего лишь большая Старая Дафния, которая еле передвигалась, до того она была дряхлая и беспомощная.

— Не бойся, — проговорила она слабым голосом. — Я зла не сделаю. Я пришла просить приюта. У меня уже давно нет своего дома, все родные и близкие отвернулись от меня, отовсюду меня выгнали. Прими меня, у тебя доброе сердце.

Маленькая Дафния успокоилась и, польщенная, пригласила:

— Входи, места хватит и на двоих.

Она помогла старушке добраться до расщелины, постелила ей мягкой тины и принялась гоняться за колдовратками и инфузориями, чтобы накормить гостью. Но та остановила ее.

— Не нужно. В моем возрасте уже не едят. Старики живут думами и памятью. Заботься о себе — тебе силы нужнее.

А когда наступила ночь, Старая Дафния сказала, что чувствует близкую кончину и потому ей надо спешить — есть тайна, которая не должна умереть вместе с ней.

— Подойди ко мне, — сказала она, — и будь рядом. Нас никто не должен услышать. Ты была добра и ласкова, поэтому свою тайну я открою тебе. Слушай...

И Старая Дафния поведала такую историю.

Давным-давно, когда она была в возрасте ее теперешней слушательницы, ей рассказали сказку. Их лужа под пнем, дескать, вовсе не лужа, а глубокий колодец, и вот на дне его покоится Платиновый Обруч.

— Совсем небольшой обруч — любая крохотная дафния могла бы оббежать его в два счета. Но не сможет никогда этого сделать, потому что будет бесконечно кружить, не в силах запомнить, откуда начался бег. У дафний, моя дорогая, плохая память: они забывают о прошлом и, для того чтобы скрыть это, выдумывают всякие небылицы.

Так вот, значит, по ее словам выходило, что Обруч тот — необыкновенного свойства: стоит о него потереться и назвать желание, как оно тут же исполнится. Любое желание! Бессилен был Обруч только в двух случаях: он не исполнял одного и того же желания дважды и не мог отменить исполненного. И еще — Обруч не был в состоянии дать утешения.

Старая Дафния в юности была натурой впечатлительной и мечтательной, и потому сказка запомнилась ей, и она даже во сне видела этот Обруч.

Житье у них тогда было нелегкое: в водоеме жил Черный Жук, голодная жестокая тварь, от которой дафниям не было спасения — даже когда он не нападал, а только прицеливался издали, кровь стыла в жилах и не было сил бежать и спастись. Вот тогда-то и появились сторожа, чтобы вовремя предупреждать легкомысленную молодежь, если Черный Жук обнаруживался вблизи.

А однажды эта Дафния, греясь в солнечном луче, увидела, как молниеносно мелькнула черная тень, и рядом с нею захрустели в жуткой пасти панцири ее соседа. Она обомлела от ужаса.

— Я забилась в какой-то угол, — рассказывала она, — и окружающее исчезло для меня. Я заболела. Бред сменялся явью, жар — ознобом; порой казалось, что хрустящие панцири — дурной сон. Дни и ночи перемешались. А когда я, наконец, выздоровела и выглянула из своего укрытия, то тут же почувствовала, что на меня направлен голодный и беспощадный взгляд. На этом моя молодость и кончилась... Возможно, Маленькая Дафния, многое из этого тебе рассказывали, как старые сплетни. Но Черный Жук не был сплетней... Он был беспощаден, он оказывался повсюду, бросок его был стремителен и точен. А мы не были организованны, у нас не хватало опытных сторожей, каждый дрожал за себя и ничего не знал о другом. Страх был нашей участью, и племя наше непрерывно уменьшалось. Видя такое, оставшиеся поддались отчаянию и панике, и мне тогда стало ясно, что если так продолжится, то скоро коричневых дафний определят в разряд исчезнувших видов... И вот я решилась на самый важный шаг в своей жизни. Я долго раздумывала, прежде чем приступить к выполнению своего плана, постаралась учесть все мелочи и наконец пришла к единственному решению...

Она, видите ли, решила проверить сказку про Платиновый Обруч. И вот что придумала: нашла камешек, добралась с ним по травинке до середины водоемчика, отцепилась и ринулась вниз.

Натерпелась она во время этого погружения страху: тепло сменилось жгучим холодом, скорость падения была головокружительной, да вдобавок ко всему насту-

пила крошечная тьма. Сознание путешественницы уже еле теплилось, когда погружение вдруг замедлилось и снизу блеснул свет: он был белый и как бы струился. Камень уже не мчался, а медленно оседал, как оседала поднятая молодыми дафниями муть в солнечном луче. И вот, наконец, он остановился, и Дафния упала возле белого светящегося круга. Это был Платиновый Обруч.

— Ты — маленькая и глупая блошка, — продолжала Старая Дафния, — и по этой причине тебе сейчас многого не понять. Но когда-нибудь... когда-нибудь... Ты, конечно, поскорее хочешь узнать, что было дальше, и тебе совсем не интересны мои рассуждения. Это уж так: старые тихо мудрствуют себе, молодые спешат... Ну что ж! Я исполнила задуманное. Я потерялась об Обруч и попросила его сделать так, чтобы исчез из нашего водоема кошмарный Черный Жук, а народ мой был впредь сплочен и стоек и избавился бы от легкомыслия и страха. Вот каким было мое желание. А потом я попросила Обруч еще об одном. «Дай мне, — сказала я, — возможность вернуться домой».

После этого ее стало поднимать над Обручем, потянуло стремительно вверх, свет пропал, и в следующий миг она была выброшена к самой поверхности их обиталища.

Сородичи сразу ее заметили и окружили. И она удивилась их помрачневшим взглядам, как будто она принесла им беду. Наконец одна из бывших подруг сказала:

— Вот она, трусиха и дезертирша! Заявляю от имени всех: отныне у тебя не будет ни друзей, ни дел никаких. Живи как знаешь!

Наша Дафния растерялась, подумала, что подруга шутит.

— Что ты?! Или что-нибудь случилось?

— Ха-ха-ха! Случилось! Посмотрите на эту притвору!

— Притвора! — повторили все. — Притвора и предательница! — Никто не шутил.

— Что ж, — сказала она. — Судите, если виновата.

— Судить! — опять рассмеялась подруга. — Ты сама себя осудила! Подлая лгунья! Лучше скажи, в какой дыре ты отсиживалась, пока мы расправлялись с Черным Жуком! Позор!

И все повторили: «Позор!» И осужденная поплыла в

свой дом... Ей было обидно и горько, но она плакала от радости, что исполнилось ее желание: нет больше Черного Жука, и народ ее будет жить, и никто не определит коричневых дафний в разряд вымерших видов.

Она, отвергнутая, жила очень долго, почти в три раза пережив своих сверстниц. Ей было тяжело, потому что имя ее было окружено презрением. Правда, из поколения в поколение презрение это слабело, но даже слабое презрение — все-таки презрение.

— Разве ты не слышала легенду о предательнице? Так вот, эта легенда обо мне. Но все же я никогда ни на миг не пожалела о сделанном. Конечно, все можно было бы изменить — стоило рассказать о Платиновом Обруче. Но я понимала, что этого нельзя делать. Кто-то не поверил бы, кто-то (и это страшнее) сам рискнул бы испытать силу Обруча, и не известно, чем бы обернулась его попытка...

V

Старая Дафния сложила свои антенны.

— Маленькая Дафния, — тихо сказала она. — Теперь это твоя тайна, и я могу спокойно умереть. Храни ее строго, не поддавайся соблазнам, прибегай к ней только в великом — мелкое и пустое само по себе разрешится. Не оскверни волшебной силы Платинового Обруча! Но если нашим опять станет плохо — ты знаешь, как поступить. И передай тайну достойному.

С этими словами она легла набок и затихла.

Маленькая Дафния похоронила ее в узкой щели соседнего корня, вернулась к себе и стала думать.

Сначала она подумала: «Ах, какая мужественная Старая Дафния!» Потом она подумала: «Какая же она глупая, эта Старая Дафния...» Но тут наступило утро, под пень заглянул луч, и Маленькая Дафния поплыла резвиться — ее подруги уже собирали хоровод.

VI

— Эксперимент закончен! — сказал Первый и выключил эвольвентор.

— Все?! — Второй был заметно разочарован. — Сейчас они там станут усиленно размножаться, появятся соперничающие кланы, начнутся сражения за жизненное

пространство... Да, старик Спиу был великим сказочником.

— Старик Спиу обладал терпением, — сказал Наставник.

Молодые ноблы переглянулись.

— Возможно, стимуляция была недостаточной? — предположил Первый.

— Платиновый Обруч — надежный стимулятор, — сказал Наставник. — Мы видели лишь пролог. Эволюция впереди. Выведи декуртор на полную мощность...

И тут запись нашего Посвященного обрывается. Продолжена она лишь спустя какое-то время, в течение которого, наверно, ноблы фокусничали со своими аппаратами, и Посвященному, скорее всего, не полагалось этого видеть...

Вольному воля, конечно, но стоило ли так сокрушаться: ах, дескать, какая досада, что скрытничают? Не в укор будет сказано, а лишь упомяну как факт: «Записки» Посвященного полны таких «сокрушений» и сожалений.

Ну как тут усомнишься, что одно чистое любопытство движет человеком, будь он неотесанным юнцом или почтенных лет мужем?.. Ведь казалось бы, что ему надо? Сиди наблюдай, мотай на ус, как говорится, чтобы уяснить, какая опасность от этого инопланетного наваждения. Ан нет: жалко, видите ли, что прячутся они, не все позволяют рассмотреть, не ублажают сполна пытлиности моей. (Да еще раз простится мне...)

О любопытство — мать страстей земных! Ты — скользкая горочка, и несет по тебе вниз уловленных тобой, и не за что им зацепиться. И все ниже и ниже мчит в туманную долину спесивого ученого суеверия. И называется это «прогресс». Когда-то, рассказывают, землю не опутывали железные и бетонные ленты, небо было светло и тихо, в ходу были исконные человеческие слова: хлеб, вода, воздух...

Любопытство — тот Обруч, тот их стимулятор окаянный, а все прочее приложено толкователями.

VII

В общем, эксперимент их поехал дальше. И Маленькая Дафния выросла настолько, что стала, как нередко случается в известном возрасте, мнить себя самой силь-

ной, самой умной, самой смелой и прекрасной. Ей, значит, хотелось, чтобы о ней все говорили, восхищались бы ее талантами и умениями. И от того, что говорили совсем не то, она стала дерзить, задирать всех подряд и выдумывать бесконечные проказы. Она лихо носилась по водоему, поднимала невероятный шум, расстраивая походя всевозможные сходы и собрания, разрушая жилища и даже нанося увечья.

Взрослые пытались ее уговорить, образумливали всячески, но поучения и выговоры на нее не действовали — никакого с нею не было сладу, никого она не слышала, ничего не видела.

— Жалкие букашки, я вас не боюсь! — вопила она. — Любую проучу! Я лучше всех!

Само собой, у нее появились подражатели, подобралась компания и началось такое... Говорили даже, что и в пору Черного Жука было сноснее. И тогда решило общество: эту бестию, эту крикунью и хулиганку примерно наказать.

Был у коричневых дафний такой суд, который наказывал провинившегося молчанием: осужденный проплывал сквозь строй, пребывавший в полном молчании и неподвижности — все лишь укоризненно смотрели. Сведущие, между прочим, утверждают, что подобный опыт в системе воспитания является настоящей пыткой, по сравнению с которой даже кнут — игрушка.

Вот это-то и случилось с нашей подопытной. Правда, она проплыла сквозь строй с гордо поднятыми антеннами, но потом, дома у себя, пустилась в слезы от обиды и унижения. Скверно было еще и то, что на пути домой ей повстречалась соседка, обозвала несчастной болтуньей и больно ущипнула за ножку. И вот Маленькая Дафния сидела и плакала в одиночестве, и мнилось ей, что мир устроен гнусно, что дафнии — жестокое племя, и она впервые пожалела, что сама является дафнией. Она не знала, кем бы хотела быть, — да хоть циклопом каким-нибудь, хоть паучком уродливым, только бы не дафнией. Тут она припомнила про какую-то огромную Белую Рыбу — из детских, значит, сказочек, — и сразу же ей представилось нечто сильное, свободное и красивое. И вдруг мысль натолкнулась на Платиновый Обруч.

— Наставник, — проговорил Второй. — Это ведь игра? Мне она нравится, но зачет ли Совет Студии...

— Совет Студии Прогнозов зачет вашу последовательность, — отозвался тот.

— Ты говорил нам о предварительных экспериментах, Наставник, — сказал Первый, — о подготовительной работе. Но то, что мы делаем, затруднительно назвать подготовкой к главному эксперименту. Он прав: это — игра.

— Выводы пока преждевременны. Дождемся результатов.

— Мы не получим верных результатов. Мы убыстряем процесс стимулятором, следовательно — искажаем.

— Мы не убыстряем процесс, но спрессовываем его.

— Наставник! — продолжал Первый. — Мы бывали в местах более далеких и неблагоприятных, чем эта Хи. Никогда нам не приходилось заниматься такой... работой!

— Ты хотел сказать «такой бессмысленной работой»?

— Да.

— Следовало сказать — «такой важной», — деликатно уточнил старший. — Мы уже приступили к главному эксперименту.

— Нам нужен высший, обладающий высшим разумом.

— Высшее познается через низшее.

— Ты хочешь сказать, что эти лоны ведут к высшему? — осторожно спросил Первый.

— Я хочу сказать: игра — испытанное средство для уяснения сути.

— Наставник! — сказал Второй. — За нами наблюдают. Мой индикатор сигналит с самого начала.

— Мой тоже, — кивнул Первый.

— Да, — ответил Наставник.

— Почему ты не включаешь обскулятор?

— Если это наблюдение, то — в допуске. Но я полагаю, что это — специфические токи планеты Хи.

— Ты дал два ответа!

— Такова особенность Хи, — сказал Наставник. — Дальше...

Ах, эти ноблы, эти обскуранты-обскураторы-затемнители... Уму ведь непостижимо — они тут, и в то же время их как бы нет: щелк и — пропали. А человеку-то каково? Знать, что тебя видно, весь как на ладони, что рядышком стоит некто и смотрит и все ему про тебя известно, — знать это и ничего не видеть, и некуда деться... Сами, сами виноваты. Научились, наоткрывали, насигналились в белый свет, и теперь вот — будьте любезны расхлебывать. Кто неволил-то? Да никто. Зуд неволил. А теперь вот оказываешься на своей собственной планете, в своем доме на положении той же подопытной козавки: захотят — покажут тебе фокус, не захотят — отключат. Сперва, значит, с козавкой управятся, потом возьмутся за тебя самого, за высшего, прокрутят, развернут во всю ширь и длину, от пращуров до финиты, и станет им ясненько, как там с тобой было и как будет, и годен ли ты к употреблению...

Справедливости ради надо сказать, что за последнее время наши премудрые и так, слава богу, поутихли. Никто уже без оглядки не распинается о вселенском добре, о так называемом «благоприятном отношении к нам неизведанного», будь то космос или что иное. Теперь-то, по крайней мере, сообразили, что если он когда-нибудь и произойдет, этот самый контакт, то результат может оказаться разный, всякий, а не вот такой конкретно, преимущественно, конечно, приятный, раз нам так хочется. Нам, добрякам. Поистине: не таи зла на другого, но не таи и зоркости.

Впрочем — дальше.

IX

Итак, Маленькая Дафния вспомнила про Платиновый Обруч. А на другой день, когда подружка, оставшаяся доброжелательницей, пошла проведать и успокоить ее, жилье оказалось пустым. Слух об этом разошелся по всему водоему, пропавшую стали искать, обшарили все укромные местечки, но так и не нашли. И решили, что бедняжка либо покончила с собой и затонула, либо пряталась куда-нибудь, чтобы умереть голодной смертью.

Тут началось смятение, многих стала грызть совесть, посыпались взаимные упреки в жестокосердии. Особенно досталось законнице, которая первой предложила наказание молчанием — теперь ей ставили в вину то, за что вчера превозносили: честность ее объявлялась заносчивостью, решительность — нахальством. И в конце концов «Закон о наказании молчанием» был отменен навсегда. И спали дафнии в эту ночь плохо: каждой мерещилось, что именно она виновата в гибели Маленькой Дафнии.

А через день неизвестно откуда нагрянул громадный и страшный Черный Жук и сожрал охаянную накануне законницу, а потом — ту самую соседку, что ущипнула Маленькую Дафнию. А еще через день, к великому ужасу дафний, появился второй Черный Жук, и начались, как говорится, беды великие...

Однако, хотя Посвященный и останавливается очень подробно на этих бедах, нас пока что интересуют другие сферы.

Нет смысла рассказывать, как обладательница тайны достигла дна водоема (повторить опыт Старой Дафнии не составляло, зная, большого труда) и отсыпалась у Платинового Обруча. Только была она уже не коричневой Маленькой Дафнией, а большой Белой Рыбой.

Проснувшись, она увидела в Обруче свое отражение и осталась довольной. И без сожаления вспомнилась ей лужа под пнем, вспомнились блошки-дафнии, их мелкие дела, мелкие страстишки — вся их мелкая-мелкая жизнь...

Белая Рыба покружила возле Обруча, опробовала свои плавники и хвост и, довольная и гордая, поплыла по течению, и ее понесло в неизвестные страны.

Она побывала в огромных водоемах, где богатейшая растительность и такой разнообразный и причудливый мир новых сородичей, что невозможно было не изумляться порой, когда встречалась какая-нибудь уродина, которая оказывалась тоже рыбой и с которой по неписаным подводным законам надо было поздороваться.

Она узнала пресные и соленые воды; больше ей понравилось в пресных — здесь, к тому же, было и спокойнее. Самым же лучшим местом оказывался укромный уголок где-нибудь в стоячей воде, где камыши и тина, где тень и чуть-чуть припахивает болотом. Надо сказать,

что приличия требовали пренебрежения к подобным закоулкам, но что поделаешь с натурой? Когда ее видели здесь свои, она делала вид, что заплывла сюда случайно; а если была одна, то блаженствовала, наслаждаясь тишиной и сумраком, или охотилась за всяким мелким сбродом — постоянными обитателями этих мест: жуками, личинками, паучками. Особенно же она отличала дафний — они тут были не коричневыми, но это не меняло дела: Белая Рыба терпеть не могла эту шныряющую бестолочь, этих убогих мельтешащих тварей, которые и плавать-то как следует не умели. Она их пожирала сотнями, и не потому, что была сверх меры прожорлива, — ее непереносимо раздражал их вид.

Время от времени она наведывалась к Платиновому Обручу; она мучительно соображала, чего бы потребовать у него, но дальше обильной и вкусной пищи ни до чего не додумывалась.

От Обруча к населенным водоемам вел узкий и темный коридор, а Белая Рыба так растолстела, что уже еле протискивалась сквозь него, и потому догадалась попросить Обруч переместить самого себя в одну из ее любимых заводей, где было особенно тихо и затененно. Другие рыбы не любили сюда заплывать, то есть Платиновый Обруч оказался и под рукой, как говорится, и надежно скрытым от посторонних глаз.

Сколько бы длилась такая ее жизнь, сказать, конечно, трудно. Но однажды она наткнулась на Шуку, которую видела в первый раз, и, разглядев хищный и голодный блеск вражьих глаз, кинулась прочь, не разбирая дороги, и Шука долго преследовала ее, лязгая челюстями и издавая жуткий свист, от которого мутилось сознание. Наконец преследовательница отстала, но тут вдруг появились две выдры, которых Белая Рыба также видела впервые. Она почувствовала, что это — тоже враги, и, собрав последние силы, нырнула в глубину и мчалась вниз, пока прямо-таки не врезалась в дно. Вокруг были сумерки — так глубоко она еще не забиралась. Полежав на иле, Белая Рыба кое-как отдышалась и стала, держась тени и зарослей, двигаться к дому. Но несчастья не оставляли ее: она заблудилась.

Не будем задерживаться на всех колдобинах ее путешествия. Выбирать верное направление ей помогали подслушанные разговоры других обитателей подводного

царства; иногда она даже отваживалась расспросить о дороге. Но главное-то, главное: она ведь понимала язык дафний, не могла его позабыть, как ни старалась, и теперь он ей ох как пригодился. Дафнии, известно, болтливы: вечно у них какие-то диспуты и обсуждения, вечно — сплетни и кривотолки о таинственных водах, необычных происшествиях и прочем вздоре; и в большинстве-то случаев они не имеют ни малейшего представления о самом предмете разговора. Белая Рыба незаметно пристраивалась где-нибудь вблизи и внимала, и таким манером узнавала много полезных пустячков. Выслушав очередную дискуссию, она употребляла участников в пищу и плыла себе дальше. Раз, например, дафнии разглагольствовали о том, что, дескать, где-то в неведомых краях живут-де тоже дафнии, но, видите ли, коричневой окраски. Живут они, значит, в луже под пнем — представляете себе?! — и, вроде приходится им туго: переводят их два лютых Черных Жука, уж совсем, бедных, мало осталось. И так далее и тому подобное...

Белая Рыба слушала, и что-то ей припоминалось — что-то не особенно приятное. И чтобы не расстраиваться, она набросилась на шумное собрание и проглотила его в целом.

В другой раз она заметила жука, который ей очень кого-то напоминал. Она и его съела, но он оказался на редкость жестким и безвкусным.

Так она, в конце концов, и добралась до своей заводи.

Х

Платиновый Обруч был на месте. Он ослепительно сиял, а вокруг столпилось такое количество зевак, что вода прямо-таки кипела. Заметив Белую Рыбу, они в панике стали разбегаться; она врезалась в самую гущу, оглушительно чавкнула, выпучила глаза и так ахнула хвостом, что черная муть поднялась густым облаком, и в нем, как в преисподней, исчезли все любопытные. Не теряя времени, Белая Рыба подплыла к Обручу, потерялась об него и произнесла:

— Хочу быть Быстрой Выдрой!

И тотчас стала ею.

Нет, она не захотела превратиться в Шуку — есть

существо, которого и Шука боится, и то существо — Выдра.

С этого часа началась полоса удивительных превращений бывшей Маленькой Дафнии. По мере того как она становилась сильнее и совершеннее, сильнее и совершеннее становились ее желания. Жизненный ее опыт непрерывно обогащался, копились знания, крепнул ум. Переходя из одного вида в другой, она, само собой, запоминала языки, повадки и пристрастия и таким образом оказывалась все более грозным противником низших видов, из которых вышла. Да и для своих-то она была не менее опасной, потому что знала больше, думала шире и, значит, была умнее их.

Первый вывод, который она сделала после нескольких превращений, был таким: у каждого есть враг, более сильный и лучше устроенный; но и у этого врага есть свой враг, и у того — свой, и где предел — неизвестно.

И второй вывод сделала бывшая Дафния: желания бесконечны — достигнув одного, немедленно хочется другого, нового, и это также беспредельно. Когда открывалось, что кто-то сильнее ее, она немедленно занимала его место. Она не только не желала зависеть от кого-либо или кого-то страшиться — она уже не мирилась и с равными себе.

А вот и третий вывод: невозможно вообразить ничего более жалкого и убогого, чем та Старая Дафния, которая первой нашла Платиновый Обруч...

Она поочередно перебивала в роли Грозной Змеи, Мрачной Пантеры, Свиного Вепря, Хмурого Волка и в других ролях. Потом, наконец, превратилась в Несокрушимого Медведя, потому что в тех краях не было более солидного и грозного. Но лишь первое время она испытывала удовольствие от положения Несокрушимого. Ведь если и Медведь — предел, то это очень скучно. Что бывает за пределом?...

Так он, царь леса, и бродил по горам и долам, и не давала ему покоя мысль: что дальше?

XI

Трое ноблов, сообщает нам далее очарованный Посвященный, невозмутимо смотрели на экран.

— Какая алогичная эволюция, — сказал наконец Пер-

вый. — Нет, это не наши лоны, ничего даже отдаленно похожего.

— Что мы уже отметили, — отозвался Второй.

— Ты, следовательно, считаешь, — обратился Наставник к Первому, — что если бы это были наши лоны или подобные нашим, то они эволюционировали бы в нас?

— Да, не предполагал, что старик Спиу так связал тебя, — весело заметил Второй.

Первый смутился.

— Давно... В первые годы Студии... Словом, тогда я тайно раскрутил лонов. Наставник! Они вымерли! Наши лоны вымрут!

— Очевидно, ты пользовался несовершенным, ученическим эвольвентором, — спокойно проговорил старший. — Это так?

— Да... Несколько стадий промелькнуло... Я знаю — я не смел... Но такой результат... Вымирание!.. Я готов испустить...

— Специфические токи планеты Хи, на которой ты не успел еще адаптироваться, внушают порой преувеличенное чувство вины.

— Специфические токи Хи, — словно эхо, отозвался Второй.

Первый опустил голову...

* * *

На экране брел по лесной чаще лохматый черный медведь; он был сумрачным и скучным. И вдруг появилось живописное озеро, покатый травянистый бережок, солнечное небо, и на берегу — три существа.

Был полдень. Существа сидели кружком, пили что-то, любовались природой и беседовали. Это были существа мужского пола.

Один пил чай с черничным вареньем и утверждал, что все в мире покоится на инстинктах, ибо инстинкты непреходящи.

— Отседова что выходить? — спрашивал он. — Что и как? А то выходить, что невозможно про инстинкт сказать, что ентот вот, значить, хороший, а ентот — тьфу. Потому оны, как один, либо хорошие усе, либо — никуды.

Другой пил чай с медом и ни за что не соглашался с такой постановкой вопроса.

— Эфта твоя концепция неправильная. Как говорится, во всёй своей полноте. Тут же, к примеру, ежлиф потвоему, то как раз получается, что усё усем можно. Так? Так. А как же так-то можно? Эфти самые, как ты говоришь, истинты нельзя пущать на самотек. Вот, возьмем, баба у меня...

— Иови энд бови! — воскликнул третий из приятелей. — Короли и капуста! Все верно. — Он был самый худой и старый, и самый невзрачный из троих; он пил чай, подливая в свой стакан что-то из фляжки, которую доставал из внутреннего кармана, и прятал обратно. — Иови энд бови.

— Вишь? — сказал тот, что пил с медом. — Поддерживают меня. Ежлиф для пользы, как говорится, общества, то надоть эфти инстинты поделить. Которые полезные — туды, — и он поставил свой стакан перед худым, — а которые бесполезные или, как говорится, вредоносные, эфти пущай идутъ сюды. — И стакан худого стал перед оратором, и тот сразу солидно отпил.

— А хто тебе доложить-то, какой инстинкт пользительный, а какой хреновый? — усмехнулось черничное варенье.

— Дык глядеть, глядеть надоть! — загорячился мед. — Глядеть! А как же? Хорошему — пожалуйста, просим. А который худой — стоп, хенде хох. А то один эф тот натуральный хавус выйдеть. Баб вон распустили...

— Отдай мой стакан, — сказал худой и заплакал.

Уличенный обиделся, сказал, что манипуляция со стаканами нужна была для наглядности, отпил еще немного, затем восстановил статус кво и угрюмо продолжал:

— Бабам волю дай, им дай волю...

— Воля, — все еще всхлипывая, продолжал худой. — Воля. Инсургенты. Иови энд бови.

— Ну а мужикам ее дай? — спросил виновник спора. — Дай им, и что выйдеть?

— А на что она мне? На кой? Куда я пойду? А баба пойдѣть, ону не удѣржишь...

— Воля! — еще раз повторил худой, уже успокоившись, и лег на спину, и добавил облегченно: — Вон у кого воля! Вон он! Орел-батюшка. Парит себе! Поглядывает! Просторно наверху. И ни до чего нашего дела нет. Это — воля! — И, закончив, он тут же уснул мертвецким сном.

— Ты яво не забижай, — сказало черничное варенье. — Высокого полету бывши.

— Бывши да сверзившись, — мстительно усмехнулся мед.

— Ты за им, как за каменной стеной, сидевши.

— А ты?

— Я молчу.

— Ежлиф какие молчать, оны не подзуживаютъ.

— Кто подзуживаить-то?

— А про истинты хто начавши? Думаешь, я не понявши? Истинты! Оны-то яво и доконавши. А за им и нас с тобой.

— Ты меня с собой-то не ровняй!

— Ох-ох, цаца!

— Это паскудство, коллега! — оскорбленно преобразилось черничное варенье. — Я ведь сознательно начал совершенно посторонний разговор, чтобы отвлечь *его* от мыслей о собственном падении, а вы...

— От паскуды слышу, коллега, — не остался в долгу мед. — Вы не устали оплакивать себя, я знаю. И вам не терпится кого-нибудь обвинить в своих неудачах.

— Это вы неудачник, а у меня изобретения есть!

— Какова же цена вашим талантам, если вы держались только благодаря *ему*!

— Я попросил бы вас заткнуться, бездарь вы и завистник желтушный!

— А вы — паразитирующий неврастеник!

— А вы — побирушка и лакей!

— А вы...

— Иови энд бови, — пролепетал спящий. — Орел-батюшка... Парит себе... Воля...

— Боже! — сокрушенно произнесло черничное варенье. — Как безобразно завершается столь удачно начатый эксперимент...

За кустами сидел медведь и внимал. Он, конечно, мог бы их всех немедленно съесть — это у него на морде было написано, — но он не хотел, так как заботился о пищеварении. Он просто вышел из укрытия и рявкнул, и приятелей как ветром сдуло. Медведь доел мед и варенье, а таинственную фляжку так и не нашел: хозяин ее, видно, не пожелал с ней расстаться, даже рискуя жизнью...

Экран продолжал мерцать. Медведь двигался по берегу.

— Что это? — удивленно спросил Первый. — Кто они?

— Это философы, — сказал Наставник.

XII

Над вольной равниной, над широкой степью летел Могучий Орел. Он летел на такой высоте, что там не было жары даже в самую знойную погоду; там воздух был свежим и мягким, как перина, и движения Могучего Орла были плавными. Он то припадал на крыло и скользил по кругу, то парил, прикрыв в истоме глаза, то складывал крылья и падал, наслаждаясь ветром и скоростью, а потом опять взмывал и опять парил, глядя на солнце.

Ниже, — дистанция была раз и навсегда определена, — летел адъютант и телохранитель Старший Сокол; а еще ниже кружили стаи кобчиков — это была охрана. Кобчики не могли на много оторваться от земли (да и не позволялось это) и изнывали от духоты и жажды. Благодаря хорошему зрению, они видели, что творится на тверди: копошащихся мышей, пташек разных, синие ручьи и длинноногих куликов на отмелях, даже рыбешек видели, обгладывавших стебли тростника или просто блаженствующих в тихих заводях у самой поверхности. Все это было как на ладони, но ни один из кобчиков не имел права хотя бы подумать поживиться — Старший Сокол был неусыпно зорок и бдителен. Охранять покой и безопасность Могучего Орла — вот была их обязанность, и ничто другое в мире не должно было для них существовать. Они то собирались в неприступное каре, то перестраивались в стремительный клин, то располагались кругом, ни на секунду не упуская из виду ни адъютанта, ни самого повелителя, ни ничтожнейших изменений вокруг них — в воздухе или внизу. Они не знали, от каких врагов следует охранять Могучего Орла, они знали лишь, что надо охранять и охранять зорко. Время от времени командир кобчиков, самый

сильный и натренированный из них, отрывался от стаи и пробивался вверх, к Старшему Соколу. Конечно, он не мог достигнуть высоты телохранителя, не говоря уже о высоте Могучего Орла; он поднимался лишь настолько, чтобы быть услышанным, и, задыхаясь, кричал:

— Ваше стервятничество! На западе грозовое облако!

Старший Сокол в свою очередь тоже взмывал, насколько мог, и предостережение передавалось главному адресату.

Могучий Орел уже давно видел облако, которое не было не только грозовым, но и просто дождевым, и к тому же проходило стороной. И презрительно покосившись вниз, отвечал:

— Вижу. Свободен.

И Старший Сокол стремительно снижался, и также стремительно нырял вниз командир кобчиков, и, облегченно расслабившись, занимал место в очередном построении.

Бывали, — правда, весьма редко, — случаи, когда кто-нибудь из охранников, заметив развалившегося на солнцепеке суслика, забывался (соблазн брал верх) и очертя голову кидался на жертву. Но он не успевал даже ощутить вкус свежего мяса — собраты тут же раздирали его в клочья. После этого нарушенный строй восстанавливался и служба продолжалась.

А Могучий Орел безмятежно парил в вышине. Конечно, он замечал минутные смятения в рядах охранников, но не придавал таковым значения. «Пусть, — усмехаясь, думал он. — У них там свои заботы». Было светло на душе, мысли текли спокойно, как тихая река или как этот вот ветер, прохладный и ровный.

Время, когда он волновался, осматривался, испытывал крепость крыльев и привыкал к высоте, давно миновало. Да, когда-то новое свое положение он принимал еще как дар судьбы. Он оценивал себя со стороны, чтобы избавиться от многих привычек, идущих от прошлого, прислушивался к многочисленным голосам в себе и внимательно оглядывал каждого, кто появлялся рядом. Все это давно прошло. Он увидел, что могущественнее его нет, и ему уже не мерещилось про «дар судьбы», он уверовал, что всегда был таким, как теперь, и что судьба тут ни при чем. Он теперь не зависел ни от чего и ни от кого; наоборот — все живое, с его заботами, помыслами и

интересами, с его настоящим и будущим, подвластно только ему, Могучему Орлу, и целиком зависит только от него одного. Он уже не упивался своей мощью, как вначале, не доказывал ее на каждом шагу — она и без того была очевидна и неколебима. «Существующий порядок вещей, — гордо думал Могучий Орел, — единственно возможный. Он справедлив. И если бы я даже сам что-то захотел изменить, то не смог бы, потому что это невозможно».

Каждое утро он вылетал на прогулку: принимал воздушные ванны, разминался, чтобы не затекли мускулы и не ослабли крылья, оглядывал свои владения и думал. Он думал о своем пернатом царстве, но чаще всего — просто о мире вещей как таковом. Его, само собой, не интересовали мелочи — с огромной орлиной высоты он окидывал землю единым взором, и она была голубой и зеленой. Она все время была голубой и зеленой, и это еще раз доказывало постоянство и незыблемость сущего. Иногда, — конечно, очень редко, — в голубизну и зелень внедрялись разные чужеродные пятна, но их существование оказывалось краткосрочным.

После променада, который продолжался два с половиной часа, Могучему Орлу докладывали, что наступает время обеда. Это также входило в обязанности Старшего Сокола — по установленной форме он четко стрекотал:

— Ваша Недоступность! Время обеда приближается, как об этом Вашей Недоступности известно лучше меня.

И тут кобчики внизу располагались таким образом, что получалось слово «ОБЕД». Могучий Орел резко взмывал, запрокинув голову навстречу солнцу, и затем плавно снижался к своему жилищу. А пониже, в этом же направлении, ганнибаловским полумесяцем двигалась охрана.

В неприступных скалах на головокружительной высоте размещался дворец Могучего Орла. Это был прочный и величественный замок, выложенный снаружи и изнутри драгоценными камнями. Он состоял из многочисленных залов, комнат и коридоров; их было такое множество и так мудрено они были соединены между собой, что не только случайный посетитель, но и сами обитатели в два счета могли заблудиться и попасть в неприятную историю, если бы им, например, вздумалось полюбопытствовать, куда ведет такой-то, скажем, про-

ход или что помещается в такой-то закрытой комнате. Не заблудился бы в этом лабиринте только сам Могучий Орел и его верный страж Старший Сокол. И еще один обитатель замка не заблудился бы тут — привратник Древний Ворон, который хотя и был простым привратником и не имел ключей, кроме входных, но имел зато хорошую память, потому что был стар и мудр и много чего повидал на своем веку.

Вот он вылезает из своей каморки, гремя ключами, блиноруко шуруется из-под крыла, замечает стройную стаю кобчиков и, прихрамывая, идет отпирать ворота. Кобчики подлетают, располагаются в две шеренги, и Ворон говорит им, вздыхая:

— Намаялись, бедные. Жара-то! В тени бы в такую пору валяться, а тут — служба. Эх, кра-кра-кра...

— Молчать! — рявкает в таких случаях Старший Сокол. — Чем болтать, старая дохлятина, лучше бы подмел у ворот!

— Все делается в соответствии с Уложением, ваше стервятничество, — отвечает Древний Ворон.

— А болтовня с охраной тоже в соответствии с Уложением?

Они всегда затевали свару, так как не любили друг друга издавна, и прекращалась свара лишь с появлением господина. Свист ветра в его крыльях заглушал голоса, грозный стук когтей о каменную плиту ставил всяким речам точку. Ворон кланялся, Старший Сокол отступал в сторону и тоже склонял голову, и Его Недоступность Могучий Орел, величаво сложив крылья, неторопливо следовал в замок.

XIII

На обед подавались чаще всего живая рыба или кролик. Могучий Орел сидел в пуховом кресле, рядом стоял Старший Сокол, а коршуны повара подносили кушанья. Они ставили их перед повелителем и, не поднимая глаз, выходили. И как только за ними закрывалась дверь, Старший Сокол вырывал из каждого блюда по куску, проглатывал и становился в выжидательную позу. Могучий Орел следил за ним. Таким образом проверялась пригодность пищи — ведь она могла быть

отравлена: мало ли что случается, если на свете живут завистники. Понаблюдав несколько минут за своим слугой, Могучий Орел принимался за еду. Если рыбу приносили в аквариуме, он вдыхал запах воды, и в мозгу его легким хмелем всплывали смутные образы; он закрывал глаза и некоторое время сидел неподвижно. Потом, словно спохватившись, впивался в самую крупную из рыб. Она билась и извивалась в его когтях, по упругому телу струилась и капала в воду кровь, и лишь одному Могучему Орлу был понятен беззвучный рыбий крик «быстрей... быстрей...».

Щуки, между прочим, вели себя иначе. Они не шаркались, подобно каким-нибудь язам или головлям, о стенку аквариума, а в когтях Могучего Орла все норовили укусить царственную особу, хлестались хвостом и кололись плавниками. И ни разу Могучий Орел не слышал, чтобы щука крикнула.

Кролика подавали освеженным, и есть его в таком виде не составляло, по правде, никакого интереса, и если бы не правила и не этикеты, Могучий Орел велел бы подавать кроликов живыми.

Обед заканчивался, и Его Недоступность в сопровождении телохранителя шел на затененную веранду, чтобы почистить клюв и пригладить взъерошенные перья. Здесь же он дремал минут пятнадцать-двадцать, чтобы окончательно принять достойный вид и собраться с мыслями — особенно щуки всегда портили ему настроение. Затем начиналась деловая часть дня.

Это, собственно, была аудиенция. Приходили пернатые министры, чиновники всех рангов, гонцы, просители и — напоследок — гости.

Его Недоступность Могучий Орел — Аквила Регия Инвиктус Максимус Юстус* — восседал на высоком золотом троне, ослепляя царскими одеждами и величественной осанкой. Одесную его стоял вернейший и преданнейший слуга Старший Сокол, ошую — первейший и любимейший друг Строгий Сарыч, министр пернатого настроения и порядка.

Важные чины входили по одному, докладывали о делах, выслушивали указания и становились в стороне. Так

* Орел царственный непобедимый величайший справедливый (лат.).

зал постепенно наполнялся и к концу аудиенции, перед увеселительной частью, бывал полон до отказа.

Приходил Горный Гриф, главный любимудр, а также наместник Южных областей, которого в шутку называли просто Гэ-Гэ. У него было немало заслуг, что отмечалось в специальных Уложениях, в одном из которых, в частности, говорилось, что сего мужа надлежит впредь именовать «Грифус Монтанус Предитус».* Он был медлительным и невозмутимым, тем не менее считался полезным членом птичьего сената, приятным собеседником, а кроме того доводился Его Недоступности дальним родственником. Гэ-Гэ входил, сгибался в поклоне и начинал речь о том, что все земное преходяще и всяческое суетство — доказательство слабости живущих; непреходяща лишь мудрость и сила Великого.

— Вера в светлый и мудрый образ повелителя, в безграничную его справедливость и заботу порождает в подданных бодрость духа. Это-то и является моральной основой, Ваша Недоступность, это-то и указывает всякому свое место и положение, равно как и сферу и меру приложения способностей. И горе тому, кто позабудет о стезе, предначертанной ему. Ибо справедливость и прекрасное всегда восторжествуют — ваше крыло тому порукой, Ваша Недоступность. Чтобы не быть голословным, завтра же я покажу вам, Ваша Недоступность, новый трактат...

Прилетал Бравый Ястреб — первый связной. Он стремительно подбегал к трону, кланялся и докладывал что-нибудь важное, что считал приличествующим настроению владыки. Затем он вставал рядом с Гэ-Гэ и, еще не отдышавшись, начинал что-то шептать ему, но тот, как правило, уже безукоризненно спал.

Прилетала Великая Княгиня Сова, заведующая складами. Заикаясь и поправляя очки, она так отрывисто и торопливо сыпала цифрами, что Строгому Сарычу приходилось членораздельно повторять за ней, иначе бы повелитель ничего не понял.

Прибывал Угрюмый Филин, старший пожарный. Он заявлял, что очагов нигде не наблюдается и меры против возникновения таковых принимаются постоянно.

Входил Зоркий Кондор, смотритель ресурсов, и

* Гриф горный одаренный (лат.).

рисовал широкую картину состояния материально-продовольственного положения; как всегда, он не мог удержаться от критики в адрес Великой Княгини.

— Склады не проветриваются, Ваша Недоступность, дыры в полах не заделываются, что допускается, как я полагаю, с целью разведения мышей для личных нужд ее близорукости...

Вместе появлялись Верный Сапсан и Преданный Кречет, соответственно председатели Первой и Второй канцелярий, ведавших метеорологией и туризмом.

Входили и влетали еще долго. Но вот объявлялся перерыв, и теперь посетителям разрешалось громко разговаривать, щебетать, клекотать, шипеть и свистеть, а также обращаться к Его Недоступности с дельными вопросами и предложениями. И затем наступала вторая, неделовая, часть приема.

Влетал Блистательный Чеглок, блюститель искусств, охорашивался, изящно подходил к трону и говорил что-нибудь изысканное.

Вплывал Важный Аист, первый хранитель новостей, становился сразу в стороне и, если его о чем-то спрашивали, отвечал жестами, так что невозможно было отличить «да» от «нет». Второй же хранитель новостей, Резвая Сорока, уже с порога начинала такую трескотню, что ее тотчас приходилось хватать под крылья, оттаскивать в самый дальний угол и там отпаивать соком, чтобы окончательно не зарапортовалась.

Появлялся Бодрый Страус, главный физкультурник; Кроткий Пеликан, законодатель мод; Томный Журавль, министр воображения. И наконец выступал Прыткий Петух, старший затейник, прозванный, как и Гэ-Гэ в шутку, Пэ-Пэ. И в зале становилось тесно и шумно, серьезные дела уходили на второй план — начиналось веселье. Пэ-Пэ носился повсюду, придумывал на ходу игры и анекдоты, сочинял прибаутки, заводил хоро-воды, — то есть старался вовсю, чтобы никто не ску-чал. Гремел смех, возносились восторженные «ура» и «браво». А Могучий Орел между тем внимал Тихому Дятлу, который сидел в тени его крыла на подлокотнике трона и привычно выстукивал своим длинным клювом что-то условное, понятное лишь ему и его господину.

Но вот открывались боковые двери, и в сопровождении нежных девушек-соек появлялась супруга Могучего

Орла — Прекрасная Голубка. Она приветливо улыбалась своему повелителю, сдержанно отвечала на поклоны царедворцев и гостей; возле золотого трона устанавливали маленький серебряный троник, девушки-сойки подсаживали на него свою госпожу и становились за ее спиной полукругом. Это был апогей праздника.

Звенела музыка, кружились пары, веселье бурлило рекой. Поэты Скворец и Коростель читали новые творения, посвященные царственным особам и красоте природы; певцы Соловей и Кенар исполняли гимны и торжественные арии; шут Тетерев изобретал каламбуры, порой затмевая самого Пэ-Пэ, так что царица смеялась до слез. Между гостями сновали проворные стрепеты, разнося мороженое и напитки. И никто в этом радостном гаме не замечал, что в нише над самым тронном сидит Главная Оракульша-Кукушка и невозмутимо пророчествует что-то бесстрастным монотонным голосом.

Случалось, правда, что Оракульшу все же замечали, и тогда по знаку Могучего Орла в нишу посылался один из кобчиков.

— Его Недоступность, — говорил Кукушке посланец, — приказывают вашей мнительности покинуть зал и впредь не показываться без особого распоряжения Его Недоступности.

— Ку-ку! — отвечала Оракульша. — Предвижу в муравейнике дней карминовые облака...

— Ваша мнительность, вы покинете зал или нет?!

— Карминовые облака с четырех сторон. Ветер сухой, умеренный, юго-восточный, температура ночью плюс два, днем минус один...

Стражник летел к Старшему Соколу и докладывал, что «их мнительность не хочет убираться и бормочет что-то про облака в кармане, муравьев и похолодание».

— Она сошла с ума, ваше стервятничество!

Старший Сокол наклонялся к повелителю и шептал:

— Кукушка болтает про муравьев, Ваша Недоступность. Не иначе, спятила.

— Гнать вон, — морщился Могучий Орел и отворачивался.

А праздник громко продолжался.

Наконец, когда гости уставали, музыканты выдыхались, поэты хрипли, Пэ-Пэ истощался, Тетерев напивался, а Прекрасная Голубка начинала позевывать, приступали

к чтению новых Уложений. Строгий Сарыч разворачивал желтый свиток, и под своды зала взвивался его сильный, чистый голос.

— «Именем Его Недоступности Единственного Великого Могучего Орла, Аквилы Регины Инвиктуса Максиму Юстуса отныне и вовеки веков повелеть...»

В эту минуту становилось тихо на земле и на небе — даже ветер успокаивался, даже реки замедляли свой ход, даже презренная дикая мошка, которая ничего на свете не понимает, замирала где-нибудь в щели и страх сковывал ее члены. Гости и придворные стояли вытянув шеи, не смея шелохнуться ни единым перышком, не моргая и не дыша.

— «Упоминание имени Его Недоступности скороговоркой, либо нечленораздельно рассматривать как злословие с соответствующими отсюда проистеканиями...»

— «Рассуждения о делах и Уложениях Его Недоступности в неподобающем месте и неподобающем настроении считать беспечным легкомыслием с последующим за сим...»

— «За рачительность и усердие на службе его стервятничество Старшего Сокола одарить особым вниманием и впредь именовать» его высокостервятничество Старший Сокол Магнификус Альтиволанс...»*

Бывали и другие Уложения — их накопилось очень много, и все они издавались на желтых свитках, которые хранились затем в Стальном Сундуке в Главной Канцелярии.

После зачтения Уложений раздавалось громкое одобрительное клекотание, и гости начинали расходиться. Как только скрывался последний, Могучий Орел соскакивал с трона и под крыло с Прекрасной Голубкой удалялся в опочивальню. Девушки-сойки расходились по залам, смешивались с кавалерами-попугаями и вели свободный образ жизни, отдыхая от нелегких обязанностей фрейлин.

Вечером Могучий Орел чаще всего совещался со Строгим Сарычом и председателями канцелярий, а глубокой ночью — опять с Тихим Дятлом. Потом он шел в свои покои, и в замке воцарялась тишина.

* Великолепный высоколетающий (лат.).

XIV

Иногда в бурную непогоду, когда темнота вспыхивала молниями и небо грохотало, словно обрушивались скалы, Могучему Орлу становилось тоскливо и одиноко в огромном замке среди привычных лиц. Он отменял дела и увеселения, садился в царскую нишу в одной из верхних башен, и так сидел при свече один, задумчиво глядя в ураганную ночь. Даже Старшего Сокола не было рядом — он стоял за дверьми, потому что в такие минуты никто не должен был видеть повелителя.

Он смотрел в ночь, и зыбкие мысли проносились в его голове. «Чего я достиг? — думал Могучий Орел. — К чему пришел? Это ли все, что возможно смертному? А если это все, то почему мысли беспокойные? Я имею все, что можно иметь, некому со мной мериться ни силой, ни славой, ни богатством, я могущественнее любого и всех вместе, и воля моя свободна и нет преград для нее. Даже для воды есть преграда — солнце, даже для ветра — скалы, даже для света — малейший предмет на пути его. А для моей воли нет преград. У меня нет врагов, у меня нет и друзей — мой разум выше дружбы или ненависти. Так что же смущает душу, что мешает наслаждаться земными радостями?»

Так думал Могучий Орел, а ветер рвал и трепал пламя свечи, и в нише металась черная тень.

— Сокол!

В мгновение ока тот оказывался рядом.

— Сорок кобчиков.

— Есть, Ваша Недоступность!

Адъютант не интересовался замыслом господина, не удерживал от ночного предприятия, не думал о его последствиях — он исполнял, потому что исполнять было высшей потребностью его духа, наисладчайшей его пищей.

На холодном ветру, на самой высокой башне собирались кобчики. Они заспанно озирались, ежились и поджигали крылья, потому что их ждало неведомое.

— Ты остаешься здесь, — говорил Могучий Орел Соколу.

— Есть! — отзывался тот и, назначив командира отряда, ретировался.

И стая низвергалась во тьму.

Кобчики жались к самой земле, строй их то и дело нарушался ветром, но они его тут же выправляли под руководством своего командира, и полет продолжался. Никто не знал, куда их ведет повелитель — известно было одно: из таких полетов никто не возвращается.

А Могучий Орел летел вверх. Он грудью врезался в ветер, рассекал его крыльями — ему нравилась эта борьба.

Они прилетали на берег моря, где вой и грохот достигали такой силы, что казалось, будто лопается небо.

— Двадцать — в сторону! — командовал Могучий Орел, и двадцать кобчиков отлетали и прятались под скалой. Здесь было тихо, и, сбившись в кучу, они ждали следующего приказа и отдыхали. А оставшимся на берегу повелевалось копать; крыльями и когтями они принимались разрывать песок. Ветер валил с ног, дождь сек по глазам, гром оглушал, и молнии ослепляли, а море, накаывая очередной вал, обрушивало края ямы, и все надо было начинать сначала. Кобчики выстраивали перед ямой живую стену: часть сдерживала телами натиск моря, другая часть продолжала работу.

Могучий Орел стоял в стороне и ждал. Когда кобчики зарывались на достаточную глубину, он командовал «отставить», и те вновь выстраивались перед повелителем, который приказывал:

— Теперь вы должны умереть. Такова моя воля.

— Есть, Ваша Недоступность! — отвечал дружный хор. И тут же командир, как самый преданный, делал над собой усилие и падал замертво. Его примеру следовали другие, а тех, кто не обладал такой властью над собой, Могучий Орел бил клювом в голову, и они ложились рядом с товарищами. Потом он сбрасывал их тела в море и спрыгивал в яму. Ему оставалось соскрести лишь небольшой слой, и ночь озарялась белым дрожащим светом — на дне ямы лежал сверкающий Платиновый Обруч. Могучий Орел долго сидел возле него, весь во власти томительного волнения, и сосредоточенно перебирал в памяти, о чем бы попросить; мощь, смелость, неуязвимость, богатство — все было уже давно даровано, и воображение отказывалось измыслить новую просьбу, а повторяться было бесполезно: Платиновый Обруч не исполнял дважды одного желания или желания, подобного уже однажды исполненному.

— Силы! — шептал Могучий Орел, прикасаясь к холодному металлу. — Зоркости!.. Уверенности!.. Крепости крыльев!..

Но Обруч никак не отзывался — не было в его блеске того характерного напряжения и искрения, которыми отмечалось, что просьба воспринята и выполнена. И Могучий Орел понимал, что прилетел сюда напрасно.

Подавленный и утомленный, он забрасывал Обруч песком, чтобы свет не проникал наружу, затем выбирался из ямы и грозно призывал:

— Ко мне!

И оставшиеся кобчики тотчас оказывались перед ним; они не спрашивали, куда подевались их товарищи — спрашивать было нарушением Уложения и, следовательно, преступлением.

— Закопать.

Такая работа заканчивалась обычно в несколько минут.

— А теперь вы должны умереть. Такова моя воля.

— Есть, Ваша Недоступность! — следовал стройный ответ.

Оставшись один, Могучий Орел поднимался в воздух и, презирая непогоду, начинал кружить над этим местом. Буря в конце концов начинала стихать, гром удалялся, ветер успокаивался. Море постепенно зализывало следы работы; вот уже совсем гладок песок, вот уже волны перекатываются через отмель и достигают скалы, где недавно прятались кобчики, а далеко на востоке начинает матово светиться небо. Идет прилив...



Следует заметить, что Могучий Орел все реже навдывался к своему тайнику. «Эта моя ночная тоска в бурную погоду — это от волнения стихий в природе, как верно объясняет Гэ-Гэ, — рассуждал он. — Потому что я — олицетворение природы. Зачем мне летать туда? Если мой ум бессилён изобрести новое желание, то, значит, и нет более того, чем я обладаю, и нечего больше желать». А кроме того он испытывал своего рода зависть к Платиновому Обручу: «Могу ведь я и сам сделать то, что захочу или что окажется необходимым, — я, Аквила

Регия, непобедимый и величайший, — ибо что же я за «непобедимый и величайший», если то и дело прибегаю к помощи какого-то обруча?»

Боялся он также, что, может статься, чудом уцелеет кто-то из кобчиков, и тогда... Трудно было представить, что случится тогда...

XV

Бессонница приходила порой и в спокойные ночи, чаще в безлунную тихую погоду, когда по земле разливалась теплая истома и мир блаженно замирал, как бы упиваясь своим совершенством и бесконечностью, и звезды горели особенно ярко и близко. Могучий Орел запирался в одной из самых отдаленных комнат и вышагивал там в одиночестве, изнывая от больших дум и непонятных желаний. В эти минуты он уже не думал, что является олицетворением природы, и мудрствования Гэ-Гэ представлялись глупейшей болтовней. И вот, когда тоска уже грозила перейти в отчаяние, он вызывал Оракульшу, и они говорили.

- Что есть жизнь? — спрашивал он, и она отвечала:
- Жизнь есть движение.
- От чего к чему?
- Из одного места в другое.

О таких вещах лучше было бы не говорить с Оракульшей — еще ни разу подобный разговор не приносил успокоения. Но слушать подлую лесть и пустословие Гэ-Гэ было еще горше.

- Что движет?
- Необходимость.
- Откуда необходимость?
- Из желаний.
- Откуда желания?
- От необходимости двигаться.
- Где же тут начало и где конец?
- Нет ни начала ни конца.
- А смерть?
- Смерть — веха.
- Что потом?
- Тьма.

— Ах! — воскликнул однажды Могучий Орел. — Есть! Нашел! Меня тяготит предчувствие тьмы. И если смерти не будет...

— Будет, — последовал ответ.

— Но я могу стать бессмертным!

— Живой труп...

— Пошла вон!

Наутро он совещался со Строгим Сарычем, и тот заметил осторожно, что Его Недоступность стали хуже выглядеть.

— Так недолго и до болезни...

— Что же, — усмехнулся Могучий Орел, — по-твоему, я могу умереть?

— Этого не может быть, Ваша Недоступность! Лекари Вашей Недоступности — лучшие в мире.

— Лекари, — повторил Могучий Орел и поморщился.

— Может быть, — сочувственно сказал друг и советник Строгий Сарыч, — Вашей Недоступности следовало бы на время отвлечься от дел, от этих бесконечных забот...

— Что ты называешь «отвлечься»?

— Охота! — Глаза Строгого Сарыча вспыхнули. — Охота — величайшее наслаждение! За тем вон мрачным лесом есть удивительные поляны, и пасется там множество разномастных четырехлапых. Ваша Недоступность могли бы повелеть...

Через день вылетели. Кроме Могучего Орла, Старшего Сокола и Строгого Сарыча, здесь были еще Бравый Ястреб, Гэ-Гэ и Блистательный Чеглок, и всю группу эскортировали стройные стаи кобчиков, тювиков и канюков.

Охота была великолепной. На полянах в самом деле паслись и нежились многочисленные стада разнообразной живности. Взмывал и камнем падал на жертву Строгий Сарыч, бесшумно насккивал Бравый Ястреб, метался Старший Сокол, неистовствовал Блистательный Чеглок. Но наивысшее мастерство показал, конечно, сам повелитель. Он был неутомим, стремителен, точен и устрашающе прекрасен. Жертва сопротивлялась ему один лишь миг, и немедленно превращалась в кровавые клочья. Он единолично разорвал не меньше сотни кроликов и повалил около пятидесяти ланей и коз. Главным в его поразительном таланте было — внезапность.

Стремглав бросался он на цель, сверлил ее взглядом, сбивал с ног, и в следующее мгновение клюв, когти и крылья завершали работу.

Эскорт, разбившись на отряды, шнырял по всему лесу, шипеньем и клеточным выгоняя зверье на поляну, где действовали неустомимые охотники. Побойше длилось несколько часов, и к обеду вся поляна была завалена трупами. Утомившиеся бойцы сидели на опушке и тихо переговаривались. Гэ-Гэ, не принимавший участия в мероприятии, так как был ленив и боялся крови, мирно философствовал, превознося таланты своего господина и подводя под культ зрелищ моральную основу. И только Могучий Орел молчал. Он не устал; легкость и покой чувствовал он в этот час, словно испил чудодейственного лекарства или помолодел на несколько лет. «Вот, — думал он. — Можно, значит, обойтись и без Обруча...»

В лесу было тихо. Понемногу наступал вечер; снизившееся солнце разбивалось о деревья; от реки шла прохлада.

С этого дня охоты устраивались часто.

XVI

Наставник выключил эвольвентор, так как первый из его подопечных был крайне возбужден, а второй отвернулся от экрана.

— Мы хотим освоить планету Хи, — сказал Наставник. — Ведь такова главная цель?

— Да, — прошептал Первый. — Ты знаешь...

— Вы видели, как приблизительно это делается.

— Да...

— В таком случае, что тебя гнетет?

— Я никогда не видел, как это делается...

— Охоту устроил бывший лон, — с невеселой улыбкой заметил Второй. — По-твоему, он наш предшественник?

— Мы не от лонов! — с отчаянием возразил Первый.

— Кто это доказал?

— Наставник напомнил, что подобие форм...

— Наставник говорил также о специфических токах Хи...

— В таком случае, я это доказал, я! Наши лоны вымерли! Мой ученический эвольвентор отметил это четко!

— Ты сказал, что он был несовершенным, несколько стадий промелькнуло.

— Не нужно таких споров! — строго произнес Наставник. — Они не помогут нам.

— Хи — дикая планета! — не в состоянии успокоиться продолжал Первый. — Наш эвольвентор работает по нашей логической схеме. А логика Хи...

— Тебе странно, что их лоны стали птицами?.. Не дает тебе покоя Спиу.

— Они на этой планете могли бы стать кем угодно!

— А мне подходит эта планета, — задумчиво сказал Второй. — Так и кажется, что я дома. Почти адекватные условия.

— Ты все время забываешь, что подобие форм...

— У нас урок, — сказал Наставник. — Урок требует внимания, проникновения в суть материала, уяснения ее. Мы исследуем низших, и пока только на этом должны строить выводы.

— Я хочу видеть высших! — упорствовал Первый.

— Ты их уже видел, — сказал Второй.

— Эти трое на берегу?

— Урок не закончен! — Голос Наставника был суров, и спор прекратился.

«И вновь замерцал экран, — пишет Посвященный, — и ужасный их урок продолжился...»

* * *

«Ужасный урок...» Признает, стало быть, что ужасный. А вот чтоб помешать им... То ли резона нет, то ли этика научная не позволяет. Но ведь если разобраться-то, по какому такому праву какие-то чудища прилетают на нашу Землю, как к себе домой (юнцу, видите ли, «подходит эта планета!»), и спокойненько, на глазах, разыгрывают свои забавы?! Пальнуть бы из лазерной-то пушечки, чтоб дорогу сюда забыли. То-то был бы им эксперимент.

Но уж продолжим, и да не обидится Посвященный, что прерываю его рассказ на свой манер.

Несмотря на всевозможные меры и предосторожности, в вотчине грозного Аквилы Регики стали происходить невероятные вещи. Нежданно-негаданно обнаружилось вдруг, что Великая Княгиня Сова, заведующая складами, не чиста на руку и что, значит, ночной образ ее жизни вообще, популярно говоря, оставляет желать лучшего во всех отношениях.

Следствие было закончено в наикратчайшие сроки, «а если еще, — пишет Посвященный, — иметь в виду скорость, с которой сие демонстрировал нам чудодейственный эвольвентор ноблов, то выйдет и всего одно короткое мгновение». Факты, словом, подтвердились полностью, даже с лихвой, и Его Недоступность лично распорядился участию преступницы: сорвал с нее очки, швырнул в физиономию и топнул так, что задрожали своды замка.

— Непостижимо! Невероятно! В моем владении! В моем доме! На моей службе!!! Дрянь ненасытная! — И, свалившись в изнеможении на трон, повелитель зашелся в нервном кашле: — Упразднить!

Великую Княгиню нарядили в черные одежды, привязали на шею камень, отнесли к морю и бросили в самом глубоком месте. Перед казнью она успела лишь пролепетать:

— Передайте этому длинноносому подлецу, что... — Но договорить ей не пришлось.

Главный любомудр Грифус Монтанус Предитус по данному печальному поводу якобы выразился, значит, в том смысле, что в годы благоденствия, в минуту затишья бдительность особенно важна. Потому что все, дескать, в беспечности пребывают, все радуются сытости и тишине, и праздничное состояние распространяется подобно эпидемии. А это, сказал он, очень опасное и вредное состояние.

Повелитель обозвал его болтуном, а вездесущая Оракульша прокряхтела свое невозмутимое «ку-ку».

А ситуация между тем развивалась дальше.

Не успели затихнуть разговоры о складских инцидентах, как из Западных Лесов пришла весть о бесчинствах дроздов: собирались крупными стаями, устраивали

шумные и безобразные пиры, во время которых злословили по поводу имени Его Недоступности, а также оскверняли места охоты. Пришлось для наведения порядка послать туда эскортилью кобчиков. Увы! — скоро подобное же произошло и на Южных Плоскогорьях, в вотчине Гэ-Гэ; на этот раз отличились перепела. Эти пошли еще дальше: сделали чучело своего хозяина-любомудра, вились вокруг него и блажили (дословно), «что не хотят подчиняться всяким лохматым живодерам». Кроме того, они поносили самую Прекрасную Голубку, присовокупляя к ее имени безнравственные и циничные слова. Над этими наглествами был учинен показательный суд.

А Кукушка-Оракульша не уставала предсказывать смуты, хотя уже и без того было ясно, что пернатый материк переживает кризис. После перепелов слушалось дело о лихоимстве грачей; потом на повальном браконьерстве попались кулики; потом что-то с водоплавающими... И так — одно за другим... И все же еще можно было мириться, если бы не эта сокрушительная новость о заговоре. Да-да! — в самом дворце зрел заговор, и во главе его, — хотите верьте, хотите нет, — стоял никто иной, как сам его надменность Строгий Сарыч.

Сначала было два-три сигнала, которым повелитель не придал значения, потому что считал подобное чистейшей галиматьей. Но пришел Его Неизбежность Случай, — он всегда, в конце концов, приходит, и — глаза раскрылись.

Дело было так. Могучий Орел шел по коридору, и вдруг из покоев Прекрасной Голубки донесся счастливый смех. Он прислушался и различил голос своего друга и министра настроения и порядка. Сомнений не было, так как Могучий Орел узнал бы этот великолепный голос среди тысячи подобных — столько Уложений было им зачитано! А через несколько минут отворилась дверь, и министр появился собственной персоной. Без единого звука повелитель тут же собственноручно арестовал его. На допросе Строгий Сарыч сознался, что замышлял переворот. Когда официальная часть была закончена, Могучий Орел посетил заключенного в камере.

Строгий Сарыч был распростерт на полу и напоминал скорее бесформенную грудку свалывшихся перьев, чем

живое тело. Могучий Орел сел и закрыл глаза крыльями: ему было мучительно видеть своего недавнего любимца падшим.

— Никогда, Сарыч, — промолвил он с болью, — никогда я не поверил бы, что ты... — И заплакал.

— Я невиновен, Ваша Недоступность, — донесся безжизненный хрип; голос, этот прекрасный голос, погиб безвозвратно (Строгому Сарычу проломили горло), и Могучий Орел заплакал еще горше.

— Я невиновен...

— Да-да, Сарыч. Бесчестный и перед смертью лжет.

— Невинновен...

— Ты же сознался, Сарыч. К чему теперь упорствовать? Из страха?

— Я не боюсь, Ваша Недоступность. Но так умереть...

— Как же ты думал умереть?

— На поле битвы.

— На поле битвы... Хорошенькое же ты поле присмотрел себе... Так подло обмануть меня... А ведь ты был другом. Сокол, тот — моя собака, а ты был другом. Ты помнишь наши охоты? Ты, значит, затем уговаривал меня отлучаться из замка, чтобы плести сети измены? Да, видно, такие пошли времена, Сарыч, что и друзьям веры нет. Прощай же. Умри стойко.

И с этими словами Могучий Орел вышел, утирая слезы.

Три дня провел он уединенно в тайной комнате, а на четвертый им овладел вдруг небывалый приступ ярости. Он ворвался в спальню Прекрасной Голубки (она как раз занималась предобеденным туалетом) и, выгнав соек, неистово закричал:

— Шлюха! Предательница! И ты с ним заодно! Ты, которую я подобрал на мусорной куче и сделал царицей, хотя в гнусных жилах твоих нет ни капли орлиной крови! Ты, которая стала бы обыкновенной девкой и выносила бы помой в третьеразрядном кабаке! И ты смела опозорить мое имя! — И тут он стал срывать с нее царские одежды.

— Милый, — шептала она, близясь к обмороку. — Ваша Недоступность! Ошибка... умоляю... выслушайте... пощадите...

— Молчать!!!

И на этом биография Прекрасной Голубки «имела, как выражается наш Посвященный, свой конец». А фрейлины ее были отданы на потеху интендантам-канюкам, а потом направлены очищать леса от вредных жучков.

Наступили тяжкие времена. Приемы и аудиенции были отменены, увеселительные заведения закрыты, утренние променады отставлены. На место Строгого Сарыча, с сохранением прежних обязанностей, был назначен его бесстрашность Зоркий Кондор, который тут же издал Уложение, запрещающее зажигать по ночам свет. И только вылазки на охоту продолжались. Здесь Могучий Орел отдыхал душой и телом.

XVIII

Под сводами замка чаще стал сновать Тихий Дятел; он отличался удивительной способностью появляться и исчезать в самых неожиданных местах и самым неожиданным образом. Его боялись все. Но вместе с тем считали, что он выполняет работу весьма чрезвычайную в данной ситуации — Строгий Сарыч имел немало родственников, и ничего особенного не было в том, что один за другим выявлялись всякого рода казнокрады и лиходеи, лжецы и проходимцы, которыми бывший вельможа в свое время щедро себя обставил. И Тихому Дятлу старались по мере сил помогать.

В короткий срок сошли со сцены Верный Сапсан и Преданный Кречет, использовавшие служебное положение в целях контрабанды, Важный Аист, нарушивший «Уложение о самоуправстве», Бодрый Страус, проболтавшийся во сне о каких-то «других материках» и многие другие.

Очередь дошла, наконец, и до Гэ-Гэ. При внимательном изучении его трактатов обнаружилось, что все до единого они списаны с чужих, что он тем только и занимался, что разглагольствовал о своем родстве с повелителем, безудержно жрал, спал и присваивал себе чужие мысли. Когда истина, наконец, всплыла и Гэ-Гэ об этом узнал, то тут же и умер от разрыва сердца.

После этих мер восстановилась относительно здоровая обстановка.

Не могу до сих пор понять, с какой стати они прицепились к этим шалапутам, гонявшим чай у озера. Ну наткнулись случайно, — а потом-то чего вязаться?

Посвященный убеждает, что это неспроста и что беспечный юный нобл, — Второй, значит, — требовавший еще и еще раз вернуться к «трем философам», вовсе не такой уж и беспечный, потому что, видите ли, он уловил какую-то там связь между теми голубчиками и дафниями и не был опровергнут Наставником. Первому он в своей шутовской манере объявил, что, значит, никакие это не местные «высшие», а, дескать, ноблы, акклиматизировавшиеся на планете Хи. И приятель ему ответил, что не ожидал такого легкомыслия.

И вот они, несмотря на протесты Первого, стали гонять свой эволюентор туда и назад, и «философы» появлялись то совершенными голодранцами, то в космических одеждах, и речь их натурально подзаборная только что делалась вдруг культурной, а то и настолько пересыпанной учеными словечками, что, ей-богу, я и в передаче Посвященного ничего почти не мог понять.

Не знаю, зачем им — Второму и его Наставнику — нужна была эта комедия. Но вот оказалось, что «философы» ихние то ли актеры какие-то, то ли диалектологи, которым надо было опуститься, чтобы обрести, видите ли, некоторые специальные знания. А потом Второй хитро улыбнулся и заявил, что улавливает сходство старшего из «философов» с их Большим Магистром (заведующим, что ли, этой Студии Прогнозов?) и что тот, дескать, тоже носит с собой какой-то там сосуд. На что Первый ответил, что это уже полное издевательство и так учебную практику проходить невозможно. Второй серьезно вдруг возразил, что практика — самая прекрасная, что никогда, значит, перед ним не вставало столько значительных вопросов, как теперь.

Мне нет никакого дела до ноблов и их проклятой студии, а равно до порядков и магистров тамошних. Но мне странно, что Посвященный так подробно, так аккуратненько и не без умиления даже (да простит он меня, если уж я недопонял кое-чего) описывает все это.

Дальше — больше.

Молодые ноблы заспорили о том, чем объяснить такое их сходство с «обитателями Хи», то есть с нами. Первый упирал, значит, на то, что, дескать, тут случайное совпадение; Второй же начал фантазировать, что они (ноблы то есть) уже когда-то побывали на Хи, а то и вовсе Хи — их прародина, и просто они в свое время оставили ее и ушли в космос в поисках жизненного пространства. И Наставник не препятствовал фантазиям своего подопечного.

— Если мы — Хи, — сказал возмущенный Первый, — то почему они так отстали? Почему дичают?

— Возможно, мы дичаем? — с жаром спросил Второй. — Мы, объевшиеся техническими и научными знаниями, отстали и дики по сравнению с ними?

— Знания и дикость несовместимы!

— Легче доказать обратное!..

Ну, тут мне нечего делать со своими комментариями, пропустим это место из «Записок» Посвященного, тем более, что никакого, уверяю вас, отношения к теме, как говорится, их спор не имеет, а так — одна сопливая грязня: кто кого перешеголяет, кто кого перекричит.

Пропустим десятка три страниц и вернемся опять в птичье царство.

Затишье там, как и следовало ожидать, оказалось кратковременным. Не успели им, так сказать, насладиться, как — на тебе! — новая новость: скомпрометировали себя Филин, Ястреб и Чеглок, а также повара-коршуны. Причем, в обвинительных актах на сей раз были такие штуки, как «сластолюбие», «извращенный вкус», пристрастие к чуждой птицам пище (Блистательный Чеглок вроде бы даже открыл тайное производство и торговлю медом).

Могучий Орел тяжело взмог на тронное место и мутным взором оглядел зал. Мрачной пустотой дохнуло на него, время как бы застыло, ослабели беззвучные зевы окон. Пора было лететь к Платиновому Обручу. Но чем поможет Обруч на этот раз? Восстановит порядок? Вернет верных соратников? Успокоит?.. Но ведь Обруч не дает утешения.

Был призван Тихий Дятел и спрошен относительно новых фактов беззакония, и вот что последовало в ответ.

— Ошибки нет, Ваша Недоступность. И быть не может. Если любой из них не виновен, допустим, явно, то

виновен подспудно — это истина. Перед данной истиной все законы и Уложения совершеннейшая беспомощность. Потому что вина, Ваша Недоступность, должна определяться не тяжестью уже совершенных проступков, не обличающими фактами, а степенью возможности появления таковых. Все сильные правители всех времен только потому терпели крах, что не знали этой истины или не желали ее усвоить. Всякий из подданных Вашей Недоступности в разное время допускал такое, что наводило меня на размышления. Однако я до поры выжидал, дабы не быть голословным перед Вашей Недоступностью. Посудите сами! Вот, например, его необузданность Бравый Ястреб, который, как известно, стал над канцеляриями после «Дела 666». Неоднократно я слышал, что он, отрываясь от работы и роняя голову на бумаги, говорил «ах ты, забота-забота»... Вот и проанализируем... Почему он так говорил?.. почему он так говорил?.. и почему он так говорил?.. К тому же, конечно, Вашей Недоступности не нужно излагать, что стоит за этим «ах ты, забота». А если бы Ваша Недоступность могли слышать, с какими интонациями он произносил... Кроме того, эта извращенность вкуса... А повара? Вечное перешептывание на кухне, таинственные взгляды по сторонам, что-то прячут под крыло... Я не удивился бы, если бы его высокостервятничество, дегустируя, однажды упал мертвым... Явно боялся свидетелей его бесстрастность Зоркий Кондор — стоило мне появиться, как он злобно прогонял меня, называя мерзавцем и низкой тварью. Разумеется, я догадывался, в чем дело: как-никак он родственник Вашей Недоступности... А Филли, как двоюродный брат Великой Княгини...

— Постой, — сказал Могучий Орел. — Ты говоришь, что всякий мой подданный допускал такое. Стало быть, и ты?

— Я служу Вашей Недоступности как раз, чтобы выявлять это такое.

— Но ведь и ты мог допустить такое. Мог ведь. Все твои рапорты могут быть, например, наветами, чтобы я отличил тебя перед другими, а? Ты ведь честолюбивая пташка!

— Но разве я когда-нибудь о чем-нибудь таком просил Вашу Недоступность? Моя служба...

— А зачем она вообще-то нужна, твоя служба, если ты и сам признаешь, что за каждым водится такое, то есть если уж все заранее известно?

— Я весь во власти Вашей Недоступности, и если Ваша Недоступность полагает, что я и мои обязанности, то есть если они Вашей Недоступности представляются...

Могучий Орел уже не слышал Дятлова бормотания. Ярость взмутила его душу, как внезапный обвал взмучивает спокойное озеро.

— Всех! — закричал он. — Всех до одного — упразднить, упразднить! Поваров, капельмейстеров, астрологов, пожарных... Всех! Это не царский дом, а пристанище мерзавцев...

— Есты! — ответил Старший Сокол, появившийся в дверях.

И с этого момента в замке воцарилась полная тишина.

По пустым коридорам и залам гулял ветер, бесшумно шевелились выцветшие шторы, по полу здесь и там скользили разные бумажки, обрывки одежды, перья и прочая чепуха. По пустым кабинетам неслышно двигался Тихий Дятел, выстукивал стены, подоконники, ножки столов и подлокотники кресел, заглядывал в пустые углы, зевал и, скучая, устремлялся дальше.

У ворот дремал одинокий Древний Ворон; просыпаясь, он близоруко щурился на солнце и вздыхал.

Тишина нарушалась лишь изредка: в нише над пустым тронном пробуждалась Оракульша, и тогда по замку гулко разносилось:

— Пред-ви-жу в су-мя-ти-це дней... в су-мя-ти-це дней... су-мя-ти-це... Ку-ку... ку-ку...

Ворон, гремя ключами, заглядывал в зал, говорил грустно:

— Замолчала бы уж, ради неба...

— Ку-ку, — отвечала Оракульша, и эхо отдавалось в дальних помещениях, и вздрагивали на верхних башнях кобчики, ожидая приказа, и опять погружались в оцепенение, так как приказа не следовало.

Могучий Орел почти не покидал своих покоев. Пишу ему приносил Старший Сокол, постель он убирал сам. Дела его уже не интересовали.

А в лесах и долинах (возможно, и частые охоты сказались) стало мало живности, да и та, что уцелела, гибла от засухи и болезней или переселялась в далекие

и мрачные дебри, так что все труднее было кобчикам добывать пищу себе и своему господину. Вдобавок на леса вдруг обрушилась козявочья эпидемия — почти невидимые букашки и червячки пожирали не только хвою и листья, но и кору, и скоро леса почернели, загнили и нестерпимый смрад пошел от них. А девушек-соек там давно и след простыл.

Могучий Орел, сидя на подоконнике, смотрел вдаль, и тяжелые мысли бороздили его чело. «Вот, — думал он, — вот к чему я пришел. Я — Аквила Регия Инвиктус Максимус Юстус — должен пережить крушение самого себя...»

Он отыскивал Оракульшу.

— Я велик?

— Да.

— Чем?

— Возможностями.

— Какими?

— Именем.

— А величие духа?

— Прах.

— А свобода?

— Вздор.

— А власть?!

— Ку-ку.

— Но я был нужен!

— Ораве.

— Я заменим?

— Да.

— Врешь, проклятая вещунья! — кричал Могучий Орел и, отвернувшись, закрывался крылом, чтобы Ку-кушка не видела искаженного страданием взгляда.

— Кто может заменить меня?

— Любой.

— А имя?

— Дадут.

— Кто?

— Орава.

— Та, которую я...

— Та.

— Врешь!

— Ку-ку.

— Я жесток?

— Относительно.

— Я жалок?

— Относительно.

— Я болен?

— Относительно.

— Может вернуться утраченное?

— Нет.

— Что же произошло?

— Жизнь.

И всегда, помолчав, он задавал последний вопрос:

— Что меня ждет?

И ответ всегда был один и тот же:

— Бессмертие.

Это слово вбивалось в него, как стрела, и он, страдая, прогонял Кукушку. «Что мне от бессмертия? — думал он. — Легче ли от сознания того, что имя твое войдет в века? В таком-то веке, скажет какой-нибудь обстоятельный потомок, в таких-то краях жил-был Могучий Орел. Но я не увижу лица этого потомка, не услышу, каким голосом произнесет он эти слова... Кто им расскажет, что в конце своих дней пережил тот, которому не было равных? Одиноким, ненужным...»

Случалось, им вдруг овладевала жажда деятельности. Он покидал замок и летел над землей. И хотя она не была уже голубой и зеленой, а сплошь черной, он деловито оглядывал ее с высоты, придумывая, как ее преобразить.

— Мы соберем тех, кто остался, — говорил он верному своему телохранителю. — Мы все им прямо скажем, и они услышат своего господина и друга! Мы оздоровим реки и степи, изведем этих проклятых букашек, которые уничтожают леса. Мы запретим охоты — пусть зверье нарождается заново и селится, где хочет...

И вот уже далекие мысли, подобные свежему ветру, пронизывали его. «И тогда у меня будет новый двор, новые служители, я уничтожу все старые Уложения и издам новые, и обнародовать их будет ровным красивым голосом молодой Сарыч. Подрастет молодежь, я изберу для вершения дел лучших, мы перестроим дворец, и во времена шумных приемов молодая царица будет сидеть рядом со мной на новом троне. А этого окаянного Дятла я прикажу посадить в клетку и кормить через день букашечей падалью...»

Он так увлекался, что забывал, куда летит. А когда спохватывался, то видел: внизу чернеет земля, а вдаль чернеет лес, а в обмелевших речках копошится разная нечисть, и тусклое солнце опускается за горизонт, испускающая зловещий и надменный свет. Лететь к Обручу? Все повторить снова?

Описав круг, он летел к замку. «Нет, — говорил он себе устало. — Не будет повторения. И незачем повторять...»

Как-то ночью он вдруг проснулся, словно от чьего-то зова. Был ли то отголосок сна, или возбужденное сознание случайно выплеснуло тот окрик — в первые секунды ничего невозможно было понять. Он встал, прошелся, выглянул в окно: ночь была теплой и лунной, тишина стояла убийственная. Он подошел к двери — за ней стучало сердце Старшего Сокола. И Могучий Орел понял, что надо делать. Тело его ныло и волновалось, как перед броском на врага.

— Сокол! — звонко, как когда-то раньше, позвал он.

— Есть, Ваша Недоступность!

— Двадцать кобчиков! — Он не рискнул приказать «сорок», как прежде: число их уже сильно уменьшилось.

— Есть...

И все было по-старому: полет, море, ожидание и — спокойный голос: «А теперь вы должны умереть...» Только вмешательства господина уже не требовалось — все кобчики умерли сами, настолько они были слабы: небольшое напряжение, судорога и — конец... Он припал к Обручу и простонал;

— Хочу бессмертия! Хочу видеть глаза далекого потомка, когда он произнесет мое имя! Хочу знать это неведомое «потом»...

И свет Обруча напрягся и заискрился.

XXI

«Они снова, — читаем мы у Посвященного, — привели в действие свой обскулятор и исчезли, и, таким образом, я оказался не у дел. Надо полагать, они утомились и пожелали сделать перерыв, чтобы произвести необходимые манипуляции для восстановления сил, манипуляции, коих я не должен быть свидетелем.

Всякий раз, когда они «исчезали», меня поражало не то обстоятельство, что они не рискуют доверить мне определенных своих знаний, но то, что они доподлинно знают, чего мне знать не следует, а что — допустимо. Мне позволялось быть свидетелем настоящих чудодейств — ноблы не опасались их показывать, в твердой уверенности, что я не пойму принципа. И вдруг — обску-ратор! Стало быть, сейчас произойдет нечто, что может быть мною понято. Стало быть, затмить полагалось мне доступное. Что?

Обнажая свои «чудеса», ноблы не боялись и удивить меня, то есть исторгнуть из меня чувство сверхъестественности, — они были убеждены, что не исторгнут; иными словами — попросту знали, что я не пойму, но не стану искать сверхъестественных причин, что мы, земляне, не сочтем непонятное сверхъестественным и не падем ниц, как падали перед сверканиями молний и ударами грома наши далекие предки. Да, прекрасно они знают нас, эти ноблы. И мудро им было заблуждаться относительно меня, существа, которое наблюдает с транскоммуникатором в руках — разумеется, несовершенным с их высоты, но все же способном автоматически переводить незнакомый язык.

Итак, они сделались невидимыми, а я стал ждать их появления и пока размышлял над увиденным и услышанным. Я думал над гипотезой — «ноблы претендуют на нашу Землю». Возможно. Н-6813 меньше Земли, и ноблов, по всей вероятности, меньше, чем нас. Однако уровень знаний и технические возможности делают их во много сильнее. Им у себя тесно, и это серьезное обстоятельство. Отсюда наша задача: скорейшее и крепчайшее объединение на основе лучшего, что есть в лучших из нас. «Возьмемтесь за руки, друзья», как сказал поэт прошлого века.

Но есть и другая гипотеза: «ноблы ищут с нами контакта, который понимают соответственно своей логической системе». И если они пока еще не решаются на непосредственный диалог, то потому лишь, что не располагают исчерпывающими, на их взгляд, знаниями о нас. Словом, проявляют осторожность.

Возможно (и к последнему я склоняюсь все больше), дело не в одной осторожности, а и в том, что ноблы не одинаковы, то есть — мыслят не одинаково. Одни более

воинственны, говоря нашим языком, и жаждут получить жизненное пространство силой, другие же, судя по всему, настроены иначе. То есть между первыми и вторыми нет полного согласия, что, надо полагать, также задерживает осуществление их планов.

Такой вывод napросился в мои раздумья в связи с Наставником юношей, который уже пожил на Земле и которого невозможно отличить от человека. Его взгляд, поведение, его слова... Без сомнения, он принадлежит к вторым в моем условном, прикидочном их разделении.

Я постоянно ощущаю, что между ним и мною словно телепатическая связь. Он все время как бы подсказывает мне: вот здесь нужно обострить внимание, а здесь — ослабить, поймите мою работу верно, это серьезно. А я как бы поддакиваю, прошу тут замедлить, там убыстрить...

Впрочем, пора: я ощутил смутный сигнал, сейчас они продолжают...»



Боже мой, они ему морочат голову, а он поддакивает...

Затруднительно здесь, после этого места «Записок» не заподозрить нашего Посвященного в излишней доверчивости и в мягкосердечии. Да что уж: он — Посвященный...

XXII

Могучий Орел переживал первые дни бессмертия.

Телесных изменений никаких не произошло, только внутри как бы что-то остановилось и затвердело. Не было и прилива сил, на который он так рассчитывал. Зато появились незнакомые доселе, нарастающие, как приступы, ощущения вневременности и безразличия ко всему. Он уже не охорашивался перед зеркалом, не следил за своей внешностью, а ходил развесив хвост и волоча крылья; оперение его сваялось и приняло тот неконкретный цвет, который обычно считается признаком либо полной отрешенности от насущного, либо — болезни. Он уже почти не выбирался из спальни, и понадобилось еще совсем немного времени, чтобы он отвык умываться, проветривать комнату и считаться с тем, что от него дурно пахнет. Тихий Дятел смущенно отворачи-

вал свой длинный клюв и отчитывался, почти не раскрывая его. Он доносил на Оракульшу, но Могучий Орел отмахивался:

— Оставь меня, наконец, в покое.

И тот поспешно удалялся.

В первое время Могучий Орел забавлялся мыслью, что будет жить всегда — ВСЕГДА! Скоро, однако, он так освоился, что чувство «всегдашности» совсем пропало, и вместо него образовались пустота и холод, а все происходящее вокруг казалось миражем или выдумкой. И ему было удивительно, что кто-то входит, говорит «Ваша Недоступность», приносит обед, и лишь потом слабеющая память подсказывала имя входившего — «Сокол».

А владения его вверглись в окончательное запустение: почти все живое вымерло, реки пересохли, как будто они тут и не текли никогда. Затем начались еще и пожары: в одном месте загорелось от грозы и так пошло полыхать во все стороны, что не уняло ни дождем, ни наводнением. После чего земля стала ровной, чистой и темной. Напрасно рыскали над пепелищем кобчики — ни одна тварь не попадалась на глаза, ни одно движение жизни не оживляло пустыню. Только ветер поднимал столбы пыли и пепла, и они, упираясь в небо, ломаясь и извиваясь, бежали к морю. И прилетали кобчики ни с чем, одурманенные жарой и страхом, и Старший Сокол убивал кого-нибудь из них и нес Его Недоступности на обед. По этой причине кобчики стали в великом ужасе разлетаться: одни старались пробиться за море, другие — через пожарища, но большей частью гибли, потому что широки были пространства, а силы истощены.

Тогда Старший Сокол запер оставшихся в подземные казематы, и выводил по одному, и убивал, и нес господину; остатки же царской трапезы пожирал сам. А кобчики, чтобы не умереть с голоду, рыли в казематах землю и питались кореньями, гнилью и мышами, если таковые попадались. Они совсем одичали и скоро, наверно, стали бы пожирать друг друга, как крысы, если бы Старший Сокол не догадался держать их порознь.

Неизвестно, чем питался Древний Ворон; неизвестно также, как влачила существование Кукушка; зато достоверно известно, что Тихому Дятлу жилось привольно.

В замке развелось несметное количество насекомых: они точили все, что поддавалось точению, они в изобилии ползали, порхали, прыгали по всему замку, и Дятлу оставалось их спокойно подбирать.

Могучий Орел тем временем впал в окончательное безразличие ко всему. Он разговаривал только со Старшим Соколом и только о самом обычном; большей же частью сидел и дремал, и ни о чем не думал. Голод его не томил, как и жажда — ведь ни голодная, никакая иная смерть ему не угрожала: она не может угрожать бессмертному. Поэтому приношения Старшего Сокола поедались лениво, по привычке, безо всякого удовольствия.

В общем-то он не испытывал никаких неудобств, ему было попросту все равно. И так шли и шли дни, и ничего не менялось.

XXIII

Однажды вечером, когда Могучий Орел дремал на своем уютном ложе, за дверью слышались голоса.

— Нельзя! — чеканил Старший Сокол.

— Очень важно! — настаивал тихий голос.

— Его Недоступность почивают.

— Но это очень-очень-очень важно!

— Прочь!

Тут Могучий Орел окончательно проснулся и крикнул:

— Сокол! Впусти Дятла!

И не успел Тихий Дятел переступить порог, как очутился в цепких когтях повелителя. Могучий Орел и сам был удивлен такому приливу гнева и энергии, но раздумывать не стал.

— Дрянь! — закричал он лютым голосом. — Доколе, дрянь, ты будешь терзать душу? Доколе будешь мучить меня?! — И с этими словами швырнул его об стену так, что у того перед глазами повисла радуга. Но удивление и страх были настолько велики, что он немедленно пришел в себя и залепетал:

— Ворон, Ваша Недоступность... Записки... Тетрадка...

Но господин на сей раз не захотел выслушивать своего чрезвычайного слугу: он шагнул к нему и наступил на него, и тот расплющился. Вот так печально закончилась жизнь Дятла.

А Могучий Орел отшвырнул его тело и, еще дрожа от негодования, проклекотал:

— Убери, Сокол, эту дрянь. Я его даже есть не стану.

И Старший Сокол съел Дятла сам.

Только потом, когда улеглось возбуждение, Могучий Орел вспомнил предсмертные слова съеденного, — вспомнил, задумался и понял, что предстоит бессонная ночь.

Он встряхнулся, почистился, насколько это было возможно без посторонней помощи, и стал в царственную позу, как то бывало раньше, когда разговаривал с подчиненными.

— Сокол! — позвал он, и когда тот появился, сказал: — Ты был мне всегда самым преданным слугой. Ты один не изменил мне в моих несчастьях. Так вот, Сокол, мы остаемся вдвоем — эта дура из ниши не в счет. Поэтому скажи: ты не покинешь меня, что бы ни случилось?

— Я не существую помимо воли и забот моего господина, Ваша Недоступности! — без раздумий ответил телохранитель.

— Я люблю тебя, Сокол. А теперь иди и приведи Ворона.

И вот пред очи Его Недоступности Могучего Орла стал привратник замка Древний Ворон. Он, кажется, ждал этого свидания и потому был спокоен.

Долго в молчании взирав на него Могучий Орел, затем вздохнул глубоко и сказал такие слова:

— Служил ты мне, Ворон, долго, слишком долго, чтобы не подозревать тебя в бескорыстии. Ты пережил многих, кто был важнее и знатнее тебя. Пережил, а мог и не пережить. Мог, но пережил. Отчего так вышло, что скажешь?

— Понимаю, Ваша Недоступность, — отвечал Ворон. — Мне, по правде, и самому удивительно, как это со мной обходилось до сих пор.

— Да, Ворон, я всегда знал, что ты умная птица. Но вот скажи-ка, будь добр, тебе плохо ли жилось у меня?

— Да нет, Ваша Недоступность. Кроме того, что стервятники Вашей Недоступности два раза разрушали мое гнездо и перебили воронят, да как-то сломали крыло моей старухе, ныне покойнице, ничего худого не было.

— Может быть, ты плохо ел или жестко спал? Или работа была не по силам?

— Слава небу, по силам, Ваша Недоступность, не жалуюсь. И ел-спал хорошо. Как известно, мы народ неприхотливый.

— Ну а может, ты какую личную обиду таил?

— Нет, Ваша Недоступность, личной обиды не было.

— Так какого же ты, Ворон, лешего пишешь какие-то записки? Завел тетрадку, таишься, и я узнаю об этом только теперь!

Тут Древний Ворон усмехнулся, посмотрел прямо в гордые глаза повелителя и промолвил:

— Я готов. И хочу избавить Вашу Недоступность от лишних вопросов. Но говорить буду с глазу на глаз.

— Сокол, выйди! — последовало немедленное распоряжение.

И затем Древний Ворон сказал свое слово, которое мы приводим в точности, как изложено в «Записках» Посвященного.

«— Орел! Ты могущественная и вольная птица. И я тебе служу, как служил твоему предшественнику, которого ты победил в жестоком бою. Но служил я и предшественнику твоего предшественника, и еще раньше, и даже тогда, когда ты не был не только Могучим Орлом, но и Несокрушимым Медведем, но и Мрачной Пантерой, но и Белой Рыбой, а был обыкновенной Маленькой Дафнией из породы коричневых, что мирно жили под старым пнем среди заросшего болота. Вороны, как видишь, долго живут, потому много и знают. Ты был рядовой дафнией и отличался от остальных разве что отменным здоровьем да строптивым нравом. Но тебя погубило тщеславие. Оно напоило ядом твою гордыню, гордыня бросила тебя в омут обиды, обида вскормила месть, месть породила зависть, а та — жажду власти. Помнишь ли ты, Орел, что тебе, умирая, рассказывала Старая Дафния? Она предостерегала тебя. Но зерна мудрости пали на бесплодную почву — ошиблась старуха. У тебя во владении оказался Платиновый Обруч — да ты понимаешь ли, какая редкая доля тебе выпала? Ведь тот Обруч — ключ к Истине. А ты из него сделал игрушку. Ты оставил своих сородичей и предал их. Из мести ты наслал на них Черного Жука, от предка которого их избавила доверившаяся тебе Старая Дафния. И

тебе мало показалось одного, так ты вселил и второго. И теперь уже нет больше дафний под старым пнем, Ваша Недоступность, ни одной не осталось. Черные Жуки сделали свое дело. Они и сами погибли: нечем стало питаться, и, свирепые и голодные, они набросились друг на друга и убили друг друга. Безобразные их скелеты покоятся на дне водоема, на том самом месте, где когда-то лежал Платиновый Обруч. И зарастает обитель коричневых дафний чуждыми травами.

Тебя же, Орел, жажда власти повлекла все выше и выше, и все дальше от Истины. Да, ты достиг больших высот, ты стал силен и знатен. Но скажи: был ли ты хоть минуту счастлив? Был ли истинно и свободно счастлив? О, как же ты, глупец, не увидел, как не догадался! Ты требовал и требовал, желаниям твоим убогим не было конца, а Платиновый Обруч давал и давал. Но ведь то, что давалось, не могло быть утешением. Ведь Обруч не дает утешения! Он отказывает в нем — таково условие! Ведь и Старая Дафния, попросившая освободить своих, не была утешена — ее отвергли, обвинив в трусости и предательстве, не ведая, что спасительница — она; жизнь ее закончилась в нищете и безвестности. Обруч исполнил ее желание, но не утешил! А тобою полученное утешило тебя? И ты ни разу не задумался — почему? Ты ничего не понял, Орел... Утешает добро. Но ты не знал такого. Утешает дружба, утешает любовь. Но не было рядом с тобою ни дружбы, ни любви... Нет, ты ничего не смог понять ни в начале, потому что был глупой тщеславной Маленькой Дафнией, не понимаешь и теперь, потому что — глупый, старый, беспомощный Орел.

Скажи-ка, что ты оставил за собой? Какую частицу добра можно тобою измерить? Какое дело назовут твоим именем?.. Разрушение. Так сколько же стоят воля твоя и величие твое? Во имя чего они? Во имя чего ты?..

Я знаю — убьете меня. Но чего ты достигнешь? С вечной жизнью ты принял вечную кару: каждый твой поступок, каждый шаг, облегчающий сегодня, завтра станет горьким, тяжким грузом. И так будет всегда. Таков путь твой — сам ты его выбрал, вспять не повернешь. Платиновый Обруч, как тебе известно, не отбирает бессмертия — он может его только дать.

Да, я записал про твои дела. Твой прохвост, Дятел, все

же подсмотрел, каналья, хотя ему и пришлось поизощряться. А записал — для назидания. Кто знает: может быть, в последующие времена некто отыщет Платиновый Обруч и, зная твой пример, крепко задумается, прежде чем потереться об него и назвать желание. И вот помни, Орел: хоть ты и сильнее меня, а записок моих тебе не держать. Ты никогда не найдешь их, хотя бы тебе пришлось перерывать все твое царство... А теперь — воля твоя, Ваша Недоступность...»

Молчание, отмечает далее Посвященный, длилось долго.

Наконец повелитель поднял потемневший взгляд, обвел свою опочивальню и, остановившись на привратнике, сказал:

— Внимательно слушал я тебя, Ворон... Да, не знал, что ты так занятно сочиняешь, не то призрел бы раньше. И за то, что ты не испугался рассказать такую историю правдиво и честно, вот тебе моя воля: иди и живи, никто тебя не тронет. И мирно пиши дальше, я не возражаю.

И опять усмехнулся Древний Ворон, поклонился и вышел.

В ту же ночь царский привратник скоропостижно скончался в своей каморке.

XXIV

Прошло время.

Старший Сокол ослеп от старости. Он дежурил теперь не за дверьми, а в самой царской опочивальне. Как и прежде, он исполнял все — уже редкие теперь — поручения своего господина, обходясь одним лишь своим чутьем, так что потеря зрения, хотя и была утратой, но не такой, чтобы очень уж сокрушаться. Любое движение повелителя отдавалось в нем, любые желания Могучего Орла немедленно становились и его желаниями, любое высочайшее слово было единственным, что имело смысл и значение. Возможно, Старший Сокол до сих пор не умер только потому, что на это не было приказа, а стало быть, и права.

Кобчики кончились — Старший Сокол вытащил из каземата последнего.

— Их больше нет, Ваша Недоступность.

Могучий Орел посмотрел на жалкую кучечку перьев и брезгливо отвернулся.

— Можешь съесть его сам.

И телохранитель постарался ответить браво «есть!». И с тех пор для пропитания стал ловить мышей. Когда же и мыши перевелись, он предложил на обед себя.

Могучий Орел стал его успокаивать, велел не падать духом и надеяться, что завтра с мышами повезет. Но Старший Сокол впервые за долгую службу возразил своему господину:

— Ваша Недоступность должны обедать. И если я ничего не нашел...

Видя, что спорить бесполезно, Могучий Орел обещал подумать, и адъютант затих в своем углу возле дверей, и никакие чувства не тревожили его душу.

Он ждал весь день и всю ночь, и следующий день, и следующую ночь, но повелитель не обнаруживал никаких признаков голода или интереса.

Через три дня под вечер Старший Сокол впал в забытие; ему стало мерещиться, что он — в большом светлом зале, а вокруг — огромное количество толстых жирных мышей, и все они глядят на него и наперебой просят их съесть. Он шагнул к ближайшей, но закружилась голова, подкосились ноги, и он упал, разметав крылья. Сразу все исчезло, и Старший Сокол вспомнил, где находится, и понял, что умирает.

— Кто там? — раздался грозный окрик.

Он хотел подняться, но сил хватило лишь на то, чтобы подобрать крылья.

— Это ты? — спросил Могучий Орел и наклонился над ним.

— Я сейчас, Ваша Недоступность, — прошептал он, и слезы потекли из его незрячих глаз: никогда за свою долгую службу он не был перед Его Недоступностью в таком жалком положении.

— Ну-ну, — сказал Могучий Орел. — Успокойся. Ты отошал и ослаб. Сейчас я пойду и поищу тебе чего-нибудь. Все пройдет. Хочешь, я принесу тебе Кукушку? А то совсем забыли про эту подлую вранью. Я, так и быть, принесу тебе ее, что с ней церемониться!

— Я умираю, — слабо произнес Старший Сокол и заплакал еще горше. — Пускай Ваша Недоступность простят меня за такую низость, что оставляю Вашу

Недоступность в одиночестве. Но я честно служил... — Слезы его были горькими и жгучими.

— Ах, друг мой, друг мой, — промолвил Могучий Орел и погладил умирающего крылом. — Да, ты служил мне искренне, ты единственный, кто был бескорыстен и предан мне до конца. Прощай же, Сокол, мой верный товарищ.

И его высокостервятничество Старший Сокол Магник-Альтиволанс утешился и закрыл глаза.

Так Могучий Орел остался один.

Одичавший, он слонялся по замку — то в полной от-
решенности, то прячась от несуществующих врагов и
призывая несуществующих друзей. Порой он уже не
сознавал, кто он и что вокруг него. А когда сознание
прояснялось, он цепенел от мысли, что так будет всегда.
ВСЕГДА...

Вспоминалась Оракульша. И он радовался, что не
скормил ее своему адъютанту в минуту душевной рас-
слабленности. Он отправлялся на поиски, обходил поме-
щения, заглядывал во все ниши, звал, но безуспешно —
Кукушка избегала его. Он приходил в бывший зал
приемов, смотрел на почерневший трон, на заплесневев-
шие стены и обвалившийся потолок и никак не мог
вспомнить, что это за помещение.

— Ку-ку! — раздавалось в вышине и замирало под
сводами.

— Оракульша! — старческим голосом приказывал
Могучий Орел. — Немедленно иди сюда! Слышишь? Я
повелеваю!

— Ку-ку!

— Оракульша! — просил он. — Не бойся! Я же
пошутил, предложив тебя Соколу! Это были просто
слова, я же всегда был к тебе дружен! И мне так надо
теперь с тобой поговорить...

— Ку-ку! — отзывалась тишина, и с потолка сыпалась
труха.

— Оракульша! — молил Могучий Орел, не утирая
слез. — Пощади! Я схожу с ума от тоски. Ну попроси
чего-нибудь! Хочешь, я дам тебе бессмертие? Ты знаешь,
я ведь бессмертен! И вот я согласен передать это тебе.
Хочешь?

И одно несокрушимое безмолвие было ответом...

— Нет! — как раненый, кричал Могучий Орел. — Не прав этот старый безмозглый идиот Ворон. Не прав! Платиновый Обруч не ключ к Истине. Что она сама, эта Истина? Она же страшная и холодная. Она мертвая!.. Оракульша, скажи, скажи, сколько она стоит, такая Истина? Сколько она стоит, пребывая без употребления...

* * *

И тут, к сожалению, опять пробел: ноблы исчезли. Зато потом, до самого конца Посвященный видел все очень отчетливо.

XXV

Однажды ясным, медленным утром Могучий Орел, безотчетно слоняясь по замку, случайно зашел в кабинет, где когда-то помещалась Главная Канцелярия. От кресел и столов остался жалкий хлам, кованые шкафы осели, проржавели и расклепались, с прогнувшихся полов лавиной сползали груды толстых папок. По стенам стекала грязная слизь, капало с потолка, все было затянуто густой и липкой паутиной. Одна из папок была раскрыта, и сквозь плесень и гниль неразборчиво проглядывало следующее:

*«... высо... ше повелеваю в ...нейшем име... ть пол...
именем аквила регия инвиктус макси... во веки ...ов
.....»*

Он опустился на пол, рядом с папкой. Мелькнуло удивление: неужели это все было когда-то важно?

Он долго пребывал в неподвижности. Затем встал и вышел. Походка его была неожиданно твердой, взгляд целеустремленным.

Он поднялся на одну из еще уцелевших башен, стал на ветру и начал отряхиваться, счищать с себя грязь, и это заняло немало времени. Наконец, он закончил и зычно крикнул вниз:

— Прощай, Оракульша! Прощай, Кукушка!

Потом он взмахнул крыльями и, убедившись, что крепость в них еще есть, взмыл в воздух.

Было безоблачно и тихо. Он быстро летел, набирая высоту, и увидел, наконец, впереди полосу моря.

Море было спокойно. Отлив обнажил коричневые камни, и они лоснились на солнце. Песчаная коса под скалой уже вся вышла из воды и обсыхала.

Он опустился на песок и стал разгребать его. Он вытащил Платиновый Обруч, отряхнул и положил на песок, подальше от ямы. А передохнув, взял Обруч в когти и полетел над морем.

Он летел до самого вечера. И когда солнце уже коснулось воды, стал кругами снижаться. И вот за несколько метров от поверхности он потерялся о Платиновый Обруч головой и назвал свое последнее желание:

— Хочу быть дафнией. Но дай мне орлом долететь до моей родины.

И с этими словами разжал когти.

* * *

«Чудо! Свершилось чудо, — сообщает Посвященный. — Отдаю себе отчет в противоречивости и ненаучности данного слова, но не могу не произнести его: да, свершилось чудо. И я, хоть и ожидал его, и был готов, но в первые мгновения не мог поверить своим глазам: мы пришли к исходному. А точнее...»

XXVI

Под старым пнем в далеком лесу было покойно и уютно. Вились мягкие водоросли, цвел по краям мох-сфагнум, пузырилась тина. В великом множестве паслись в воде амебы, инфузории и хищные циклопы; они добывали пищу, играли и грелись в солнечном луче, когда тот появлялся.

И жила среди них одна-единственная старая-престарая Большая Дафния, которой эти амебы нисколько не боялись, потому что она никого не трогала и вообще вела себя так, словно никого не видела. Жила она в расщелине корня и выходила из дома, только когда появлялся солнечный луч. Она складывала антенны и ножки — получался этакий серый комочек — и, передвигаясь вместе с лучом, дремала.

Ей снились дикие сны. То мерещилось, что она — Белая Рыба и живет в светлой реке, то, что она — Грозная Змея, то — большущий Непокрушимый Медведь, и тогда откуда-то доносились голоса каких-то умников, рассуждающих об инстинктах, и один из них плакал. Иногда же ей снилось, что она — Могучий Орел, парящий высоко в небе и гордо оглядывающий землю, а земля сплошь — голубая и зеленая. Но тут же, во сне, происходило странное раздвоение; она как бы жила в двух лицах: одно, спящее, переживало невероятные превращения, а другое, бодрствующее, наблюдало за первым и отчетливо сознавало, что это — ложь.

— Конечно, ложь, — бормотала сонная Дафния. — Потому что всегда ведь было одно, постоянное, неизбывное, дразнящее, как жажда: тяга к стоячей воде. Правда, этот вот, с клювом, он стесняется признаваться и на все лады маскируется. Но я-то все вижу, все про него знаю...

Она бормотала что-то еще, усмехалась и пробуждалась. Сон пугал ее своей несоразмерностью, в сознании еще плавали отзвуки непонятного и совсем явственно слышался чей-то строгий голос...

«Ах ты, боже мой, — всякий раз вздыхая, думала Большая Дафния. — И что за напасть: одно и то же, одно и то же... И про бессмертье какая-то ерунда...»

И тут память глохла окончательно, Дафния переворачивалась на другой бок и подставляла его солнцу, и снова засыпала, передвигаясь вместе с лучом.

XXVII

Когда замок разрушился настолько, что не осталось ни одной ниши, где можно было бы спокойно посидеть, Кукушка вылетела из развалин и летела до тех пор, пока владения Могучего Орла не остались далеко позади.

Здесь опять был лес и светлые поляны, и тихие реки, кишасшие рыбой и прочей живностью. А посреди леса находилось заросшее болото со старым пнем. Пожив тут какое-то время, Кукушка снесла яичко и подложила его в чужое гнездо. Убедившись, что угрозы ему никакой нет, она покинула эти края и уже никогда сюда больше не возвращалась.

«Остановился эвольвентор, замерли другие аппараты, погасли экраны — эксперимент был окончен», — так пишет Посвященный.

Ноблы, утверждает он, выглядели теперь осунувшимися, даже как будто постаревшими — так обострились их черты. Наставник извлек из кармана брюк бамбуковую трубку и раскурил ее от лазерной зажигалки. Молодые переглянулись.

— Это, — объяснил он умиротворенным голосом, в котором, однако, пробивалась нарочитость, — местный обычай отмечать конец работы.

Второй посмотрел просительно; Наставник протянул трубку; юноша затаился, выпустил дым.

— Это необычно, учитель. — В первый раз он назвал его почему-то не Наставником, а учителем.

— После нескольких сеансов это становится желанным.

— Учитель! — Второй улыбнулся. — Что собой представляют «специфические токи планеты Хи», о которых ты так часто упоминал?

— Их очень много — категории, подкатегории, ряды, классы. Все вместе называется словом «страсти». Их можно чувствовать. Нам это чуждо, однако обитатели Хи сильны в страстях.

— По-моему, я уже чувствую...

— Наставник! — Утомленный взгляд Первого остановился на старшем. — Ты получил и экранизировал информацию этой странной птицы!

— Записки Ворона? — невозмутимо переспросил Наставник. — В таком случае, как же быть с той частью экранизации, которая следует за прекращением существования привратника?

— У птицы были предощущения, прогноз. Ты экранизировал этот прогноз. Из того, что зафиксировалось в ее мозгу, легко создать логическую цепь. И если она оборвана, не трудно ее достроить.

— Нас учили, Наставник, что ты можешь все, — смеясь, сказал Второй.

— Вы, следовательно, решили, что я обманул вас?

— Нет, — смутился Второй. — У тебя, очевидно, была определенная учебная цель.

— У тебя была цель, — согласился Первый.

— Да, — сказал Наставник. — У меня была учебная цель. Вы стали свидетелями эволюции низшего. Подготовительный этап позади. Что тебя смущает? — обратился он к Первому. — Эволюция лонов Хи не скопировала эволюцию наших лонов, какую тебе продемонстрировал твой ученический эвольвентор? А тебе хотелось бы, чтобы скопировала?

— Нет.

— Так что же тебя смущает? Ведь ты теперь убедился, что наши лоны и эти — разнятся. К сожалению, у тебя были пробелы — ученический эвольвентор был несовершенным, и ты не увидел пика эволюции. Зато ты увидел пик этой эволюции. Да, конечные результаты совпали. Но это ведь не значит, что и пики совпадают, не так ли? Или тебя смущает возможность экранизации чьей-то информации и прогнозов? В конце концов, чистая ли здесь работа эвольвентора или экранизация последовательной информации — в любом случае ты увидел действительную картину. Что же все-таки тебя смущает?

— Я, — тихо прошептал Первый, опустив глаза, — и тогда видел пик. Мой ученический эвольвентор был исправен.

— Значит, ты знал! — изумленно воскликнул Второй. — Знал, что теория Спиу верна?!

— Он знал, — мягко сказал Наставник, попыхивая трубкой. — Он видел подтверждение теории Спиу, но не верил собственным глазам. Да, мы произошли от лонов. Многомиллионолетняя эволюция сделала нас такими, какие мы есть. Мы ринулись на планету Хи. Но здесь нам по непонятным причинам изменила наша целеустремленность, наша стойкость и решительность. Мы почему-то стали вялыми и малоподвижными, мы стали допускать многозначные ответы на вопросы, нами овладели «страсти», мы услышали в себе непонятные волнения, наше естество стали волновать звуки, запахи и краски, меняющиеся картины природы. Но эти обстоятельства не угнетали нас, а наоборот: как бы освобождали от чего-то мучительного и тяжелого. Специфика планеты?.. В конце концов многие из нас лишились воинственных устремлений и смешались с местными, а другие, кто

испугался таких странных перемен, ушли назад, домой, и там вымерли. Ты это видел, мой мальчик?

— Да, Наставник, — как в полусне, отозвался Первый. — И поэтому здесь оказались лоны... Но я не мог понять, как мы, настолько превосходящие их во всех областях знаний, как мы оказались побежденными? Что это за неизвестное нам оружие, с помощью которого они победили?

— Это — любовь, — сказал Наставник.

Они долго молчали. Наконец, Первый проговорил:

— Я не был готов к полету. Но не мог признаться ни тебе, ни Совету Студии.

— Ты был готов, — кивнул Наставник. — Был готов.

— Нас снабдили неверной информацией! Мы ничего не знаем про обитателей Хи!

— Мы знаем односторонне. И нет ничего хуже одностороннего знания. Чтобы знать их, надо жить с ними.

Второй сел на траву, потом лег.

— Наставник! Я не слышу, о чем у вас разговор. Я не хочу слушать. И не могу понять, отчего это так. Ты научил нас их языку, их привычкам, их манере чувствовать и выражать свое чувство. И мне хочется сказать на их языке: мне хорошо здесь... Ты говорил — «краски, звуки, любовь...». Покажи же нам его, этого разумного, просто покажи — я не хочу никаких экспериментов.

Наставник посмотрел на Первого.

— У нас есть задание! — произнес тот.

Второй закрыл глаза, дыхание его стало глубоким и ровным.

— У нас есть задание! — упрямо повторил Первый. — Если мы вернемся ни с чем, нас дисквалифицируют. Навсегда.

— Ты должен подумать и выбрать, — негромко проговорил Наставник. — Ты свободен в выборе.

— Нам нужна эволюция разумного Хи!

— Ты ее получишь.

В это время с шуршанием раздвинулись кусты на опушке, и на поляну вышла девушка. Первый удивленно посмотрел на своего Наставника, — почему, дескать, тот не включает обскуратор, — и сам потянулся к аппарату. Но Наставник задержал его руку. Второй вскочил. Все трое стали смотреть на девушку.

На ней было светлое одеяние. Она была легка. У нее было открытое приветливое лицо с чуть-чуть раскосыми глазами; из-под воронкообразной шляпы спадали на шею лоснящиеся черные волосы. Она что-то напевала. Оглянувшись и ничего, по-видимому, обескураживающего не заметив, она стала собирать цветы.

— Кто это? — шепотом спросил Наставника Первый.

— Это — человек.

И тут Второй мгновенно преобразился: вместо блестящего, облегающего комбинезона, на нем оказались закатанные, как у Наставника, брюки, белая рубашка, платочек вокруг шеи и та же шляпа воронкой. Он посмотрел на товарищей, отвернулся и, расставив руки, двинулся навстречу девушке, так же, в тон ей, заведя незамысловатый мотив.

Первый напрягся, словно хотел броситься следом, но взглянув на старшего, остался на месте; руки его повисли вдоль тела.

— Он не вернется, — сказал Наставник.

Второй уходил все дальше; девушка, заметив его, взмахнула букетом и засмеялась.

— Я должен дать ему последнее напутствие, — сказал Наставник. — Я сейчас вернусь, и мы займемся эволюцией разумного Хи. Теперь ты видел его.

Он отошел лишь на несколько шагов, как услышал щелчок. Он обернулся: Первый раскрыл люк астролета и нырнул в него. В следующее мгновение воздух над тем местом несколько сгустился, вздрогнул, поднялось легкое облачко пыли и — все исчезло.

Долгим взглядом смотрел Наставник в небо, а когда опустил глаза, на поляне ни девушки, ни Второго уже не было.

«Поспешил прочь от этих мест и я, — пишет Посвященный, — ибо оставаться здесь долее не было нужды. Прячась за кустами, волоча за собой уже не нужный теперь транскоммуникатор, я выбрался туда, где стояла замаскированной моя ракетка. И уже набрав высоту и устремившись в нужном направлении, я все время как бы ощущал на себе чей-то далекий всевидящий взгляд; в сознании возникали невнятные образы, смысл которых был добрым. И я понял, что это — Наставник-нобл прощается со мной».

* * *

К сказанному добавить нечего, кроме разве того, что, по слухам, наш Посвященный вступил с ноблами в прямой контакт (через этого Наставника, надо полагать), и в скором времени мы узнаем о результатах данного контакта.

1967—1981



ТАЙНАЯ
ФЛЕЙТА

Слава вечно юной, неисчерпаемой жизни. Слава единому богу на земле — Человеку. Воздадим хвалу всем радостям его тела и воздадим торжественное, великое поклонение его бессмертному уму!

А. Куприн, «Тост», 1906

Быть может, эти электроны —
Миры, где пять материков,
Искусства, знания, войны, троны
И память сорока веков!
Еще, быть может, каждый атом —
Вселенная, где сто планет!
Там — все, что здесь, в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет.

В. Брюсов, «Мир электрона», 1922

Как детская песня, как дым над трубой,
Как дым над трубой,
Душа улетает в покой голубой,
В покой голубой.
К далекому свету, к тому ли лучу
И песня уходит, и сам я лечу.
За ним я лечу.

Н. Тряпкин, «Мелодия высотных пустынь», 1961

НОЧНАЯ ГОСТЬЯ ВАСИЛИЯ Н

Пятнадцатого августа слесарь-фрезеровщик механических мастерских колхоза «Заря» Василий проснулся неожиданно среди ночи не то от резкой боли в ухе, не то от сквозняка. Он бросил взгляд по сторонам и тут же сел на кровати, очумело соображая: что бы могла означать дырка в стене на месте окна.

— Кажется, вчера было... — Он закрыл-открыл глаза — дырка оставалась; потряс головой — точно: рамы нет и стена вокруг обломана, как от взрыва. Василий упал на простыню и, шаря рукой под кроватью, старательно засоображал: «Чё ж я вчера это... делал? Ленка рано ушла. Саньке по морде в дверях съездил и, вроде, один остался...»

Не прерывая напряженной работы мысли, он нащупал наконец почти полную бутылку «Агдама», с трудом поборов тошноту, совершил спасительный глоток и снова взгляделся: рама была на месте. Полагая, что голова его уже почти ясная, он не спеша вышел на улицу.

Приятный августовский пар от теплой земли обул его босые ноги, целебный деревенский пейзаж привычно принялся за очищение его души.

Василий блаженно потянулся, зевнул и... остался с раскрытым ртом: над его головой висели сразу две луны. Снова мужественно подавив в себе удивление, он подумал: «Хорошо, хоть не троеится». И твердо решил: с завтрашнего дня — ни капли.

Одна из лун качнулась, засверкала, приблизилась, увеличилась.

— Тарелка!.. — не то с изумлением, не то с ужасом догадался Василий.

Он хотел бежать... Не тут-то было! Ноги словно

вросли в землю. Ему вдруг жестоко захотелось исчезнуть, раствориться, пропасть, но... «Эх, была ни была!» — тоскливо подумал он и с решимостью отчаяния принял еще несколько изрядных глотков «Агдама» — для смелости.

Тарелка тем временем спокойно приземлилась в десятке шагов, откинулся люк, и рядом с Василием оказалась необычайной красоты женщина.

«Не хуже Ленки», — мелькнула у него мысль, но вслух он, отважно выпятив грудь, выдохнул:

— Ты кто?! Аэлита?!

Красавица сделала небрежный жест рукой и вдруг на чистейшем русском языке ответила:

— Не-а. Пепельница.

— Пепельница? Гы-гы-гы, — закатился Василий. — А лучше имечка не придумала?

— А чего ты ржешь? Во-первых, имя мне мамаша дала, а во-вторых, у нас это очень даже красивое имя. Просто у вас оно так неподходяще звучит.

— У вас, у нас, — передразнил Василий, совсем осмелев. — Ты че — с неба свалилась?

— Ну как тебе сказать?.. — Она грациозно опустилась на торчащий рядом пенек. — С одной стороны, сейчас, конечно, оттуда, а вообще-то из уха твоего.

— Чё-чё? — протянул Васька и тоже сел — на землю.

— А ничё, — передразнила теперь она. — Из уха, говорю, из правого.

Он хотел захохотать — здорово его разыгрывают! — машинально потянулся к уху, взгляд его упал на тарелку, он вспомнил отчего проснулся, и смог только выдавить из себя:

— И-и... давно ты там... — он замялся.

— Да всю жизнь.

Василий окончательно протрезвел, внутренне собрался и попытался припомнить, чему его учили в школе.

— Как же так? — пробормотал он растерянно, потому что ничего подобного происходящему припомнить не мог.

— Видишь ли, наша галактика находится в клетке твоего правого уха, миллиметрах в полутора под кожей.

— Галактика?

— Ну да. Ведь ты весь, да и все вообще состоит из галактик. А ваша галактика тоже в чем-то находится.

— И это галактика? — Васька шлепнул по земле.

— Ну да.

— И это, и это, и это? — тыкал он пальцем в различные предметы и, видя утвердительные кивки, одуревал. Он закурил, жадно затянулся и с ужасом отстранился от сигареты.

— А в табаке?

— Хм, да в каждой табачинке миллион галактик.

Васька с трудом унял дрожь в пальцах, сжимавших окурок, и хрипло произнес:

— А когда я курю?

— Гибнут они все, — невозмутимо сказала она. — Да ты не расстраивайся, что же делать — так мир устроен, это неизбежно.

— И-ну ты даешь! — протянул он и вдруг, озаренный смелой мыслью, сунул ей сигарету. — Куришь?!

— Курить не курю, — она бросила взгляд на бутылку, — а вот рюмочку бы...

Она ловко подхватила бутылку и дважды основательно глотнула из горлышка.

Васька вскочил:

— Слушай, а в этом... — он ткнул пальцем в бутылку, — тоже ваши?

— Глупый, наши только в ухе твоем, а галактики вообще-то везде, конечно.

С такой теорией Василий знаком не был, однако он обладал сметливым умом и богатым воображением. И вздрогнул, почувствовав, как в его желудке заклоуилось пол-литра галактик.

Пепельница между тем, приложившись к горлышку еще раз, чмокнула довольно, вытерла губы рукавом и произнесла:

— А ничего винчик...

Столь необычное поведение ночной гостьи прервало ход рассуждений Василия об оригинальности и сложности мироздания и направило его в другую сторону.

— Ф-фу! — изумленно выдохнул он. — А ты того... своя... Тут он замешкался, но быстро нашелся: — Своя в доску.

— Ага, — она ловко шелкнула пальцами, — эмансипация полная. У нас все наоборот: бабы пьют, курят, «козла» забивают, преферанс, рыбалка, экспедиции вот — в другие миры...

— А мужики?

— Мужики? — пренебрежительно переспросила собеседница. — А что мужики?.. Варят, стирают, дома по хозяйству, детей нянчат...

— И детей нянчат?! — поразился Василий. — Во даете!

— Я же говорю: все-все наоборот.

— А... — Василий даже замлел от поразившей его мысли, — а рождает-то кто?

— Пока мы, — огорченно вздохнула она.

— Пока?!

— Ну да, пока. Но скоро и с этим покончим.

Василий с ужасом попытался представить рожающих мужчин, потом встрепенулся и встревоженно, но осторожно поинтересовался:

— Ну а у нас-то чего делаете?

Как ни странно, Пепельница охотно и доступно стала объяснять, что из его уха выскочило уже несколько десятков экспедиций, но никто не вернулся. Теперь вот ее послали. И это — последняя попытка.

— А чего ж раньше я никого не видел и ничего не чувствовал? — недоверчиво спросил Василий.

— Крепко спал, наверно.

— А чего ж они не вернулись?

— Да к тебе в ухо попасть не смогли.

— Как это? — поразился Василий. — Попасть не смогли?

— А вот так, — ответила она. — Они разгоняются, целятся тебе в ухо, а попадают во что угодно. Один вот в шестерню попал на станке твоём. Помнишь — меняли? Другой в пуговицу твою угодил. — Она уважительно притронулась к пуговице на его куртке. — А третий, помнишь, в нос к твоёму начальнику...

— Как же, как же, — лихорадочно припоминал Василий события последнего времени: и станок вдруг заклинило, и у начальника нос вдруг вспух, когда он с ним ругался. Василий хихикнул, оглянулся на «тарелку». — Еще бы, такой вот грохны в нос...

— В общем-то, не такой, — сказала она. — Мы же, набирая скорость, уменьшаемся пропорционально «С».

Этого Васька не понял. Но выяснять не стал. Ему важнее было другое. От какого-то пока еще не понятного чувства у него защемило под ложечкой, стало чего-то жаль, почему-то обидно, захотелось плакать.

— И погибли все... — жалостливо сказал он.

— Может, и не погибли — смотря в какую галактику врезались. Но для своих-то — определенно погибли. А экспедиций пятнадцать и рисковать с возвращением не стали — прижились тут у вас.

— Н-ну даете, — снова протянул Василий. И вдруг его осенило: — А ты-то откуда про все знаешь?

— Техника, — веско сказала она. — В шесть секунд все знаю. Техника. Раму-то твою — видал, как заделала?

— Точно. — Василий вспомнил чудеса с окном, принятые им было за похмельный бред. — Значит, ты все можешь? — с тайной надеждой спросил он.

— Все.

— Так может... Слушай. — Он озадаченно глянул на пустую бутылку и тут же заметил, как она, не трогаясь с места, начала наполняться.

— Вот это да! — завопил он с восторгом. — Слушай, оставайся со мной, а?! Я Ленку выгоню! Провалиться мне на этом самом месте — выгоню!

Она не спеша поднялась, пожала плечами:

— Знаешь, Василий, ты хороший парень, только мне обратно надо. Мне ведь было сказано: не вернешься — больше никого не выпустим.

Он засуетился, запричитал:

— Да ты чё! Ну на кой тебе? У нас так бедово! А вдруг промажешь еще?! — Эта мысль особенно остро взволновала его.

Но Пепельница уже ловко вскочила в люк своей «тарелки», посмотрела на Василия почти влюбленными глазами, прошептала с мольбой:

— Вася, ты только не двигайся, хорошо? Я уж постараюсь не промазать.

Понимая, что просьба эта — последняя, Василий не смог возразить. Он надежно прислонился к стене, расставил пошире ноги, выставил вперед правое свое ухо, зажмурился и замер...

Из истории болезни.

Василий Н. прибыл в клинику с правосторонним флюсом. Крайне возбужден. Непрерывно плачет. Утверждает, что у него не флюс, а что в челюсть попала то ли пепельница, то ли тарелка, которой любимая женщина метила в его правое ухо...

ЖУРАВЛИК

— Все такой же близорукий? — спросила Нина, поправляя тонкими пальцами узелок моего галстука. Темная мальчишеская челка почти касалась моего лица.

Я ругал себя: совсем забыл, что она — тоже орнитолог. Если знал бы, что встречу ее тут — отказался бы от задания.

— Здравствуй, — промямлил я. — Вот пригласили к вам... Хочу написать очерк. Не знаю, что получится...

— Умница, — сказала она, поправляя мне волосы.

— Иван Петрович, где же вы? — позвал Веденский. Он стоял в конце галереи, как добродушный слоник в очках, и озабоченно морщил лоб. — Идите сюда!

— Сейчас иду! — крикнул я.

Нина смотрела на меня с улыбкой, чуть прищурясь, точно говорила: «Что, дружок, влип?» Невысокого росточка, порывистая... Подумать только: еще несколько лет назад для меня она была манящей загадкой!

Орнитологи, поеживаясь от холода, спешили в лаборатории. Когда я догнал Веденского и оглянулся, мне тоже захотелось поежиться: Нина стояла рядом с высоким парнем. Они смеялись. Похоже — надо мной.

Меня провели в помещение, где орнитологи отдыхают после работы с «машинами»: мягкая мебель, живой огонь в камине. Одна из стен — прозрачна и выходит в сад. В другой я насчитал десять дверей. За ними размещались преобразующие машины — гордость орнитологического центра. До сих пор я видел их только на фотографиях. Сегодня одна из них подготовлена для меня.

Веденский открыл дверь, и мы вошли в комнату, где были кресло, кушетка, платяной шкаф. Я разделся. Инструктор помог облачиться в плотно облегающий

костюм, сотканный из мельчайших электродов, и провел меня в кабину, где стояло единственное кресло.

Отправляясь сюда, я готовился к чему-то необыкновенному. Но эта досадная встреча выбила из колен. «Хороший ты человек... — когда-то сказала Нина при расставании, — только капельку нудный».

Я хотел быть спокойным. Но уже не мог. Сидел и злился. Кресло казалось чересчур мягким. Стены, задрапированные белыми складками, напоминали дешевую бутафорию. Раздражал даже хлопотававший возле меня толстячок Веденский.

— Вам не приходилось заниматься планерным спортом? — спросил он.

— Не приходилось. А что? Это большой изъян?

— Наоборот. Преимущество. В нашем деле человеческий опыт — только помеха. Будьте осторожны! Очень прошу, не поднимайтесь выше деревьев!

«Не поднимайтесь выше деревьев! — подумал я. — Надо же советовать такое!»

— Бойтесь разобьюсь?

— Можете и разбиться. Но главная опасность — хищники.

— Я знаю, какую ценность для науки представляют особи с вживленными трансляторами.

— Хорошо, что знаете, но опасность будет грозить не только «особи» — и вам лично!

— В каком смысле? — поинтересовался я. — Ведь птица-двойник находится где-то в лесу, и нас связывают только радиоволны?

— Вы забываете, что есть и обратная связь, — объяснил Веденский, продевая мои руки в специальные рукава, вмонтированные в подлокотники кресла. — Вы забудете о своем теле. Останется только некоторая власть над стопой правой ноги у педали включения связи. С ее помощью всегда можно выйти из игры. Веденский уже заканчивал приготовления. Вертел какие-то ручки и, наблюдая за приборами, продолжал говорить: — Вот еще что: у нас не принято оставлять двойника в опасности. Мы делаем все, чтобы птица не пострадала. Но, пожалуйста! — Он щелкнул выключателем и нагнулся ко мне. — Пожалуйста, не дожидаетесь момента, когда нажимать педаль будет поздно!

Последнее, что я видел, было его широкое доброе лицо. Свет погас. Я остался один. Мягкие складки потолка и стен медленно сходились, постепенно охватывая тело. Обволакивающая масса была упругой. Будто волны поочередно напрягающихся мышц прокатывались по груди, спине и рукам.

Я почувствовал озноб. Мир постепенно наполнялся шорохами. Так бывает, когда просыпаешься. Шум усиливался. Я весь сжался от холода и нахлынувшей вдруг тоски. Сразу стало теплей и уютней.

Темноту рассекала тонкая горизонтальная щель: это я приоткрыл глаза. В оранжевом мареве плавали, разгорались и гасли багровые пятна, пронизанные паутиной трещин. Мир обретал очертания постепенно, как фотография в ванночке с проявителем. Вскоре я уже видел все вокруг: и впереди, и сверху, и сзади, будто голова превратилась в одно сплошное всевидящее око. В воздухе стоял тревожный запах леса. А внутри меня постепенно разгорался огонь. Огромные листья, покачиваясь, проплывали мимо, исчезали в провалах между ветвями. Я огляделся и увидел, что сижу на ветке, вцепившись коготками в кору. Глядеть вниз было страшно. Ветка раскачивалась. Это вызывало что-то похожее на головокружение — ощущение для птицы невероятное. Разозлившись, взмахнул крыльями. Попробовал отделиться от ветки и вдруг, показалось, что падаю. Я и в самом деле упал. Но в последний момент сделал отчаянное движение, зацепился и повис вниз головой. Было стыдно и страшно. Снова взмахнул крыльями и, поочередно отрывая лапы, цепляясь клювом за неровности коры, с большим трудом занял исходное положение.

Сердце колотилось. Я чувствовал себя в этом мире совсем одиноким. Боль от пожиравшего изнутри пламени стала привычной. Гораздо сильнее мучил страх перед бездной, куда меня чуть не снесло. Конечно, я же не птица — лишь подделка. Так я сидел нахохлившись и грустно глядел на мир, который не желал меня замечать. Тогда еще я не догадывался, как это здорово, когда тебя не замечают.

Полная достоинства и наглости, она, не спеша, буравила воздух. Ее гудение вливалось в музыку леса темой сладкой надежды. Я не задумывался над тем, что она тут искала. А ее не интересовала моя персона. Она летела

по своим делам, петляя между стволами. Ее огромные блестящие глаза занимали больше половины головы. Остальное состояло из зловещих отростков и грязных волосков. Она была мне до одури противна, но я не отрывал от нее глаз: физически не мог этого сделать. Она приближалась и ревела, как сирена. А внутри меня с новой силой вспыхнул огонь. Я совсем сгорал от стыда и мук, когда произошло чудо. Это случилось так быстро, что я ничего не успел сообразить. А когда опомнился, оказалось, что снова качаюсь на своей ветке и клюв мой, отбрасывая ненужные детали, расправляется с великолепной мухой. Своей музыкой она вызвала приступ голода, и я настиг ее почти у земли. За время полета я не видел ничего, кроме своей мухи. Жил двумя мыслями. Первая — «Поймать!». Вторая — «Ура! Поймал!». Самого полета просто не уловил: вниз летел на злости, вверх — на торжестве.

Голод притих. Наступило короткое птичье благоденствие. И тогда я вспомнил, как летал много раз во сне. Поджав ноги, я быстро-быстро месил руками густой воздух. Я очень хотел взлететь и где-то на пределе усилий всегда начинался полет. Не страшный, низкий. У меня не хватало сил сразу взмыть высоко. Но я был счастлив и горд, что земля отпустила меня. Я пролетал совсем немного, а проснувшись, весь день ходил окрыленный. Где-то в человеке хранится инстинкт полета — полустертая информация, записанная миллионы лет назад. Кто-то из наших дальних предков летал. Возможно, такие же легкие сны снятся африканским слонам.

Теперь оторваться от ветки было уже не так трудно. Наконец, я вполне сознательно вспорхнул. Это был не сон, и мною владела ни с чем не сравнимая радость.

Летел не спеша, внимательно выбирая путь между стволами деревьев, наблюдая за самим собой: я летел и мне хотелось знать, как я это делаю.

Подъемную силу создавала прилегающая к телу локтевая часть крыла. В момент перехода от маха вниз к маху вверх гибкие маховые перья расходились, свободно пропуская воздух. Хвост служил превосходным рулем.

Он позволял закладывать виражи, делать нырки и горки, порхать на месте, рыскать из стороны в сторону и даже кувыркаться. Я хватал на лету зазевавшихся мошек. Одного червяка «взял» прямо с земли и свечой взмыл к макушке огромного клена. Червяк извивался в клюве. Я присел на крохотную веточку, и там у нас с ним состоялся короткий разговор. Меня прямо-таки распирало от самодовольства. Я широко раскрыл клюв и неожиданно для себя бросил с высоты громогласный клич: «Это я тут сижу!» До чего же было потешно! Для моего птичьего слуха получилось что-то среднее между криком петушка и сигналом пригородной электрички. Возможно, человеческий голос для птицы подобен грому.

Я раскачивался на ветке, задыхаясь от восторга. Подо мной стоял лес — шелестящие на ветру великаны. А над лесом — светлая ширь. Даже пахло здесь по-другому. Если внизу царил аромат прелых листьев — здесь была разлита пронизанная солнцем кристальная свежесть.

Я притаился, глядя в одну точку. Ветер играл моими перьями, звал в небо. Но я сидел тихо, ждал: далеко-далеко, низко над горизонтом, висела тоненькая ниточка. Она переламывалась пополам, образуя угол, поворачивалась и, медленно приближаясь, завораживала. Все яснее слышался нежный и грустный гул. Летели на юг журавли. Не известно мне было, что за птица — я сам. Скорее всего мой двойник был некрупным существом заурядной расцветки. Веденский не успел сообщить. Забыл, а может быть, справедливо решил, что я могу и не знать всех мелких представителей пернатого царства.

А журавлям я завидовал всегда. Их полет возбуждал фантастические мечты. Сейчас к человеческой зависти примешивалось новое чувство: я тоже был птицей.

Привычный мир так боязно покидать. Но что-то звало ввысь. Этот зов невозможно было заглушить никакими трезвыми доводами и, бросившись в мощный восходящий поток, я устремился наперерез журавлиной стае. Чего я хотел? Не знаю. Может быть, просто поравняться с ними и прогудеть во всю глотку: «Это я тут лечу!»

Теперь я осмелился посмотреть вниз. Подо мной среди лесной чащи сверкали капли озер. Низко над ними волнами проносились птицы: где-то здесь, готовясь к отлету,

они собирались в стаи. Я видел изгиб широкой реки. Над нею склонился лес, пуская по воде золотые кораблики.

Журавлиная стая неслась мне навстречу. Уже можно было рассмотреть их гладкие серые тела и до предела вытянутые назад ноги, похожие на две голые веточки. Красивые длинные шеи чуть изгибались в такт со взмахами крыльев. Желтый клюв был устремлен в одну точку, словно где-то там, за туманным горизонтом, журавли видели свою обетованную землю.

Они были уже близко, когда со стороны солнца появилось черное пятнышко. Оно быстро росло и, как маленькая тучка, заслоняло свет. Я слишком поздно сообразил, что это значит. А сообразив, точно лишился воли: почувствовал, что уже не могу ничего изменить — даже направление и скорость своего полета. Наверно, это и смутило облюбовавшего меня ястреба. По его расчетам, я уже должен был начать метаться в поисках спасения. Стараясь предвосхитить мои панические маневры, хищник сам заметался из стороны в сторону. Скорость была большая, и он проскочил рядом, слегка задев меня сильным крылом. Теряя перья, я кубарем отлетел в сторону. А когда выравнился — снова устремился к стае, как человек, который, ища спасения, бежит к людям. Уж теперь-то всему свету было ясно, что я только притворялся птицей. Мои действия не укладывались в птичью логику. Хищник широко размахивал крыльями. Мне была видна его сильная полосатая грудь — настоящий пират в тельняшке. В его маленьких черных глазках вспыхивали торжествующие огоньки. Ястреб видел, что добыча не уйдет, и спокойно разворачивался подо мной.

Стая была совсем рядом. Я уже слышал свист ее крыльев, мог различить каждое пятнышко на журавлиных боках. О, как красиво летели птицы! Только теперь меня охватил ужас. Не хотелось верить, что это — мои последние мгновения. Я прикрыл глаза. А когда снова открыл — что-то сломалось в журавлином строю: одна птица отвалила от стаи, сложила крылья, вытянулась, превратилась в серую молнию, бьющую прямо в меня. Я едва увернулся и, отброшенный воздушной волной, камнем полетел вниз. Опомился у самой земли. Неуклюже спланировал на ближайшую ветку. Сел, зацепился когтями и, глотая воздух, уставился в небо. Сверху, почти следом за мной, падал пестрый клубок. Он разделился

над болотом: что-то сизо-бурое, развернутое колючим веером, рухнуло в воду.

Над головой, припадая на крыло, летел серый журавль. Будто дождик мелко-мелко засеменял вокруг: на увядающие листья падали рубиновые капельки. Мне казалось, я сам чувствую боль, которую причиняет птице каждый взмах крыла...

В салоне с камином было уютно. Веденский усадил меня за столик. Принесли кофе. После сеанса полагался короткий сон — я только что проснулся. Немного побаливали грудь и спина. Было странное чувство: будто я еще птица, и во мне живут птичий страх и птичья радость.

— Знаю, будете ругать, — сказал я. — Не смог удержаться. Забрался выше деревьев... Но в опасный момент я своего двойника не оставил...

— И зря, — вздохнул Веденский. Я вдруг почувствовал, как он со мной устал. — Лучше бы оставили... Вы только помешали ему. И сорвали работу другой группы. Я не спорил.

— Наверно, вы правы. Я себя вел бездарно... И все-таки мне сказочно повезло! Кому еще приходилось видеть, как серый журавлик нападает на ястреба?..

— А что ему оставалось делать?

Я обернулся на голос... За крайним столиком, в накинутом на плечи халате, пристроилась Нина.

— Что ему оставалось делать... — сказала Нина, помешивая кофе. — Тебя же вечно нелегкая... носит, где не надо!

Нежданное солнце заглянуло в окно и осветило халатик, распахнутый на груди... Я вскочил, ослепленный белизною бинтов.

ПРИЗОВОЙ ВЫСТРЕЛ

Так повезти может лишь раз в жизни. Едва Дорк понял это, его залихорадило. Чтобы успокоиться, охотник сел прямо на траву, положив подле многозарядный штуцер. А радужные Кузнечики невозмутимо паслись возле водоема. Они окунали свои узкие большеглазые головы в траву, размеренно жевали сочные стебли и, казалось, не обращали никакого внимания на сидевшего неподалеку человека. Дорку почудилось, что он даже ощущает их мысли — такие же простые, влажные и спокойные, как трава. словно бы душистые волны жвачки перекачивались у него во рту. Охотник достал флягу с тоником и отхлебнул глоток.

Собственно, это были не кузнечики, а ящеры. Огромные, невиданной красоты звери с мощными задними лапами, сложенными пополам, за что Дорк и окрестил их Кузнечиками. Их чешуя переливалась, играла на ярком солнце, то и дело укалывая глаза охотника цветными лучиками. Еще никто не представлял на Охотничий Конкурс такого великолепного трофея. Но медаль за красоту добычи — мелочь, Дорк получал ее трижды. Если ему удастся подстрелить Кузнечика, если выстрел будет безупречным, он получит Большой Охотничий Кубок.

Прищурившись, охотник взглянул в небо. Над ним, в сотне ярдов, висела видеокамера. Ее записывающие кристаллы, словно соты медом, наполнялись происходящим. Потом, в просторном зале Клуба, перед членами конкурсной комиссии предстанет в объеме и цвете самая лучшая охота Дорка. Кристаллы подтвердят, что трофей добыт по всем правилам. И тогда в зал внесут Кубок — массивную рубиновую чашу на витой платиновой ножке...

Уже четыре сезона Большой Охотничий Кубок не присуждали никому. И едва в одном из неосвоенных секторов Галактики проложили новую трассу, тысячи охотников на своих маленьких космобиотах ринулись по ней в поисках дичи. Они сновали в свернутом пространстве Трассы, преодолевая сотни световых лет за считанные секунды. Ведомые азартом и жаждой славы, они первыми ступали на неведомые планеты со спортивной винтовкой на плече и инъектором биозащиты в кармане. Все они грезили о Кубке. Все готовы были на любые жертвы ради достойного трофея. А сейчас такая дичь преспокойно разгулиwała под самым носом у Дорка. Кузнечики паслись возле небольшого круглого водоема, окруженного широким кольцом ярко-зеленой травы. Дальше во все стороны простирались жухлый бурьян саванны, кое-где возвышались кряжистые деревья с перистыми ветками, а вдалеке виднелся стремительный силуэт космобиота, на котором прилетел Дорк. Охотник вскинул штуцер и поймал в оптический прицел ближайшего Кузнечика. Дальномер показывал пятьдесят два ярда. Ровно на два ярда больше, чем требовалось по условиям конкурса. Ящеры неукоснительно придерживались безопасного расстояния.

Да, эта дичь была достойна Кубка. До сих пор ни одному охотнику не удавалось подстрелить животное-телепата по всем правилам — из пулевого оружия, с пятидесяти ярдов и с отключенной автоматикой прицеливания. А в том, что радужные ящеры были телепатами, Дорк уже не сомневался. Как ни пытался он подкрасться к добыче, животные не подпускали его ближе пятидесяти двух ярдов. Даже не глядя на охотника или повернувшись к нему хвостом, они лениво отодвигались, сохраняя дистанцию. А когда, после долгих безуспешных стараний, Дорк вскочил и побежал со штуцером наперевес, Кузнечики прыгнули — все разом. Их огромные сияющие тела распластались в воздухе, и несколько мгновений спустя стадо уже флегматично пощипывало траву по ту сторону водоема.

Дорк сидел и думал. Самая осторожная, хитрая и чуткая тварь не шла ни в какое сравнение с этими Кузнечиками. Он давно мечтал встретить животных-телепатов и был почему-то уверен, что сумеет их добыть.

А теперь он сидел в траве и медленно сходил с ума от бессилия. Кузнечики разбрелись по зеленому кольцу. Один из них стоял по колено в воде и, отфыркиваясь, пил. Ярko полыхала его чешуя. Охотник мог перестрелять все стадо за считанные секунды, не сходя с места, но что толку? За это он не получил бы не то что Кубка, даже медали. Ему нужен был один выстрел — по всем канонам, точный и наповал. До конца сезона оставалось три недели. Значит, Дорк успевал добраться до Трассы и по ней попасть в обитаемую часть Галактики, где в любом отделении Клуба регистрируют его трофей. Тогда сбудется мечта всей его жизни. Имя его будут прославлять наравне с именами Нгванга и Этро. Слава, почет. Дорк вздохнул. Не будь Кузнечики телепатами, он подстрелил бы любого из них в два счета. Но за такую добычу он не получил бы Кубка. Впервые в жизни представились ему исключительные условия, которые позволяли выиграть заветный приз. И одновременно не позволяли.

Дорк думал. Если каким-то чудом ему удастся приблизиться, все равно ящеры в последний миг почуют неладное, и стрелять по ним придется влет. Он открыл магазин штуцера, заменил заряды с дисковыми пулями на заряды со спиральными. В теле жертвы такие пули разъединялись, и три пружинистые спирали, каждая по пять дюймов длиной, ввинчивались во внутренности животного. Первый же выстрел должен оказаться смертельным, иначе вместо Кубка охотник получит лишь несколько почетных медалей.

Заряжая штуцер, он нечаянно перекошил последний заряд. Охотник включил автоматику затвора, злополучный патрон выскочил и, кувыркаясь, по длинной дуге упал в траву. Дорку пришлось долго повозиться, пока он его нашел. А когда наконец подобрал патрон и выпрямился, увидел, что один из ящеров сонливо бредет в его сторону. Охотник замер. Ярдах в двадцати пяти Кузнечик остановился и, шумно сопя, стал перекачивать во рту жвачку. Медленно, вкрадчиво Дорк попятился к ружью. Сердце его колотилось где-то под самым горлом. Вдруг Кузнечик перестал жевать и, подняв голову, уставился на охотника. А тот присел на корточки, нашарил позади себя гладкий приклад штуцера. Едва пальцы человека коснулись оружия, Кузнечик молниеносно

отпрыгнул вбок. Ошарашенный Дорк вскочил со штуцером в руках. Прицелился и определил расстояние — 54 ярда. Продолжая целиться, охотник сделал шаг вперед. Ящер не шевельнулся. Тихо, как во сне, Дорк двинулся вперед, не отрывая глаз от шкалы дальномера. 53 ярда. 52,5. 52. 51,5... Кузнечик снова отпрыгнул.словно полыхающая цветными лучами арка на мгновение воздвиглась над травой. Охотник опустил ружье.

Так, значит, они подпускают меня безоружного, подумал он. Чутьем он понял, что тут есть какая-то лазейка. Именно здесь в безукоризненной обороне Кузнечиков крылась брешь.

Дорк положил штуцер на траву и, сунув руки в карманы куртки, зашагал к водоему. Как по команде, ящеры подняли головы и уставились на него. Расстояние сокращалось. Охотник шел размеренным шагом, пытаясь унять нараставшее волнение. Животные смотрели на него и не двигались с места. Потом снова опустили головы в траву. Вблизи они выглядели настоящими чудовищами — вдвое выше человеческого роста. Могучие мышцы под радужной чешуей туго оплетали их тела. Дорк остановился, любуясь своими Кузнечиками. Он попытался представить, как будет выглядеть чучело ящера в Музее Охоты. Да, лучшего трофея невозможно вообразить.

Ящер, возле которого стоял Дорк, вытянул шею и, шевеля узкими ноздрями, принюхался. Потом, переваливаясь, подошел и нагнулся к самому лицу человека. Охотник смотрел в выпуклые, белесые глаза Кузнечика, и ему стало не по себе. Казалось, что ящер все с той же травоядной ленцой разглядывает и ощупывает его сознание. Наваждение длилось несколько секунд, после чего Кузнечик подогнул ноги и лег.

И Дорка одолела внезапная истома. Он почувствовал, как щедро греет солнце, как пахнут медовые метелки травы, как тяжело и неповоротливо его утомленное тело. Обессиленный, почти не сознавая себя, он сначала сел, потом откинулся на траву и провалился в черную пуховую пропасть сна без сновидений. Когда он проснулся, багровое солнце клонилось к горизонту. В вышине парила видеокамера, и ее лиловые объективы чуть поблескивали. Кузнечики разбрелись по всему зеленому кольцу

и, сыто вздыхая, жевали жвачку. Дорк взглянул туда, где осталось его ружье. Великолепный Кузнечик стоял задом к охотнику, в трех шагах от лежавшего в траве штуцера. И впервые на охоте у Дорка задрожали руки. Борясь с искушением стремглав броситься к оружию, он бесшумно крался по густой траве, не сводя глаз с безмятежного ящера.

— Погоди... — шептал он безостановочно. — Постой, не уходи... Не надо... Я только поглажу тебя... поглажу... твою чудесную радужную шкуру... Постой немножко...

Ему казалось, что этот шепот заглушит мысли о стрельбе, что Кузнечик не догадается о грозящей опасности.

До штуцера оставались считанные шаги. Неужто я не снял с предохранителя, невольно подумал охотник. И, словно отзываясь на его мысль, ящер зашевелился и повернул голову назад.

Дорк прыгнул. Упал на штуцер. Перекатился на спину.

Время остановилось. Сноп радужных лучей висел над травой.

Выгнувшись и закинув голову назад, охотник ловил перекрестьем прицела распластанное в воздухе сияние. Грянул выстрел.

И время пошло снова.

Он понял, что попал в цель. А через мгновение лежавший на спине Дорк почувствовал, как с лета грохается всем телом оземь. Дикая боль пронзила его. Круглая и неумолимая, как если бы его посадили на кол, боль вошла между ног, пропорола кишечник и, дойдя до груди, брызнула в стороны. Охотник скорчился. Насаженный на боль, как на вертел, он не мог вдохнуть, не мог закричать; все его тело превратилось в одну сплошную судорогу. Теперь он лежал на боку, и ярдах в тридцати от него, над травой, возвышался радужный бок подстреленного ящера. В такт дыханию бок вздымался и опадал, и каждое его движение отзывалось в груди Дорка яростной мукой. Сквозь волнистую пелену проступивших слез охотник видел, как гигантскими скачками удалялись перепуганные ящеры.

Он лежал и задыхался. Он чувствовал в своей груди пулю, которая прошла через его внутренности и где-то в

легких распустилась адским железным цветком. Три пружины торчали врозь в его теле. Каждый вдох и выдох отзывался звериной, косматой болью. Дорк хотел встать, подняться и взять штуцер. Стреляя, он не успел хорошенько приложиться, и отдача вырвала оружие из рук. Теперь надо было взять штуцер и добить ящера. Тогда боль прекратится, думал Дорк. Но он не мог шевельнуться и лишь впивался скрюченными пальцами в двери. Потом наступило полное оцепенение. Пуля продолжала терзать его, однако человек постепенно терял способность ощущать. Он умирает, думал Дорк. Еще чуть-чуть, еще немного, и он умрет. Тогда все это кончится. Я не убил его наповал. Значит, все впустую. За такой выстрел Кубок не присуждают. А может, присудят. До сих пор никому не удавалось подстрелить телепата. Никому...

Солнце уходило за горизонт. На сумеречном небе проступали первые звезды. Измученный Дорк лежал к небу лицом и смотрел в далекие линзы видеокамеры. Ему казалось постыдным то, что кто-то видит его страдания, пусть даже это бесстрастный аппарат. Тело его обмякло и ослабло. В груди колыхалась боль, она казалась горячей, влажной, губчатой и тяжкими сгустками расходилась по всему телу. Сердце билось неровно, с перебоями. И в короткой паузе, когда у Дорка не было ни пульса, ни дыхания, он ощутил величавое спокойствие собственной смерти. Он как бы отделился от своего тела, он стал просто мыслью, обрывком лучистой энергии, из бесконечности впадающим в бесконечность. Он не ощутил ужаса при этом. Так вот она какая, смерть, подумал он.

Дорк понимал, что ящер умрет с минуты на минуту и перестанет пытаться его своей агонией. Еще немного — и наступит освобождение. У него темнело в глазах. Звезды мало-помалу меркли, пока не исчезли совсем. Это ящер умирает, подумал Дорк. Тьма и покой объяли его тело. Сердце дрогнуло в последний раз и остановилось.

Видеокамера висела над лужайкой и, переключившись на инфракрасный диапазон, прилежно заносила на кристаллы одну и ту же картину. Огромный труп ящера, поодаль от него — лежащий навзничь охотник и рядом с ним штуцер.

Мертвые глаза Дорка смотрели в небо. Там простиралась Вселенная — бесчисленные шары, подвешенные в неизмеримой пустоте. Среди этого множества небесных тел была одна, совсем маленькая планета, на ней дом с вывеской, и в самой просторной комнате дома, под стеклянным колпаком, стоял рубиновый кубок на витой ножке.

В тот год его не присудили никому.

ПОЛНОЧНЫЙ ТРАМВАЙ

Я ехал в трамвае, — он не вздыхал тормозами и неся без остановок во тьме, — в последнем трамвае. За стеклами окон беззвучно мчались его и мои двойники, и меня, особенно поначалу, все подмывало проверить, не пошевелится ли невпопад со мною мое отражение справа или слева — одно из странных моих продолжений в ночном пространстве. Но я скоро забылся, приблизившись к стеклу: открылась мне ночь безоблачная, безлунная. Не было в ней утомительно-привычного, не было ничего: ни домов, ни деревьев, ни людей...

Это был вагон с редкостно маленьким номером. Один из тех, полностью закрытых вагонов, которые появились когда-то в нашем городе, еще с ножным тормозом, — пневматика умела только двери захлопывать. С тех пор за его контроллером сидел один и тот же вожатый; до этого он ездил на старом полуоткрытом вагоне, ездил на нем до последнего, пока по приказу не пришлось с ним расстаться, где-то наедине, за депо, и никто не видел, как все произошло. Но все знали, что нелегко было...

Старели, списывались и умирали трамваи; забылись полуоткрытые, становились привычными новые, с мягкими сидениями, с пневматическим тормозом и уютным стрекотанием компрессора, а у этого вагона, который пережил всех своих младших братьев, был все тот же хозяин. Он не уходил, не менялся, даже болел редко.

Переработав пенсионный возраст, он постарел резко и крепко; превратился, по крайней мере с виду, в довольно-таки дряхлого старика в чеканной маске морщин, с белыми остатками волос, почти беззубого и глуховатого.

Во время езды, как рассказывали, он сидел съезжившись, с почти закрытыми глазами, упираясь боком в

контроллер, и никто не мог понять, чего в странном состоянии его больше: бодрствования, дремоты или усталости. Одно было несомненно. Старик чувствовал свой вагон, как продолжение организма, как свое металлическое тело, в котором он — мозг; многие находили странным, что ездил он без единого приключения, даже без брака — нарушения графика на три минуты в одну или другую сторону. Что ж, вообще-то он ездил долго, так давно, что точно никто и не знал. Знали только, что еще до всех.

И еще рассказывали мне, что больше на его вагоне с редкостно маленьким номером никто не ездит.

Вот он, этот трамвай. И я, единственный пассажир в нем. Мы несемся, подчиняясь воле странного водителя. И нет больше ничего вокруг: ни домов, ни деревьев, ни людей.

Только изредка вокруг показываются огни. Побольше, поменьше... глаза оказались неспособными сообщать мне о толще тьмы, о расстоянии до них. Так бывает, если почудится свет мечтой, или Несбывшимся...

Огни притягивали взгляд неизвестностью, и она оборачивалась странной силой света. Словно это и в самом деле был властного чего-то зов, — и глаза блестели в ответ; им хотелось свободных чувств, чистых, как свет огней, хотелось унести от изворотливости, вырваться из щупалец практического разума. А кто, словно в тесном воротничке, не безумствовал в своих знаниях, потакая полузадушенным мечтам, не умея вздохнуть вовремя?!

Вагон дергался из стороны в сторону, будто хотел вырваться из рельсовой колеи; он, казалось, подскакивал на стыках, желая лететь, не цепляясь за рельсы; он поскрипывал и звенел, упиваясь свободой хода.

Я вздрогнул от резкого щелчка, с которым открылась дверка водительской кабины... а может быть, от того, что старик, опрокинувшись со своего сиденья, вывернулся из кабины, и я увидел один его глаз: он был белый.

Я вскочил, чтобы броситься к старику, но движение вагона резко замедлилось, зашипел и заговорил динамик: — Сходи, остановок больше не будет. Хватит... — невнятное бормотание закончило фразу.

Громко хлопнувшись друг о друга, открылись створки дверей.

Оглушенный внезапным страхом, ничего не понимая, я подошел к двери и уставился на мелькавшую за ней полосу освещенного асфальта. Трамвай еще сбавил ход, опять резко, раздраженно и, как мне показалось, сердито. Я выскочил и, пробежав немного трамваю вслед, остановился.

Вагон набирал скорость, неся как и прежде, громкая и, казалось, подпрыгивая слегка на рельсах, неся единственным светом на ночной улице.

Я знал, что трамвайные рельсы метров через сто круто поворачивают направо, в поперечную улицу, что прямо впереди их нет, там никогда не ходили трамваи.

У меня оборвалось дыхание.

Охваченный тьмой, я стоял и смотрел, как уходит трамвай.

Уносится прямо, туда, где никогда не ходили трамваи.

И усталый голос во мне шептал, как молитву, два слова: «Не верь, не бывает...»

1969—1981

ВАНЯ

Я бежал переулками мимо —
и меня поглотили дома.

А. Блок, «Мне гадалка с морщинистым ликом...»

Около сотни лет, наверное, у бани на Промышленной улице стоял этот дом, один из тех, которые чуть ни к каждому празднику красят, смешав остатки светлых красок из разных бочек, и получается все что-то желтоватого оттенка. Однако, спустя неделю-другую, краска оттопыривается тонкими ломтями от стен, неумолимая сырость покрывает их настойчивыми разводами, — дом будто бы приходит к изначальному виду беспомощного старика. Но люди все жили и жили в нем, красили безжалостно... — потому, может, и помнится этот дом.

Впрочем, вовсе и не удивительно, когда вид какой-нибудь улицы, ансамбля архитектурного, а то и просто дома, всякий раз вызывает одни и те же мысли; или вспоминается что-то, что было, что знал...

Так вот, на Промышленной улице, у бани, я обнаружил некоторую странность, которая повторялась уже несколько лет: всякий раз, при виде одного из окон этого дома, мне вспоминалась с ясностью, как будто произошла вчера и со мной, одна история. Однако, с другой стороны, мне точно известно, что никакой такой истории я не знал и не знаю, — но это лишь тогда, когда дом, в котором жил Ваня, не находится в поле моего зрения. А Ваня действительно жил в нем, — дворница подтвердить может. Правда и другое: я Ваню не видел ровно столько лет, сколько история эта так хорошо и ясно мне «вспоминается».

Я и рассказываю-то все с тем только, чтобы, забыв, жить дальше. Как цирюльник в сказке про то, как у царя какого-то ослиные уши образовались; царь знал, что невозможно цирюльникам жить и помнить про его ослиные уши, а потому — после бритья и стрижки —

голова с плеч, чтоб цирюльнику долго не мучаться. Но один удрал. И — точно, никакой жизни нет, сохнуть стала: вся жизнь его словно в ослиные уши перелилась, и просыпался, и спать ложился — только про них и думал, света белого не видел. И вот, по доброму совету, выкопал тот цирюльник в лесу яму, залез в нее и рассказал все, что помнил-знал; засыпал яму, ушел и стал жить припеваючи.

Вот и подумалось мне: возьму-ка я да запишу-закопаю всю эту историю в бумагах; пусть лежит себе — и ей хорошо, и мне спокойно. Да, значит, про дом... По большей части, неприметные люди жили в нем, хоть и разные. Так камни в кладке неприметны, пока время не размоет ее, пока не подыщется камням иного значения, — хоть те же огурцы придавливать или, размельчившись, выбоины на дороге какой-нибудь сглаживать, да мало ли, — и тогда обязательно будет обнаружено, что состояла кладка хоть и не из бог весть каких оригинальных, но все-таки из достаточно странных камней...

Ваня жил на втором этаже, где одну из квартир удалось так ловко переделать, что отделилась еще одна, однокомнатная, но вполне самостоятельная. Произошло это, когда, как обычно и водится, возник вопрос: гений или дурак наш герой; родители, памятуя, что «нет гениев в нашем городе, кроме нас», быстро махнули на Ваню рукой, а потом переехали в другой район, сменив квартиру на более новую, с большим количеством удобств, так что Ваню даже как будто забывать стали, да и сам он не старался особенно напоминать о себе. Остались друзья, которые всячески помогали Ване, разве только денег в долг не давали, — в нужный момент их все как-то не оказывалось под рукой. Друзья были достаточно благоразумны, чтобы не стать назойливыми, однако, и совсем уж из виду Ваню не теряли: вдруг да что-нибудь выйдет из него, не приведи, конечно, бог...

Ваня же, по природе своей, был спокоен, а от того и несколько молчалив, что также — малость, не больше — смущало соседей. Почему-то при всем этом был Ваня и скромн, что соседей невольно настораживало, и ходил почти всегда в дырявых ботинках, что вызывало некоторое недоумение. Возможно, Ваня весьма облегчил бы жизнь соседям, а потом и родителям, пригласив их всех

в гости, но Ваня, очевидно, просто не думал об этом, и потому, если говорить честно, никто не мог решить главного — подавать в товарищеский суд за тунеядство, за что-нибудь в том же роде или нет, да и вообще: что делать... Ведь если так просто спросить, вряд ли что по правде скажет. Раз в полгода ходила к Ване сестра медицинская из тубдиспансера. Как-то спросили ее, не опасный ли Ваня для окружающих, так она засмеялась только, да с тем и ушла.

Однако реакцию медработника на Ванино житье можно было предсказать достаточно точно, потому что в комнате, оклеенной обоями довольно темного зеленого тона, было не вздохнуть: на пятнадцати метрах два стола, книжный шкаф, диван, три этажерки с книгами в два ряда, печка белого кафеля, — такого теперь и делать-то не умеют, — да еще секционные полки, пианино. Все, кроме полок, старой добротной работы. По книгам же решительно ничего вразумительного о занятиях хозяина сказать было нельзя: практическая композиция, дирижирование, история, телепатия, литературоведение, физика, художественная литература, генетика, химия, медицина, жития святых... Груды журналов, газет, просто бумаги чистой и исписанной, склянки, травы, всякие обрывки и обрезки да несколько горшков с мясистыми по натуре, но здесь — очевидно, от воспитания в суровых условиях — измученными и тонкими до непристойности кактусами; правда, два или три из них жили в воде, как водоросли...

Утро было отвратительное. Оно напоминало Ване какое-то пресмыкающееся, которое, так и не отогревшись, норовило залезть под рубаху... Не оттого ли, что вчера посетила Ваню мысль, вызвавшая похожее ощущение, и, как будто подтверждая ее, он с долгой печалью перебирал репродукции рисунков Нади Рушевой. Кто знал, что будет кровоизлияние в мозг?! Рядом с репродукциями лежала книга, открытая в том месте, где академик Б. Л. Смирнов писал: «Ученики Вивекананды наблюдали у него кровоизлияние в склеру, происшедшее во время махасамадхи, из которой Вивекананда уже не вышел». Репродукции и книга были накрыты журналом «Наука и жизнь», где рассказывалось о том, что рыба-горбуша

умирает после икрометания, потому что включаются какие-то генные механизмы и вызывают все старческие болезни. Разве не отвратительно это бесправие человека и вообще живого существа и самоуправство — то ли обстоятельств и фактов, то ли, может быть, просто вещей; таящаяся во всем, даже не вероятность случайности, а прямо-таки наглая м е х а н и з м е н н о с т ь. Не потому ли замечалось особенно, что от окна тянуло холодом, и капли снаружи беспорядочно молотили по подоконной жести, да надрывался по ту сторону улицы фабричный вентилятор.

Ваня, съезжившись, сидел за столом: ощущение пустынности жило, — так, придешь в парк, сядешь, поднимешь глаза — ни листика на ветвях. Поведешь плечами от пустого вздоха поздней осени и вспомнишь, сколько прожил на свете. И ни тебе Змея Горыныча горемыки, ни бесенка захудалого.

Ваня пошевелил пальцами ног — холодная кровь поднялась от ступней, сейчас будет тепло.

«Да, так надо же было... хотел найти... а что... кажется, в том углу...»

Ваня медленно встал; подошел к груде папок и, присев на корточки, стал снимать одну за другой, складывая рядом на пол в обратном порядке. Руки его остановились, — как люди, почувствовав неладное, — он медленно поднял голову. И действительно, папки лежали гораздо дальше от стены, чем обычно, а за ними стояло что-то накрытое тряпками для вытирания пыли, которые всегда валялись на нижней полке этажерки.

Ваня осторожно потянул их за края, ожидая, что они не поддадутся. Но они поддались, упали на грудку папок и пропали, а у стены тускло поблескивала темно-красная «Ява». Нет-нет, не Змей Горыныч... не очень и живое, но обольстительное, и все же...

Всего-навсего, обычный мотоцикл. Ваня заметил про себя, что не удивился находке и даже облегченно вздохнул, — так и предки наши, небось, не удивлялись, встретив домового или самого черта — всяческую нежить. Ване тут же захотелось выкатить его на улицу и попробовать на ходу: быстрая езда — это ведь очень приятно...

Ну, что ты тут скажешь... что неживое способно, как это теперь кибернетики гсворят, проявлять себя, как

«самоорганизующаяся система»? Какие-то предметы, значит, в Ваниной комнате «самоорганизовались» в систему, которую люди называют мотоциклом. А какая система? Предметов в той комнате было столько, что даже клопы выжить там не могли, один только Ваня мог, — тьма систем могла быть в той комнате. И вот эта тьма решила устроить борьбу за выживание путем самоорганизации и сжить со света Ваню. Она, эта тьма системная, решила соблазнить его возможностью движения путем использования не собственно человеческой силы...

Случайный прохожий, остановившись, смотрел, как Ваня выкатил «Яву» на середину улицы, сел, поерзав для удобства, и, отталкиваясь ногами от булыжника мостовой, медленно поехал вперед. Прохожий вспотел.

«Странно, что же это, — думал Ваня, — так все время и отталкиваться? Нет, все наступают ногой сначала на какую-то педаль... ага, вот она, слева... вот-вот заработал, затарахтел... теперь для полной скорости надо покрутить рукоятку...»

Мотоцикл чихнул, стрельнул из выхлопной трубы и в тот же миг оказался на углу Промышленной и Петроостровской улиц.

Ваня передохнул, потом на тихом ходу повернул налево, выехал на Выгонную дамбу, с удовольствием вспомнив, что ее недавно заново асфальтировали, дал полный газ...

Впереди милицкий наряд — стоп.

— Я вас слушаю.

— Это что ж ты, парень, так, а?

— Как — что?

— Ну, брось... скорость превышаешь, и вообще... А «кирпич» видел?

Ведь под «кирпич» поехал!

— А-а, ну, да... да, конечно, бывает, знаете ли, это я, как бы вам сказать, по привычке, что ли, как будто я на велосипеде, тогда не было тут «кирпича»...

Неудержимо краснея, Ваня вспомнил вдруг, что на мотоцикле он вовсе и ездить-то не умеет; потом чуть не заплакал от того, какой хороший у него был велосипед, и вообще... но сдержался и необыкновенно решительно сказал:

— Да, очень приятно было с вами поговорить!

В ту же секунду Ваня опять растрогался, будто от-правлял собеседников на вечную каторгу, а потому привстал с седла и торопливо поцеловал оторопевших милиционеров...

И уже в пустоту ветра по сторонам, не то извинялся, не то прощался:

— Ну, будьте здоровы, всего вам предоброго!

Сам по себе мотоцикл разогнался и почти не касался дороги, а Ваня, чуть склонившись над рулем, затаил дыхание. Встречный ветер вышибал слезы и срывал их со скул, но глаза не прищуривались, будто не было ветра, пыли, будто не было ничего вокруг, и лишь впе-реди будет важное; по-настоящему есть только оно; оно не исчезнет, не убежит; но нельзя оглядываться и верить еще чему-то, еще во что-то, — надо двигаться быстро, спокойно.

Ваня не раздумывал над этим, как здоровый человек не раздумывает, есть ли у него ноги, что это и как это. Здоровый идет машинально, доверяясь ногам, так и Ваня мчался к неведомой еще цели, доверяя своему сокровенному знанию, безо всяких особенных мыслей, и только вздыхал иногда, как вздыхают на просторе в свежести ветра.

Улицу пересекли траншеи с водой, трубы. Ваня не успел ничего сообразить, как мотоцикл спружинил, взвился, вылетел на тротуар и остановился, въехав в чью-то калитку.

Увидев палисадник и дом, Ваня подумал, что в таком же доме живет и один хороший его знакомый; жаль, но вот уже третье его письмо Ваня оставил без ответа. На-чиналось это письмо так: «Пишу потому, что меня окрыляют возвышенные чувства к тебе...» Ваня не стал писать, что действительно стоит этого, не стал и разубеж-дать, а только улыбнулся и подумал, что обязательно станет хоть немного лучше, обязательно; тогда и отве-тит... как засветился из-за строк письма этот человек, как потянуло к нему, редкостно-радостно, как полегчало и осветилось Ванино существо.

Из дома вышла женщина, — что-то около тридцати, чем-то очень похожая на продавщицу винно-водочного в микрорайоне бани — и неожиданно мелодично завере-щала:

— День добрый-день добрый... это уже не первый,

да-да, не первый случай, увы, за мою бурную с трагическим оттенком жизнь, когда приходится помогать в различных житейских неудачах, так сказать, братьям или сестрам по крови или духу. Милости просим, просим, не бойтесь, здесь вас не оставят ни на какой произвол, несите ж сюда ваш мотоцикл, вашу невинную жертву беспардонства строителей, которые так безбожно тянут душу, подумать только — самую что ни на есть душу из окрестностных жителей. Торопитесь-торопитесь, ваша прекрасная машина разбита, несите сюда ее, несите на белые простыни ее бедные части...

Ваня оторопел; смутно предчувствуя недоброе, он обернулся и увидел, как «Ява» рассыпается на мелкие кусочки, — неожиданно большая груда не деталей, а именно кусочков, загрозила калитку.

Ничуть не испугавшись, будто все шло по заранее разработанному плану, Ваня отнес одну охапку металлического лома в просторную комнату гостеприимной, казалось бы, женщины, осторожно сложил все на простыне, хотел отправиться за второй охапкой, но оказалось, что вся груда уже здесь.

— Ах, молодой человек, вы такой молодой! Вы и ваша машина так приятно пахнете — какой букет! Да-да, особенно в этом железно-телесном комплексе... А мне всю жизнь не хватало, так не хватало подобного запаха! Если б вы знали, какой я прекрасный специалист по мотоциклам! Нет, нет, вам не дано до конца это прочувствовать! Ах, давайте, давайте же, ближе к делу... — Она взяла Ваню за руку, и в этот момент у входа в дом раздалось ругательство, но женщина, будто не слышала его, присела на корточки, потянув Ваню за собою, и стала проворно сортировать железки...

Ругательство повторилось, и Ване вспомнились слова старой комендантши о том, что муж и жена — одна плоть и кровь. Вспомнились потому, может быть, что хотелось надеяться на хорошее и нерушимое, — именно такую представлялась Ване сама старая комендантша из «Капитанской дочки».

Ваня следил за движениями женщины, и то ли от мыслей, то ли оттого, что ничего не понимал даже в неповрежденных мотоциклах, казалось, что тут вот-вот совершится чудо.

— Что за дьявольщина такая?! — голос прозвучал

в комнате. — И это в моем-то доме?! Все загажено, перепачкано, да еще простыни подстелили. Вон отсюда эту мерзость! На каком основании...

Ваня вскочил и увидел палец, который указывал на дверь.

— Я, я... меня пригласили... большой специалист... только помочь... — промямлил Ваня.

— Что-о, ты, сопля, большой специалист?! Да, знаю! Но тебя пригласили? Кто? Она? Верю! Но... помочь мне... Ха-ха-ха-ха-ха! Я покажу вам обоим, как и в чем мне надо помогать.

Стукнув коленками об пол, женщина раскинула руки, взвизгнула и завопила.

— Люстра нетленная, люстра моя хрустальная, хоть ты... Как зло клеветает этот мальчишка!

Ваня схватил за края простыню с железками и, волоча ее за собой, выскочил на улицу. Там он взял седло, и оно повисло в воздухе. Тогда Ваня сел на него, взял в руки руль, и в одно мгновение «Ява» собралась под ним из обломков, рванулась вперед...

Опять простор. Ветер. Легко и скоро идет машина; все — есть, но вот уже — было. Все — будет, и глаза опять не замечают ветра, глаза заморожены, и скорость, движение есть в них, и было, и будет...

Слепота осеннего неба пропала, и в бледной голубизне засветилось солнце, нежа шею и спину.

Зазеленели деревья вдоль дороги. Нерасправленная листва ждала своего времени.

Мотоцикл взлетает на мост — впереди далеко вниз уходит дорога, а по сторонам буйно цветут сады...

Скорее, скорее — туда...

Между озер, сквозь запах лесов, пролегает дорога. Дорога поднимается в гору, мотоцикл замедляет бег. По сторонам вырастают дома и вереницы людей, а мотоцикл вдруг тает, и в руках остается только руль.

Ваня чувствует, что летит по инерции, выпрямляется для удобства, вытягивает ноги; в руках уже оказывается не руль, а рулон исписанной бумаги, но он тоже как руль и придает полетность как будто...

Люди вокруг волнуются, начинают что-то кричать, размахивать руками, тыкать пальцами... — то ли это они так спорят, то ли возмущены тем, что чей-то путь не обозначен перильцами в пространстве вероятностей.

Ваня сильнее прижимает к груди рукопись (у нее развее сила, да и какой из нее руль!) и летит сам собою, под ним убегает назад асфальт, но вот он все ближе, все лучше видны темные следы от колес и мелкие камешки: дорога круто идет вверх.

«И мне надо вверх, а то — носом в асфальт... ах, как кричат люди... и ветер мешает, прижимает, давит на спину... асфальт пахнет смолой и резиной...»

— Гляди, падает!

— Может, поймать?

— За мной...

«Нет, сильнее смотреть, крепче... потому что последняя рукопись... сегодня утром додумался, вспомнил, и это важно... это надо, уверенно, уверенно и — вон отходит вниз, отдаляется асфальт, — еще, сильнее, будто отталкиваясь... смелее...»

Асфальт падает, проваливается, уходит; все труднее различить его крупинки, и ветер уже в грудь, в живот, сдувает с лица к затылку волосы, словно поддерживает, и все уверенней чувство полета. Все спокойней, сильнее чувствует себя Ваня и знает уже, что не упадет, что может остановиться и парить, и лететь — воздух держит его.

Ваня поднимается выше и еще выше — вся гора внизу, деревья, крыши, между ним и землею пролетают птицы, едва различим запах земли. Чем выше, тем легче лететь. Полет теперь медленный, высокий...

Люди долго стояли у дороги и смотрели вверх, не веря глазам, — неужто совсем улетит?

Наконец, Ваня вошел в облачко, и его не стало видно.

Несколько энтузиастов, вооружившись биноклями, пошли следом за облаком, долго ходили, но так больше ничего, кроме облака, и не увидели. Разве только точка какая-то потом, далеко над облаком и впереди него, двигалась. Потом и точка потерялась, и облако уплыло от них.

Никто никогда больше Ваню не видел. А дом...

В доме на Промышленной улице в тот день случился пожар. От чего и где он начался, неизвестно, горело во многих комнатах, но, как оказалось потом, ни у кого

ничего не сгорело, — словно чужие какие-то бумажки и вещи горели в комнатах; в Ваниной же сгорело все, вплоть до паутинок. По счастью, жертв тоже нигде найдено не было. Ванину фотографию, которая осталась у родителей, показывали по телевизору, но никто ничего так и не сообщил. Пришлось объявить Ваню без вести пропавшим.

Теперь дом опять отремонтировали, все также красят его перед праздниками, но краска отстает по-прежнему, тонкими ломтями. В Ваниной комнате живут его соседи, — тараканов, говорят, вывели, а клопов — никак!

НА БЕРЕГУ СТИКСА

Вода в канале была черной и спокойной. На ее поверхности лежали лопнувшие воздушные шары, словно разноцветная ветошь. Утром праздничная толпа бросала шары в канал с горбатого бетонного мостика. Они медленно падали навстречу своему отражению и встречались с ним, качнувшись; по воде шли круги; потом шары плыли, прилипшие к своим двойникам, как яркие восьмерки, подгоняемые ветром.

По крутому берегу сновали мальчишки. Они азартно целились из рогаток; шары лопались с глухим звуком, и на воде оставались сморщенные клочки резины.

Теперь парк затих.

Симаков брел по дорожке, ссутулившись, сунув руки в карманы распахнутого плаща. Начинало темнеть; казалось, воздух уплотняется, сливаясь понемногу с холодным зеркалом канала. Резко запахло вечером.

Симаков прошел по мосту, свернул налево и подошел к скамейке на берегу. Под ней валялись пустая бутылка и скомканный бумажный кулек; изрезанное ножами сиденье было усеяно крупными дождевыми каплями. Симаков смахнул воду ладонью и уселся, откинувшись, вытянув скрещенные ноги. Он прикрыл глаза и глубоко вздохнул, словно бы очищаясь от суматошного дневного воздуха. Немного посидел, расслабившись, потом достал папиросу, размял ее и закурил, с удовольствием затягиваясь крепким дымом.

Вокруг не было ни души.

Он сидел, курил, уткнувшись в тепло щекочущий шарф подбородком, пристально глядя на воду.

Пространство расплывалось, растягивалось, сглаживались очертания; таяли контуры деревьев, и тот берег отодвигался, подергивался дымкой, пока не стал узкой полосой на горизонте. Ничего не осталось, кроме неба, ровных берегов и канала.

Симаков встал, подошел к кромке воды. Вдали, среди нескончаемой пустоты, виднелось темное пятнышко. Оно постепенно увеличивалось; вскоре стали заметны неспешные взмахи весел.

Симаков поежился. Он бросил коротко зашипевшую папиросу в воду и сунул руки в карманы. Прислушался. Мало-помалу он различил слабый плеск и поскрипывание уключин — лодка все приближалась, раздвигая гладкую воду, скользя в сумерках к берегу.

Горбясь и вглядываясь в полутьму, он ждал. Наконец стал виден гребец, ритмично работающий длинными веслами; лодка словно бы пошла все быстрее и быстрее. Симаков отступил на шаг, и нос лодки врезался в хрустнувший песок прямо у его ботинок.

Перевозчик в потертом ватнике обернулся через плечо и секунду внимательно изучал Симакова.

— Все ясно, — сказал перевозчик.

Оба чуть помолчали.

— Поехали? — спокойно спросил Симаков.

— Погоди, — сказал перевозчик. Он бросил весла и пересел в лодке лицом к Симакову. — Закурить есть?

— У меня «Беломор».

— Давай.

Перевозчик поймал пачку на лету, достал спички, закурил. Он сидел в дощаной плоскодонке с облупившейся кое-где зеленой краской и смотрел на Симакова бесцветными немигающими глазами.

— Нормальный табачок, — сказал он, глубоко затянувшись. Симаков не ответил. Потом пробормотал:

— Я представлял все это иначе...

Перевозчик понимающие кивнул,

— Бывает.

Помолчали. С уключин мерно и беззвучно капала вода. Перевозчик попыхивал папироской, глядя на Симакова в упор.

— Что ж это ты, а? — спросил перевозчик.

Симаков помедлил.

— Сам не знаю, — сказал он.

Дымок папиросы вился среди отчаянной пустоты. Симаков посмотрел на горизонт, на далекую мутную полосу.

— А что там, на том берегу? — спросил он.

— То же самое, что на моем.

— Так зачем же тогда плыть?

— Трудно сказать, — ответил перевозчик. — Наверно, надо ж когда-нибудь менять берега.

— Даже если они одинаковые?

— Даже если так.

Симаков вздохнул. Он вытащил бумажник и, развернувшись, запустил им в воду. Раздался плеск, сразу и бесследно заглохший. Потом Симаков отстегнул часы, подбросил их на ладони, швырнул вслед за бумажником. Маленькие волны разошлись по воде, покачались вдоль лодки и набежали на песок.

Снова все стихло.

Перевозчик выплюнул папиросу за борт.

— Поехали? — спросил он.

— Погоди.

— Ясно, — сказал перевозчик и ухмыльнулся, блеснув фиксой. Он зачерпнул воды и полил на уключины, чтоб не скрипели.

Наступило молчание. Симаков оглянулся, хотя знал, что позади него все та же пустота.

— Ты там все объяснил? — спросил перевозчик.

— Да разве такое объяснишь.

— Действительно.

И снова тишина. Она сливалась воедино с этим томительным пространством, так странно терпевшим в себе двоих людей и лодку. Каждое движение или слово тотчас повисало, словно конец зыбкой доски над пропастью, и остановиться было, как сделать шаг по этой доске.

— Холодно здесь, — сказал Симаков.

— Да.

Симаков застегнул плащ, неторопливо и аккуратно заправляя пуговицы в петли. Поправил шарф.

— Закури, — сказал перевозчик, бросая пачку.

Симаков достал папиросу, повертел и вдруг скомкал в кулаке. Бросил ее на песок и отряхнул табачные крошки с ладони.

— Нервы, — виновато сказал он, засовывая пачку в карман.

— Многие так вот приходят, — сказал перевозчик, — особенно молодые.

— Правда? — тихо спросил Симаков.

— Приходят... А я же не тороплю. Постоят, подумают — и обратно...

Симаков кивнул.

— Я это понимаю, — сказал перевозчик.

— Да.

Перевозчик замолк. Равнодушно поболтал веслом в воде, глядя, как расходятся черные круги.

— Ты уж извини, — сказал Симаков.

— Ничего. Повезу другого.

— Понимаешь, я хочу увидеть, что будет завтра. Завтра все может быть иначе. Понимаешь?

Перевозчик посмотрел Симакову в глаза.

— А послезавтра? — просто спросил он.

— Это еще далеко.

И опять оба замолчали.

Симакову что-то мешало так сразу уйти. Перевозчик разглядывал свою ладонь, поддевая ногтем шелушащиеся мозоли.

— Устал я, — сказал он. — Руки не слушаются.

— Слушай, — сказал Симаков. — А почему ты не поставишь на свою посудину мотор? — Он осекся, поняв, что сказал глупость.

— Нет, — ответил перевозчик, — он слишком трещит. Видишь ли, здесь, между берегов, — единственное место, где люди могут спокойно и откровенно рассказать то, что на душе. Поэтому я гребу медленно, чтобы выслушать все...

Симаков чуть задумался.

— Да мы и так поговорили.

— Нет, — ответил перевозчик. — Это совсем не то. Симаков помялся, поправил кепку.

— Так мы когда-нибудь поговорим.

— Конечно.

— Я пойду, — неловко сказал Симаков.

— Иди, — сказал перевозчик. — Ты придешь послезавтра?

— Не знаю.

Не найдя, что сказать еще, Симаков повернулся, зашагал и вдруг замер. Навстречу ему шел мальчик лет десяти, в пижаме, с пухлым марлевым компрессом на шее. Глаза его смотрели далеко, отрешенно, на тот берег. Молча он прошел мимо Симакова и сел в лодку. Перевозчик взялся за весла.

И Симакова как током дернуло.

— Мальчик! — крикнул он, — Мальчик! Постой! Поменяемся! Мальчик!

Симаков побежал к лодке, зарываясь ботинками в рыхлом песке. Перевозчик оглянулся.

— Ничего не выйдет, — сказал он. — Тут ничего не поделать.

Мальчик сидел, безучастный.

— Оттолкни-ка лодку, — сказал перевозчик. — Ну, толкни, что ты? — повторил он.

Симаков уперся руками в холодный, обитый жестью нос лодки, толкнул, чуть не упав в воду, выпрямился, пошатываясь. Лодка скользнула от берега; перевозчик развернул ее и начал неспешно грести.

Заплескались маленькие волны, разглаживая остроугольный след на берегу.

Симаков долго стоял, глядя вслед лодке. Она все уменьшалась, уменьшалась, пока не стала точкой на горизонте. Потом она пошла обратно. Сзади Симакова слышались чьи-то шаги.

УМИРАЮЩЕЕ МОРЕ

Во всем городе только старый капитан знал, что происходит по ночам.

В час, когда на улицах не оставалось даже ночных грабителей, море с тихим шумом вздымалось над набережной и входило в город. Оно осторожно шарило во тьме каменных лабиринтов, ощупывало каждый кирпич, каждый фонарь и заносило их в свою необъятную память. Море примеривалось к городу, кропотливо заучивало его, как полководец, в тысячный раз разглядывающий перед рассветом карту грядущего боя.

Капитан выходил из дома и безбоязненно шел навстречу крадущимся вдоль стен волнам. Он поглаживал их ласково и без слов, как измученного болезнью судового пса. От его ветхой капитанской формы исходил неистребимый запах моря. И волны возвращались вспять. Он клялся им вслед, что образумит людей.

Наученный горьким опытом, он сознавал, как трудно будет исполнить свое обещание.

Утром капитан выходил на набережную и смотрел на спокойную, розовеющую у горизонта водную гладь. Все было как в пору его отрочества, когда он из затерянной среди лесов деревушки пришел в портовый город с узелком в руке и со спрятанной под соломенной шляпой лакированной почтовой карточкой, которая открывала взгляду дивное зрелище кораллового атолла с тремя высокими кокосовыми пальмами. С тех пор капитан повидал не одну тысячу островов, и пальм, и других чудес, которые и не снились деревенскому мальчишке в стоптанных до дыр башмаках. Но ему приходилось видеть и другое. Память являла его глазам мертвых чаек со склеенными нефтью перьями и пересохшие устья рек.

Море менялось. Не раз его корабль на полном ходу останавливала новая, не обозначенная в лоциях мель. Теперь он понимал, что море только кажется вечным. Все так же катились на берег тихие волны его детства, однако внутренним взглядом капитан видел гибель расстилающегося перед ним великолепия.

Но это еще не все. Капитан видел и будущее города — так же ясно, как в Бухте Сатаны он различал сквозь тридцатифутовую кристальную толщу воды останки испанских галионов, развороченных искателями сокровищ. Ограбленное, отравленное, опозоренное море расчетливо и спокойно готовило городу месть. Об этом не подозревал никто, кроме капитана. Ему ли было не знать, как умеет мстить море. А еще капитан знал неразумный детский нрав моря и понимал, что оно будет раскаиваться и тосковать, оставшись без людей.

Счет в надежном банке, куда стеклись долгие годы плаваний и обернулись лужицей золота, мог обеспечить капитана, живи он хоть двести лет. Средства вполне позволяли ему уединиться в каком-нибудь особняке на берегу моря и не думать ни о чем.

Капитан оставался в городе. Он был единственным и последним настоящим слугой моря, который мог как-то примирить обе стихии, из которых одна лишь на первый взгляд казалась разумной.

Когда-то жизнь вышла из моря. Теперь она убивала море — медленно, с бессознательным изуверством.

Капитан писал об этом в письмах. Целыми днями он просиживал за столом, выводя рассыпающиеся буквы на четвертушках писчей бумаги. К вечеру набиралась целая стопка пузатых конвертов с невольно расклеивающимися уголками. Капитан относил их на почту и терпеливо ждал возле окошечка, пока его корреспонденцию оформят по всем правилам. Уплачивал почтовый сбор, возвращался домой и снова садился за письма.

Кому он писал? Всем. Любой мало-мальски заметный среди человечества человек регулярно получал от него письма. Капитан ненавидел тех, кому принадлежали корабли. Для него было дикостью, что корабли — эти огромные, сильные, послушные чудища из дерева и

металла — могут принадлежать кому-то. Но даже судовладельцам он писал свои поразительно длинные письма, презирая себя, и все же не теряя надежды в конце концов достучаться до сердец этих людей.

Видимо, кому-то однажды крепко надоели его бессвязные послания, и несколько лет назад капитана подвергли психиатрической экспертизе. Он весьма здраво рассуждал обо всем, что не касалось моря. Врачи после долгих прений признали его неопасным для окружающих и практически дееспособным.

Когда его правая рука и плечо начали угрожающе болеть, он купил самую лучшую электрическую пишущую машинку и меньше чем за месяц обучился письму на ней. Перед тем как заклеить очередной конверт, он долго перебирал машинописные листки, любовался их убедительной аккуратностью.

Он и не догадывался, что почтовое ведомство по требованию некоторых влиятельных лиц давно приняло меры и все его письма за последние три года, увязанные бечевкой в тесные стопки, пылятся за дверью специальной комнаты на главном городском почтамте.

В складах дюн ждали тихие особняки, обещавшие уют и безоблачную старость вблизи моря. Но он был капитаном и, значит, не имел права распоряжаться собственной судьбой. Он продолжал писать нескончаемые письма, а по ночам охранял гордый и великий город, беззащитный перед предсмертной яростью моря, словно картонная игрушка.

Остается неизвестным, когда спал старый капитан. Скорее всего, он вообще не спал, как не умеет спать море.

Однажды ночью, когда в далеких пространствах бушевали осенние шторма, он вышел из дома и прислушался. В ту минуту сотни судов порознь боролись со все еще могучим морем, и их слитные скрипы тревожили капитана, как неотвязный неведомый стон.

Выйдя на площадь, где возвышалась воздвигнутая в честь каких-то морских побед триумфальная колонна, капитан увидел в конце улицы чудовищный морской вал, ощеренный белой, как ярость, пеной. Впереди него приплясывали волны-лазутчики. Море шло на приступ.

Капитан простер руки навстречу надвигающемуся убийству, но он был слишком мал, чтобы его заметили. Тогда он повернулся и бросился бежать к городской ратуше.

Гнев моря медленно настигал его. Сквозь мертвые улицы, уже по колено в воде, он все бежал, чтобы ударить в ратушный колокол. Пусть люди выйдут из домов, встанут на колени и, высоко подняв на руках детей, молят пощады.

Он свято верил, что море простит.

Вода прибывала. Вечный товарищ моря, ветер, лопнул в дома, будто вдребезги пьяный матрос, сотрясая оконные стекла и двери.

Впереди возник прыгающий силуэт ратуши.

Но тут громадная волна изогнулась высоко над бегущим стариком и сгребла его, словно когтистая лапа. Смяла, проволокла по булыжникам и швырнула, бездыханного, навзничь.

Утром возле ратуши прохожие обнаружили мертвое тело, одетое в китель капитана дальнего плавания.

Как позже заключила экспертиза, человек захлебнулся в морской воде.

Море сжалилось над ним.

ТАЙНАЯ ФЛЕЙТА

В детстве его учили играть на аккордеоне.

Серый, с никелированными замочками футляр стоял за шкафом. Он вытаскивал эту неповоротливую тяжесть, царапая стену. Распахивал скошенную крышку, и с перламутровой груди аккордеона на пол съезжали ноты. Собрав их и шлепнув на стол, он за ремень вытаскивал инструмент из нежного фланелевого лона.

От аккордеона исходил приглушенный блеск и слабый аромат кожи. Гладкие матовые клавиши хотелось лизнуть. Левая клавиатура, усыпанная черными кнопками, напоминала щетку для паркета. Взгромоздив аккордеон на колени, впрягшись в его мягкие лямки, он отстегивал замочек на мехах. Он словно бы надевал на свое сухощавое тело мощную и звучную грудную клетку. Стоило нажать на клавишу, упругие мехи расходились в его объятиях зубчатым веером, выпуская медовую струю звука. Даже не музыка — голый, как луч, единственный звук входил в него, рождая мучительный трепет, схожий одновременно и со счастьем, и с тоской. Он забавлялся, переключая регистры, тянул то ту, то эту ноту, провисавшую к концу, как удочка. Однако учиться игре он не любил. Ему претили монотонные гаммы, однообразные этюды, ноты, которые он мысленно сравнивал с жуками на булавах.

— Лентяй, — говорил в пространство носатый, мефистофельского вида руководитель кружка при Доме культуры. — Какой потрясающий лентяй. И что самое обидное — ведь с абсолютным слухом...

Все чаще он пропускал занятия, а когда приходил, руководитель уже ничего не говорил, только вырази-

тельно косился из-под челки, лежавшей на лбу редкими прядями, точно гребенка.

Потом он вообще перестал ходить в кружок.

Серый футляр за шкафом потускнел от пыли.

Наконец аккордеон продали.

В поисках утешения отец целыми вечерами слушал свои пластинки. Чайковский, Шопен, Бетховен... Казалось, эта музыка, сыгранная чужими пальцами и купленная в магазине, таила в себе упрек.

Аккордеон исчез и забылся. Лишь изредка, встречая на улице мальчишку или девчонку, которые, накренившись, волокут грузный футляр, он улыбался — скользящей улыбкой человека, припомнившего свою мелкую и забавную неудачу.

К тому времени, когда он закончил школу, даже это воспоминание оставило его, свернувшись мертвой пружинкой в самом дальнем уголке памяти.

Учился он легко, ровно, не выказывая особой привязанности ни к одному из школьных предметов. Получив аттестат, по настоянию родителей он поехал в Большой Город и поступил в институт. Через пять лет его ожидал диплом авиационного инженера, работа, дом и семья. Ничто не предвещало иной жизни.

Но наше существование состоит из мелочей и от них неизбежно зависит. Река жизни способна повернуть вспять из-за пустяка, камешка, оброненного словца.

Однажды в мае, под конец второго курса, он бродил по городской окраине неподалеку от общежития. Последний зачет остался позади, и теперь он мог себе позволить передышку на денек-другой.

Без фуражки, с расстегнутым воротом, слонялся он по тихим и пыльным улочкам, удивленно радуясь своей свободе. Та весна совпала с самой неудачной его влюбленностью — из числа тех тягостных, безответных наваждений, с которыми в юности мы не умеем мириться. Однако день выдался ясный, чистый, беззаботный, и мало-помалу вся горечь, теснившаяся в его душе, растворилась без следа.

Солнце еще не жгло, а согревало. Деревья сорили пылью, покрывая глянец листвы желтым налетом. На лужицах, оставшихся после ночного дождя, пыльца закручивалась в тонкие сухие разводы.

Такая ясность, такая легкость царили во всем, что внезапно возникший звук дудочки показался естественным дополнением этого дня, его замыкающим звеном.

Остановившись возле забора, напротив серого кирпичного домика под шиферной крышей, студент увидел раскрытое окно в клубящемся развале двух сиреневых кустов и, в профиль, седого человека с дудочкой в руках. Студент удивился: судя по лицу, седому человеку еще не исполнилось и тридцати. Опробовав свирель, музыкант раскрыл ноты на пюпитре, взгляделся, ища нужное место. Затем вскинул голову, поднес дудочку к губам и пустил в небо долгую трель... Еще раз мельком сверился с тетрадью и заиграл.

Студент узнал мелодию — то были «Вариации для флейты с фортепиано» Шопена, которые отец слушал чуть ли не каждый день. Седой человек исполнял вторую часть — протяжную, светлую жалобу с переходом в грациозный мажор, — он не играл, он разговаривал с певучей и прохладной ветвью мелодии, едва касаясь ее губами, а стройное тело дудочки, покрытое янтарным лаком, в его пальцах казалось гибким и одушевленным.

С замиранием студент слушал музыканта. Тот прервался на середине, вернулся к началу и доиграл до конца, потом начал другую, незнакомую мелодию... Осторожно студент подошел к забору и сел на траву, чтобы его не было видно из окна, чтобы не помешать музыканту непрошеным своим присутствием. Однако не прошло и пяти минут, как в печальное соло вплелся требовательный крик младенца. Музыка осеклась. Слышны были стук поспешно брошенной дудочки, торопливые шаги и растерянное бормотание, сопровождавшееся треском погремушки.

Вздохнув, студент встал с травы и пошел к общежитию. Видимо, не вполне еще очнувшись, он спутал направление и попал в другую сторону, к лесу. Ему пришлось немного поплутать по однообразным улочкам, окаймленным белыми ворохами яблонь, прежде чем он выбрался на нужную дорогу.

В общежитии он взял все свои наличные деньги и поехал в центр города, к Старой Крепости, вблизи которой располагался магазин музыкальных инструментов. Он вошел в магазин впервые и улыбнулся: позади прилавка, на полках, сплошной стеной стояли аккордеоны.

Конечно, его не интересовали ни аккордеоны, ни балалайки, ни скрипки мал мала меньше, лежавшие в ряд, словно спящие матрешки. Рядом со сверкающим кустом электрогитар, на полке, где разевал желтую пасть серебряный саксофон, студент увидел маленькую черную дудочку. Она лежала в центре этого по-фламандски щедрого натюрморта, непритязательная, как Золушка.

— Покажите, пожалуйста, вон ту дудочку, — попросил он скушающую продавщицу в зеленом форменном халате. Та достала из выдвижного ящика дудочку в продолговатом полиэтиленовом мешочке и положила на прилавок, где под стеклом лежали желтые баранки струн, плектры, камертоны и множество других загадочных мелочей.

Студент внимательно осмотрел черную пластмассовую дудочку, схваченную тремя никелированными кольцами, а также прилагавшиеся к ней оранжевый ершик для чистки и листок с аппликатурой. «Продольная флейта-сопрано» — значилось на листке.

— А деревянных у вас нет? — спросил он.

— Нет.

— Но вообще бывают?

— Как когда.

Ему хотелось иметь в точности такую дудочку, как у седого музыканта, однако нетерпение взяло верх. Пальцы, сжимавшие флейту, мелко подрагивали, как если бы они держали живую рыбу. А может, невоплощенная музыка, томившаяся во флейте, просачивалась в него.

— Сколько она стоит?

— Двадцать два рубля.

Поколебавшись и мысленно взвесив возможности своего кошелька, студент попросил выписать чек.

Потом он шел по городу, держа под мышкой продолговатый бумажный пакет, и сгорал оттого, что нельзя сразу разорвать обертку, как сдирают платье с непослушными пуговицами, вынуть флейту и, усевшись прямо на тротуаре, заиграть «Вариации» Шопена.

В тот же день он уехал за город и, зайдя глубоко в лес, сел на поваленный ствол, и извлек флейту из пакета. Давнее, полузабытое знание нотной грамоты все-таки не пропало втуне, и он без особого труда разобрался в аппликатуре. Затем, старательно прижав пальцами ды-

рочки, он вложил в губы похожий на косо срезанную луковку мундштук и дунул. Шепелявый свист рассек тишину и, устыдившись себя, сорвался на еле слышное шипение. Некоторое время прошло в бесплодных стараниях выдуть хотя бы одну верную ноту. Студент бесился, до боли сжимая флейту, он сверялся с аппликатурой, искал дефект, вертел настроечное кольцо. От дырочек на пальцах выступили красные пупырышки. Его подмывало сломать и вышвырнуть эту бездушную пластмассовую трубку, которая, казалось, с утонченным презрением издевалась над ним. После небольшой передышки он возобновил свои попытки с удвоенным прилежанием и наконец извлек из флейты всю гамму.

Последующие дни он проводил в лесу, полностью пренебрегая подготовкой к экзаменам. Постепенно флейта приручалась, пальцы студента обретали беглость и легкость. Он скоро освоил игру в двух октавах, для чего надлежало дуть то сильнее, то слабее, и нащупал две самые удобные для исполнения тональности — ре-минор и фа-мажор. Остальное было делом его слуха и усердия... Свершилось чудо. Он заиграл.

Ни один человек на свете не знал о том, что у него есть флейта. Музыка стала его грешной и сладкой любовью, спрятанной ото всех. Теперь в его душе появился заповедный остров, куда он не допускал посторонних и где его всегда ждало лекарство от капризов фортуны. Неудачи, которые прежде отравили бы ему существование на целую неделю, ныне вовсе не задевали его. «Ничего, — говорил он себе. — Ничего, это пустяки. Зато я играю на флейте». Музыка выделила его среди прочих людей и вознесла на недостижимую высоту. Как-то раз он встретил на улице свою любимую вместе с ее избранником и поразился спокойствию, с которым перенес неожиданную встречу. «Ну что ж, — подумал тогда флейтист, — зато он не умеет играть на флейте». Эта простая мысль поставила все на свои места. Действительно, ни женская благосклонность, ни слава, ни богатство не даются в вечное пользование. Они проходят, и отчаянием потери уравнивается бывшее счастье. Истинной ценностью обладает лишь то, что человек берет сам, не одалживаясь ни у кого. Это мудрость, талант и призвание. Кто воспитал их в душе, тот перестает зависеть от превратностей судьбы, хотя

жернова миропорядка грубы и неумолимы, — ведь гении рождаются намного чаще, чем кажется историкам искусства.

Странными подчас путями мы обретаем смысл собственной жизни, или, вернее, он находит нас. Если разобраться, в каждом из людей спрятана тайная флейта, и среди них не найдется двух одинаковых. Отнимите этот невинный секрет — и человек станет голым, безликим животным в стаде себе подобных. Тогда он попросту не сможет нашарить себя в мире, отличить от других, а однажды, на многолюдном перекрестке, затеряется среди толпы и, растворенный в ней, исчезнет без следа. Или поменяет себя на кого-то другого, сам того не заметив, — как пьяные гости путают свои шляпы.

Когда человек говорит «вот я», обретая себя в бесконечности человечества, он говорит «вот моя тайная флейта».

Свое обычное существование меж людей флейтист воспринимал теперь как досадные, но неизбежные промешутки в его подлинной жизни, начинавшейся, когда он уходил в солнечные чащобы, и музыка сама собой, словно трава, вырастала из флейты. Остается неизвестным, что спасло его от провала на сессии — везение ли, безупречная ли память, а может, репутация одаренного лентяя. Так или иначе, он сдал все экзамены в срок и уехал домой.

Родителей удивила и насторожила неожиданно проявившаяся в нем тяга к одиночеству. Вначале они полагали, что причиной происшедшей перемены является несчастная любовь, но весь вид сына, его спокойствие, просветление и тихая радость, сквозившие в лице, заставили отказаться от первоначальных подозрений. Осторожные расспросы ни к чему не привели.

Окончательно запутавшись в догадках, родители оставили его в покое, решив довериться естественному ходу событий, который рано или поздно делает все тайное явным.

А флейтист упражнялся ежедневно, разучивая на слух новые и новые мелодии, приспособливая их к одинокому и бесхитростному голосу своего инструмента. Оказалось, его память хранила тысячи музыкальных фраз, песни и

симфонии, оперные арии и увертюры, ресторанные шлягеры и джазовые композиции, сонаты, концерты, токкаты, фуги, словом, все, что он когда-либо слышал. Трепетными горстями черпал он из этого звучащего океана и влагал в стройную гортань флейты, выстраивая из бесчисленных осколков храм своей музыки. Сам того не сознавая, он из исполнителя и виртуозного импровизатора превратился в композитора.

Время шло незаметно, измеряемое одной лишь музыкой, текущей сквозь него с постоянством и мощью великой реки. Кончились каникулы, и он вернулся в Большой Город во власти все возраставшей одержимости. Стоило ему прожить день или два без флейты, им овладевало мучительное нервное перенапряжение, бесконечная тоска заключенной в клетку птицы, и только привычный наркотик музыки высвобождал его из тисков уныния. Он выправлял один бюллетень за другим под предлогом несуществующих болезней. Друзья не узнавали его. Постепенно все человеческие связи, которыми он прежде был щедро одарен, либо оборвались, либо сделались совершенно неосязаемы.

Однажды он, повинуясь безотчетному побуждению, решил найти седого музыканта, но не смог отыскать его дом и впустую целый вечер пробродил по тихой окраине.

Миновал почти год.

Незадолго до майских праздников один из его товарищей по комнате справлял день рождения. Собралась большая шумная компания, стол уставили дешевыми винами, включили магнитофон, пили и танцевали до упаду. Среди общего веселья он пребывал безучастным, мучительно взвешивая и переживая свое внезапное решение — открыть тайну, уже давно тяготившую его, и сыграть на флейте открыто, перед всеми собравшимися.

Далеко полночь он решился, выключил магнитофон и попросил внимания. Когда в его руках появилась флейта, компания наградила музыканта громкими восторгами, изумлением, аплодисментами, а едва он поднес мундштук к губам, воцарилась напряженная, жадная тишина.

Он заиграл. Лица, обращенные к нему, затуманились, сливаясь в одно беспредельное лицо, излучавшее восхищение, радость и одобрение, а музыка струилась свободно, чисто; на скрещении взглядов, окруженный

сердцами, тянувшимися к флейте, он играл, боясь заплакать, играл, как никогда в жизни, переполняемый благодарностью и любовью к людям, к музыке, ко всему существующему...

Он сыграл свой парафраз четвертого клавесинного концерта Моцарта. Наступившее молчание прорвалось чьим-то потрясенным восклицанием, и флейтиста захлестнула волна похвал. Еще охваченный музыкой, он терялся, неловко отвечал на чьи-то рукопожатия, поцелуи в щеку. Его просили повторить. Он повторил и без передышки начал другую мелодию, потом еще одну, еще... Он не мог остановиться, даже если бы захотел.

По мере того как он играл, первоначальное напряжение слушателей таяло. Они становились рассеянной, уже кто-то деликатно зевнул, кто-то шепотом завел разговор с соседкой, еще кто-то тихонечко выбрался из комнаты... Вдруг, в паузе, он заметил общее усталое невнимание, и оно, по контрасту с его небывалым вдохновением, показалось ему таким болезненным, таким нестерпимым, что флейтист едва справился с яростным желанием бросить в скучающие лица оскорбление и убежать куда глаза глядят.

Прекратив игру, он вытряхнул из инструмента слюну, протер его ершиком и сел в углу. Весь вечер флейтист не притрагивался к вину, опасаясь, что пальцы утратят беглость. Теперь, отчужденный от компании, он наблюдал вокруг лишь пьяную неуклюжесть, пьяные ухаживания, пьяное равнодушие к нему, лишь усугублявшееся мимоходными поздравлениями друзей, и почувствовал отвращение ко всем присутствующим разом.

Его уход остался незамеченным.

Флейтист понял, что остальным людям нет особого дела до него и до его флейты. Они с удовольствием слушают его игру, но — между прочим, в виде оригинальной приправы к вечеринке, и не более того. Шелковая сеть музыки соскальзывает с них, они возвращаются к своей прежней жизни, не изменившись ни на волос. Он сознавал справедливость этого, однако им владело нечто большее, нежели оскорбление личной святыни. Перед ним открылась вся несоизмеримость искусства и обыденности. Он полагал, что в его пальцах заключена Вселенная, которая дышит с ним одним дыханием, струящимся сквозь флейту, а на самом деле вокруг существовало

колоссальное множество людских Вселенных, и каждая жила обособленно, изредка соприкасаясь с другими, никогда не входя в другую целиком. Увидев эту вечную разобщенность, это непреодолимое одиночество каждого, о чем он раньше и не подозревал, и поняв свое ничтожество перед гордыми тайниками чужих душ, музыкант впервые с того дня, как взял в руки флейту, ощутил бессилие и тоску.

Безысходное прозрение вело его сквозь пустоту темных улиц. И вот, под внимательными звездами в трещинах облаков, плутая среди глухих заборов, погасших окон, нарождающейся листвы, в одиночестве, не приглушенном ничьим присутствием, он приник к своей флейте, к своему отвергнутому нищему чуду. Не флейта — само сердце музыканта заплакало в неизреченной жалости к миру, ко всему живому, к любящим, спящим, терзающимся бессонницей, к травам, деревьям и звездам, к черным и глухим домам, к зверям, рыбам, птицам и насекомым, к ночному поезду, грохочущему за лесом, к тесной грозди котят в животе матери-кошки, к белокаменным парусам церквей, к оброненному мальчишкой перочинному ножу, к медведке, прогрызающей свои ходы в горьких недрах земли, к молодоженам, задремавшим в счастливой испарине, к их ребенку, чья жизнь начнется на следующую ночь, к спиленному ясеню, к рекам, камням, пустыням, океанам и планетам...

Впереди него, в густой зависти темноты, проشمыгнуло серое пятно, затем еще одно. Он обернулся, прослеживая их путь, и увидел, что улица позади него шевелится и ползет, как бугристая мрачная лента конвейера. Меж лопаток востребовался, заерзал жуткий холодок. Луна вышла из-за тучи, озарив улицу водянистым подобием света.

Флейтист содрогнулся. За ним шли крысы. Прижавшись друг к другу плотно, как булыжники мостовой, посверкивая круглыми глазками, неисчислимое множество крыс наполняло улочку от забора до забора. Передние зверьки остановились вместе с флейтистом, но задние напирали на них, послышались писк и возня; крысиная мостовая начала горбиться, вспучиваться неровными волнами, и музыкант понял, что через несколько мгновений вся эта омерзительная масса хлынет на него просто по инерции. Как ни странно,

грозящая опасность не парализовала его, а, наоборот, заставила действовать быстро и продуманно. Превозможая тошнотворный страх, он повернулся и пошел, играя на флейте. Слух его раздвоился: машинально следя за мотивом, он отчетливо слышал позади себя тысячелापый шорох.

Городская окраина кончилась, потянулись свежевспаханые поля, отороченные черными зигзагами ельника. Пройдя несколько километров, флейтист оглянулся на ходу, увидел копошащееся бескрайнее море крыс и остановился. Крысы обтекли его со всех сторон, оставив незанятым лишь островок пашни вокруг музыканта, шага три в поперечнике. Затем они стали медленно приближаться, сужая зубчатое кольцо морд. Тогда он снова заиграл и пошел, а его паства послушно разомкнулась, образуя проход.

...Небо уже заметно светлело, и над горизонтом расширялось бледное сияние, предвещавшее восход солнца, а он играл и шел, таща за собой чудовищный крысинный шлейф, задыхаясь, не смея прервать музыку. Он надеялся, что с восходом солнца его кошмар сгинет.

Солнце взошло. И при его свете он увидел позади себя, насколько хватало глаз, ржавую бугристую равнину — тысячи и тысячи крысинных полчищ. Голова его закружилась, онемевшие руки выпустили флейту, и в изнеможении он опустился на росистую траву, с бессильным ужасом предчувствуя, что сейчас крысы загрызут его...

Очнулся он на закате. Начинало холодать, и крысы укрыли флейтиста собой, как живым одеялом. Почувствовав его пробуждение, они с визгом шарахнулись в стороны, очистив небольшой круг. Голодный и разбитый флейтист встал, подобрал флейту и, увидев невдалеке ручей, прорезавший бурую крысиную пустыню, направился к нему. Свободное пространство передвигалось вместе с ним, он шел, словно бы в луче зеленого прожектора.

Склонившись над водой, он безучастно отметил, что волосы его совершенно поседели. Почему-то вспомнился седой человек, игравший на дудочке.

Флейтист ополоснул лицо и напился. Сгрудившиеся вокруг крысы жадно лакали воду. Утолив жажду, они вопрошающе уставились на него.

Крысы ждали своего музыканта. И он почувствовал невозможность возвращения к людям, в Большой Город, который очистился от крыс. Он не мог вернуться. Ему просто незачем было возвращаться. Никто не ждал его, никто не испытывал в нем потребности, кроме крыс. Он победил неистребимое проклятие каждого города и в награду оказался пожизненно прикован к нему.

А еще музыкант понял, что не он обладает флейтой, но флейта владеет им. Это она, как крохотное копье музыки, взятое наперевес, ведет за собой его, и крыс, и всю красоту, и всю мерзость мироздания.

Руки сами подняли флейту. И он пошел, играя, волоча за собой ужас подвалов, затхлость кладовых, вонь помоек и чердачное запустение, корчи зачумленных и агонии загрызенных младенцев, пошел, возглавив мириады отчаянных, жадных, жестоких, смрадных тварей, покорных только флейте, и он шел, играя без передышки, все дальше, все дальше и дальше, все дальше, дальше, дальше...

ВЛАДИМИР АВИНСКИЙ,
кандидат геолого-минералогических наук

АСТРОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ*

Один из удивительных парадоксов мышления заключается в том, что, хотя наукой и не доказано существование внесемных цивилизаций, представление о них все шире распространяется в различных слоях общества и... оказывает влияние на целый ряд общественных явлений.

Не существует принципиальных аргументов, запрещающих возникновение и развитие космических, то есть внесемных цивилизаций, а также их контакты друг с другом. Более того, астросоциологические представления характерны для многих современных ученых, не говоря уже, разумеется, о К. Э. Циолковском с его идеями о населенном космосе. Так советским ученым Е. Т. Фаддеевым выдвинута гипотеза о ряде развития. В соответствии с этой гипотезой появление разумных существ, космических цивилизаций и их объединение неизбежны, ибо только такой процесс «позволяет преодолеть своеобразный кризис в развитии материи, открывает новую область эволюционного ряда...»

Укреплению представлений о закономерности существования внесемных цивилизаций способствовала также дискуссия вокруг идеи «уникальности» (точнее было бы сказать — единственности) цивилизации земной в журнале «Вопросы философии». Большинство философов и специалистов в различных областях науки отрицательно отнеслись к идее уникальности земного разума.

Аргументы в пользу существования «космического разума» ищут не только в Космосе, но и на Земле — это поиск следов палеоконтакта, то есть контакта пришельцев с нашими далекими предками. Но независимо от того, являются космические контакты исторической реальностью или нет, независимо от успехов или неудач науки в поиске проявлений внесемных цивилизаций, с определенностью можно утверждать одно: астросоциологические представления проникают в сознание людей, влияют на различные стороны общественной жизни.

* Статья гостя Риги куйбышевского ученого, кандидата геолого-минералогических наук В. И. Авинского, разрабатывающего проблему поиска проявлений деятельности космических цивилизаций, печатается по публикации в № 5 журнала «Наука и техника» за 1981 год

Среди этих представлений доминируют как бы две линии. Первая — что социология ближнего космоса, возникающая в связи с перспективой создания колоний в околоземном пространстве. Вторая — это идеи о космических цивилизациях, о возможности их соприкосновения с человечеством.

В обыденной жизни идеи о внеземных цивилизациях, о палеокосмонавтах или о современных энлонавтах (членах экипажей гипотетических НЛО — неопознанных летающих объектов. — Прим. ред. журнала) в общем воспринимаются спокойно, но с высокой заинтересованностью.

Проникновение астросоциологических представлений в обыденную жизнь находит отражение и в сфере эмоционального познания мира средствами кинематографа, музыки, литературы, изобразительного искусства. Причем речь идет не о фантастических жанрах, но о сугубо реалистических произведениях современных авторов. Мысли о внеземных цивилизациях то включаются в ткань художественного произведения, то составляют его основу. Авторы надеются таким путем раскрыть новую, неизвестную грань проявлений интеллекта, эмоций, характера человека. В искусстве наблюдается «...переход к космическому «видению» мира. Эта космизация (или, точнее, геокосмизация) эстетического отображения — характерная черта эры космоса», — пишет А. Д. Урсул, анализируя влияние освоения космоса на этические и эстетические аспекты мировоззрения и деятельности людей.

Влияние астросоциологических представлений на науку проявляется пока в слабых формах. По оценке того же А. Д. Урсула, астросоциологические вопросы ныне в незначительных масштабах разрабатываются примерно лишь одним процентом научных дисциплин. Наряду с отрицанием возможности визита инопланетян в виду вычисленной маловероятности такого события формируется конструктивный подход к проблеме контакта, опирающийся, правда, пока лишь на одни аргументы. В последние годы происходит становление научной методологии и стратегии поиска внеземных цивилизаций, разрабатываются философские аспекты этой проблемы. В недрах таких дисциплин, как философия, астросоциология, экзобиология, радиоастрономия, усиливается поляризация взглядов по вопросам космогонии, происхождения человека, палеоконтакта, природы аномальных феноменов типа НЛО. Радиоастрономическим поиском «разумных» сигналов в далеком космосе проблема не исчерпывается. Например, в «Программе исследований по проблеме связи с внеземными цивилизациями» АН СССР теоретически допускается возможность появления инопланетных зондов в околоземном космическом пространстве, рекомендуется методика поиска таких быстроперемещающихся объектов с помощью средств радиолокации и космической связи. Прямым следствием астросоциологических представлений является образование научных обществ, таких как международное «Общество древних астронавтов», «Общество по изучению космических явлений» (Швейцария), секция и общественная научно-исследовательская лаборатория «Ближний поиск внеземных цивилизаций с помощью средств радиоэлектроники» научно-технического общества радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова. Предпринимаются попытки перетолкования уникальных памятников прошлого, например, мегалитического комплекса Стоунхенджа, по-новому чита-

ются древние тексты, мифы, легенды. И если наукой в целом еще на один феномен прошлого или настоящего не признан как бесспорное доказательство контакта, то отдельные исследователи убеждены в исторической реальности этого события. Так, по данным швейцарского библиографа У. Допатки, с палеоконтактах ныне пишет более двухсот авторов, среди них профессиональные ученые. Этот процесс приобретает все более устойчивый характер как некое отражение (скорее всего, сильно искаженное) еще не осмысленной возможности космического палеоконтакта. Представления о древних «космических пришельцах», дискуссия вокруг которых вспыхнула в конце 60-х годов, характеризуется противоречивостью аргументов, слабостью методологии, обилием ненаучных наслоений и откровенных спекуляций, особенно процветающих на страницах западной прессы. Палеовизитология превращается в новое научное направление, вырастая из чрезвычайно пестрого жанра, который можно охарактеризовать как палеокосмический утопизм.

Мы являемся свидетелями перерастания абстрактной идеи множественности обитаемых миров в конкретную идею возможного взаимодействия одного из этих миров с человечеством. Но попытки представить как реальность контакт с внеземной цивилизацией, осознание возможности палеоконтактов как исторического факта породили тенденцию приписать этим гипотезам контакта статус лженаучных, исключить их из сферы научного рассмотрения. Как выразился американский философ Луис Навиа, «в холлах научной академии астроархеологии был оказан самый холодный прием».

Каковы же причины такого «холодного приема»? Причин несколько, и они заключаются не только в здоровом консерватизме ученых, не только в объективной слабости методологии и фактологической аргументации гипотез контакта. Основная причина носит социальный характер. Наука есть один из общественных институтов, призванных решать земные проблемы, ей нелегко преодолеть инерцию традиционного мировоззренческого заказа и узких интересов сформировавшихся школ. Осознание фундаментальности астросоциологической проблематики, естественно, требует времени более длительного, чем 20 с небольшим лет, прошедших с начала «космической эры» человечества.

На первый взгляд, астросоциологические представления, циркулирующие в обществе, никак не влияют на производство. Такое утверждение верно, если иметь в виду производство средств производства. Если же рассматривать производство научных ценностей и предметов культуры, то увидим, что промышленность давно выпускает долговечные носители информации, предназначенные непосредственно для инопланетян (вымпелы и т. п.), технические средства для поиска и связи с внеземными цивилизациями, печатную, изобразительную продукцию, сувениры на астросоциологические сюжеты. Важен сам факт зарождения астросоциологических направлений в производстве материальных и духовных ценностей, хотя доля их в валовой продукции ничтожно мала. Тем не менее для их изготовления мобилизуется творческий потенциал людей, затрачивается живой труд, амортизируется техника. Посылка земных вымпелов и носителей информации, «адресованных» инопланетянам, означает, что человечество уже вступило на путь поиска «вещественных» информационных контактов с внеземными цивилизациями.

Астросоциологические представления затрагивают и религию. Сначала выход человека в космос, затем гипотезы о космических пришельцах, не понятых людьми и обожествленных, привели в движение в капиталистических странах как служителей культа, так и массовое религиозное сознание. Если широкой публике идеи космического контакта импонируют, то со стороны ряда теологов и церкви они нередко вызывают противодействие, вырабатывают стратегию вживления в религию астросоциологических представлений и данных. Отсутствие серьезной научной концепции космического контакта ведет к идеалистическому пониманию вопроса и возникновению «космической религии», несостоятельность которой разоблачается в книгах советских авторов.

Проникновение астросоциологических представлений в различные сферы жизнедеятельности общества приносит если пока и не очень впечатляющий, то во всяком случае принципиально новый импульс в развитие земной цивилизации. Дальнейшая разработка естественно-научных, философских и общественных аспектов проблемы поиска внеземных цивилизаций должна способствовать решению ряда социальных проблем, преодолению антропоцентрического мировоззрения.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Семенова. Вечный зов Добра. Предисловие</i>	5
---	---

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Спасти сельфов

<i>*Михайлов В. «Адмирал» над поляной</i>	15
<i>Дукальский А. День памяти</i>	33
<i>Морочко В. Спасти сельфов</i>	39
<i>Морочко В. Преступление дяди Тома</i>	44
<i>Морочко В. В память обо мне улыбнись</i>	61
<i>Юфряков В. Индекс «К»</i>	73
<i>Юфряков В. Наследники доктора Круза</i>	78

Ночь в ином измерении

<i>Кольцов С. За Магнитной Стеной, или Сновидения Варешкина. Фантастическая повесть</i>	93
<i>Гуданец Н. Чудо для других</i>	133
<i>Алферова Л. Ночь в ином измерении</i>	152
<i>**Бааль В. Платиновый обруч. Фантастическая повесть</i>	174

Тайная флейта

<i>Сычеников В. Ночная гостья Василия Н</i>	245
<i>Морочко В. Журавлик</i>	251
<i>Гуданец Н. Призовой выстрел</i>	258
<i>Дукальский А. Полночный трамвай</i>	265
<i>Дукальский А. Ваня</i>	268
<i>Гуданец Н. На берегу Стикса</i>	278
<i>Гуданец Н. Умнрающее море</i>	283
<i>Гуданец Н. Тайная флейта</i>	287

Приложение

<i>***Авинский В. Астросоциологические представления и реальность</i>	298
---	-----

* Издательство ЦК ВЛКСМ, «Искатель», 1973
 ** Издательство ЦК КП Латвии, «Даугава», 1981
 *** Издательство ЦК КП Латвии, «Наука и техника», 1981

ИБ № 3400

Для юношества и молодежи

ПЛАТИНОВЫЙ ОБРУЧ

Редактор В. Семенова. Художественный редактор М. Драгуне. Технический редактор Г. Слепкова. Корректор А. Савина.

Сдано в набор 12.08.81. Подписано в печать 29.01.82. ЯТ 12017. Формат 84×108/32. Газетная бумага. Литературная гарнитура. Высокая печать. 15,96 усл. печ. л.; 17,01 усл. кр. отт.; 15,87 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1564. Цена 1 руб. 10 коп. Издательство «Лиезма», 226047 Рига, бульвар Падомью, 24. Изд. № 25/31088/Ю-2752. Отпечатано в типографии «Циня» Государственного комитета Латвийской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Рига, 226011, ул. Блаумая, 38/40. Обложка и форзац отпечатаны в Рижской Образцовой типографии, Рига, 22604, Виенибасгатве, 11.

П 374 Платиновый обруч. Фантаст. произведения /
Сост. и предисл. В. Семенов; Худож. Я. Рейн-
берг / Р.: Лиесма, 1982. — 302 с., ил. «Приклю-
чения, фантаст. и путешествия».

В сборник входят фантастические произведения Л. Алферовой, В. Бааля, Н. Гуданца, А. Дукальского, С. Кольцова, В. Михайлова и других рижских писателей. Хотя в основе остросюжетных повестей и рассказов лежат фантастические идеи, авторы сосредоточивают свое внимание на актуальных проблемах: нравственное совершенствование человека, его отношение к труду, ответственность перед обществом и перед грядущим. Книга предваряется предисловием составителя, а завершается статьей гостя Риги куйбышевского ученого В. Авинского.

П 70302—25
М801(11)—82 221.82.4702010200

К2
84.3К7



1 руб. 10 коп.



ПЛАТИНОВЫЙ ОБРУЧ

